

РАИСА ДЕЙКУН

Копец

Повесть-быль

Всякая сосна в своем лесу шумит.

Копцы — это земляные насыпи над круглыми ямами с картошкой, иными словами — бурты. Деревенские жители хранят в них и свеклу с морковью — целее будет. А по весне — как находка и то, и другое. И вид все это имеет — будто только из земли выкопанное. Ни тебе ростков, ни морщин. Разве что мороз кое-где сбоку прихватит в случае, если хозяин непостарается хорошо прикрыть боковины соломой или осокой, да маловато земли сверху набросает. Ну и не без того: мышь может в той соломе завестись и роскошествовать-жировать себе анигадки* зиму, да еще и семью заведет-разведет. Ну, так и всей той беды! В любом же деле бывают потери.

Весна 1941 года выдалась на диво теплой, мягкой. Колхозы один за другим отсевались и докладывали в район о завершении посевных работ. Район рапортовал области, область — дальше, «наверх». Уполномоченные райкома партии «летали» по хозяйствам на перекладных и придирчиво осматривали поля. Обычно их опекали председатели колхозов, которые тягались за проверяльщиками повсюду следом, чтобы не дай бог, не упустить что-либо из замечаний начальства, или чтобы те не завернули куда не следует.

Прихватками и урывками в то время, что оставалось свободным от работы в колхозах, жители деревень и рабочих поселков, которые прилегали к железнодорожной ветке Василевичи—Хойники, тоже старались как можно быстрее отсеяться, а главное — «бросить картошку в землю». Обычно здесь сеяли и разные зерновые: рожь, пшеницу, просо, ячмень, овес — что у кого было и сколько имелось земли. Многие, особенно в маленьких деревушках, еще пекли свой хлеб. Зерно же нужно было для корма домашней птицы, да (чего греха таить) для солода, чтобы нагнать самогонки. Без нее в деревнях не обходилась ни одна семья. А какой же солод без ржи?

Жители рабочего поселка при железнодорожной станции Харламовская не настолько зависели от количества посевов зерновых: хлеб для них выпекался в «своей» пекарне — леспромхозовской, а для путейцев местного околотка специально привозился из Гомеля в деревянных ящиках. Так что во время посевной преимущество люди здесь отдавали главной своей и скотины кормительнице — картошке. В большинстве случаев ее сажали «под коня». На маленьких кусках земли при избах могли и «под лопату». Но разве той лопатой разгонишься? Так — одно баловство. О таких говорили: «Нечем заняться человеку, так балуется — колупается лопатой».

---

* Анигадки — хоть бы что; спокойно, со спокойной душой.

Мало чем от деревенских и поселковых отличалась посевная и в семье лесника Никифора Целуйко. Разве что никто крюком не стоял у него за спиной: ни тебе проверяльщиков, ни хлопот, где своевременно взять лошадь, чтобы вспахать свои сотки. Он был сам себе голова: и сеяльщик, и копальщик, и проверяльщик. Мало того, и конь у него был свой! Серко. Правда, не совсем «свой» — казенный. И не сам человек со всем справлялся — трудилась вся семья. А она у него, хвала Богу, ничего себе была: четверо сыновей да трех дочерей управились Никифор с Марфой пустить на свет Божий.

Вместе с семьей Никифора жили и его родители, крепкие еще на вид Митрофан и Авдотья. Считай, две самостоятельные семьи. Никифор от отца получил не только свою должность, но и ту казенную лошадь, и дом лесника, который со временем значительно достроил-расширил. Сдав сыну участок, Митрофан от дел не отошел — во всем был Никифору добрым советчиком и помощником.

Жили Целуйки ни бедно, ни богато, но не голодали. Казенный хлеб в семье ели изредка: когда Никифор бывал по делам в поселке, в конторе лесничества, да в Хойниках. Покупался он тогда в основном детям — «для баловства». Хлеб Авдотья с невесткой пекли свой. К хлебу в семье тоже было все свое, потому что выводок Целуек с малолетства без работы не сидел: все в округе болота, канавы, озерки вокруг урочища Осиновка, где стоял дом лесника с разными хозяйственными пристройками, были в распоряжении самого Никифора, его отца и парней. Комли*, кошики для ловли вьюнов не успевали просыхать. Своя рыба, жареная, вяленая, сушеная, не переводилась в избе. Старшие дочери с матерью и бабкой Авдотьей обшаривали лес. Земляника, черника, малина, голубика, брусника — все в округе собиралось, сушилось, варилось, настаивалось. Грибы, от лисичек до белых крепышей, из окружающих «своих» грибовищ, тоже — подчистую.

Кроме этого, Целуйки обрабатывали поля, вели хозяйство. А в нем — ни много ни мало: две коровы, телята, свиньи. А еще же овечки, куры и кроли — мелочь, которую в семействе звали одним словом — шуядь. Всю эту «шуядь» досматривала Марфа с детьми, коня же — Никифор и Митрофан. Они не доверяли казенную скотину «девкам и бабам».

Все лесные прогалины, полянки вокруг Осиновки, которые старший Целуйко называл еще «пролысинами», были со временем прибраны к рукам Никифором и его семьей. На каждой делянке, которая имела свое название, что-нибудь да росло. Так и что тут удивляться? Такая семейка! Попробуй три раза в день накормить ее, ораву! Новую пролысину на краю леса, его рогу, прозвали, например, «Рогинка». Она была где-то за полкилометра от селища лесника. Выкорчевав на ней по краям добрый десяток старых пней, вытеребив редковатый кустарник осенью сорокового года, Целуйки решили весной сорок первого на этом куске посадить картошку. Как решили, так и сделали. Посадили. На новине все хорошо растет. Картошка тут «буяла, роскошествовала» — здесь ей было «целое раздолье», как говорила старая Авдотья, а за ней повторяли все члены семейства.

Жизнь в лесничовке, которая была в семи километрах от рабочего поселка при станции, пятнадцати — от районного центра, чуть больше полусотни — от областного Мозыря и сотне от Гомеля, была размеренной, спокойной, привычной и похожей изо дня в день. Лес же вокруг. А в нем свои законы, свои порядки-распорядки, и никакого тебе радио. Средние дети в школьный период, особенно зимой, жили у родной сестры Марфы в поселке. Так что про

* Комля — рыболовная снасть, сак.

новости в округе и мире Целуйки узнавали с опозданием. В основном после поездок Никифора в поселок и в район. В Хойники Никифор обычно ехал с Марфой: на базар и навестить старшего сына Михаила.

И тот июньский день (как оказалось, последний предвоенный) не предвещал ничего необычного. Средние дети, что ходили в поселковую школу, были в это время уже отпущены на каникулы и ждали приезда Михаила с аттестатом. Парень, закончив восьмилетку в поселке, захотел продолжить обучение и добился, чтобы родители отпустили его на учебу в Хойники. В райцентре проживала двоюродная сестра Марфы Гэля, которая и приютила Михаила. После окончания школы он мечтал учиться дальше: в Минске, «на лесничего». Дед с отцом, как главные в семье, были не против. Они считали, что лесоводство — это то, что нужно для настоящего мужчины.

А Михаил объявился только во второй половине дня. Младшие его братья и сестры, которые целый день стерегли дорогу к дому со стороны поселка, чуть с ног не сбили парня: окружили со всех сторон, повисли на нем и радостно прыгали вокруг. Так соскучились. А тот от усталости едва ноги переставлял: пока доехал на товарняке до своей станции, а потом пешком шел от нее до дома. Да еще с таким известием...

— Война началась с Германией, по радио в двенадцать часов сегодня объявили, — побелевшими губами едва выговорил-объявил парень своим родным.

Новость восприняли недоверчиво: может, шутит парень? Здесь, в лесу, никакой войной даже и не пахло. Так устроен человек: если глаза не видят, а уши не слышат, то ему кажется, что все вокруг хорошо, тихо, спокойно, никакого тебе лиха. Михаила сообща успокоили, посадили за стол: с дороги — голодный же. Немного отойдя, не столько от дороги, сколько от событий последнего дня с ошеломительным известием, Михаил рассказал и о других новостях. Основная была та, что он, буквально вчера, видел классика белорусской литературы — Змитрока Бядулю. Живьем! Это же такое событие! Тот приехал в район в конце выпускных экзаменов. Известный писатель выступал в колхозах, Народном доме. Мало того, в их школе классик вручал аттестаты зрелости. Михаилу — тоже. Вот это новость! А после выпускного бала они встречали зарю, а затем он пошел спать. Когда только разоспался, его разбудила тетка Гэля, которая вернулась с Базарной площади с жутким известием про войну. Михаилу стало страшно. Не за себя — за них, родных. Схватив аттестат, пожитки, он бросился на станцию — быстрее домой, к своим. Вместе они что-то придумают, вместе с семьей — никакого страха!

Старая Авдотья, услышав от внука трагическое известие, тут же упала на колени перед божницей и начала бить поклоны, шептать молитвы. Она, как и ее Митрофан, на своей шкуре знала, что такое война, потому что вместе с ним пережила Первую германскую. Хватило беды. Едва выходила отравленного газами мужа. Если бы не лес с его особенной аурой, лекарственными травами...

Назавтра Никифор, запрягши коня, помчал в лесничество. Вместе с ним поехал и Михаил. Поселок гудел, как развороченный улей. Никто ничего толком не знал, кроме того, что передали по радио. Возле контор лесозавода и лесничества толпились лесозаводчане и лесники других участков-обходов. Как и Никифор с Михаилом, на подводах подъезжали самые дальние. Мужчины и молодые парни были настроены решительно. Отец с сыном подошли ближе, прислушались к разговорам.

— Ты смотри, снова полез германец. Земли нашей захотел? А лихоманки? А вилы в бок?

— Ну, ты сказал — вилы. А танки зачем, а самолеты? Так попрут наши, что пятки только засверкают у гадов!

— Да мы их шапками забросаем!

— Ну, шапками не шапками, но железа у Красной Армии на них хватит.

— Твоя правда: не буди лихо, пока оно тихо. Получат они свое...

От лесничего, который раз за разом накручивал телефон, чтобы связаться с леспромхозом (но он все был занят), Никифор на свой вопрос «Что делать?» получил не совсем уверенное указание: готовиться передать обход отцу, а самому со старшим сыном собираться и отправляться в военкомат, там всем дадут рады. Наверняка же в районе будет организован мобилизационный пункт. То же самое услышали и другие. Никифору было за сорок лет, а его Михаилу, который пошел в школу в семь с половиной, недавно стукнуло восемнадцать. Под мобилизацию подпадали оба. По дороге домой завернули в леспромхозовский магазин: Авдотья наказала сыну купить керосина, спичек, соли, «простого» (хозяйственного) мыла, еще кое-что из мелочей. В магазине толпился народ: люди, на всякий случай, хватали кто что мог. Отстояв очередь и купив все необходимое, Никифор с Михаилом оставили поселок. Всю дорогу к Осиновке оба как воды в рот набрали: молчали, каждый думая о своем.

Никифор о семье: как Марфа сама справится с такой кучей детей? Правда, родители же при ней, но они уже в добрых годах, а работы на земле, в хозяйстве и в лесу — хоть отбавляй. А дети — половина из них еще совсем малые, какая от них помощь?

А Михаил никак не мог уразуметь: подписан же Договор о ненападении, какая война? Где она? Почему отцу надо бросать свой обход, мать с малыми его братьями и сестрами, деда с бабой и идти воевать? А где Красная Армия?

Добравшись домой, сказали родным, что действительно началась война, каждый в душе не веря, что это — серьезно и надолго. В доме начался гвалт: женщины, как водится, запричитали, заголосили-заойкали. За ними, предчувствуя беду, захлюпали младшие дети. Не переставая плакать, Марфа, а за ней Авдотья начали собирать мужчинам заплечные мешки-котомки. Никифор, передав отцу слова лесничего о сдаче ему обхода, тут же предложил отправиться его осматривать. Так и сделали: поехали на подводе. Вместе с отцом Никифор осматривал свой участок так, вроде предчувствовал, что делает это в последний раз. Перед неизвестной дорогой он хотел попрощаться с каждым деревом, с каждым кустиком, которые знал с самого детства и с которыми вместе рос. В лесу стояла привычная тишина. Но она казалась теперь отцу и сыну какой-то жуткой, застывшей в немом ожидании. Никак не верилось, что война — это не сон, что пришла большая беда.

Так прошло несколько дней. Целуйки ждали до последнего, надеясь на какое-то чудо. Но чуда не дождались. Никто не приехал, не прискакал на коне оповестить, что собираться на войну не надо, что «наши» собрались с силами и погнали чужаков назад.

В район, в военкомат, отправились, как обычно — на возу. Провожать завтрашних солдат на войну Митрофан позволил ехать только Марфе. Мужчин взяли на учет, присоединили к толпе таких же добровольцев и пешком в колонне отправили на станцию грузиться в вагоны. Где-то там, в области, где имелись интендантские склады и склады с оружием, их переоденут,

выдадут оружие, сформируют боевые подразделения и отправят воевать. А возможно, зачислят в истребительные батальоны для охраны промышленных и других важных объектов в Мозыре или Гомеле. Такие новости собрал Митрофан, шныряя в людской толпе. Этим он успокаивал Марфу, которая ойкала и божкала, переживая за мужа и сына. Особенно за сына, что и неудивительно: Никифор в свое время служил в Красной Армии, имел какое-то представление о военной службе, а Михаил?

На самой станции и вокруг нее стоял сплошной крик-гам. Мужчины кое-как крепились, а Марфа во время прощания с мужем и сыном дала волю и крику, и гвалту со слезами, просила-молила мужа присматривать за Михаилом...

Там же, на станции, когда Митрофан увидел эшелон, в котором в глубь страны отправлялись работники леспромхоза (многих он хорошо знал) и семьи руководителей района, он понял, что если вместе с мобилизацией в районе началась эвакуация, — это серьезно и надолго. Значит, снова придется, как в Первую мировую войну, переживать оккупацию? Его догадку подтвердил и старый друг, который оказался начальником эшелона. В молодости они вместе работали на хойникском лесоучастке конюхами. Со временем друг «выбился в люди»: перед войной он уже занимал должность заместителя директора леспромхоза.

По дороге назад в свой лес Митрофан с невесткой завернули в поселок. Зареванная, опухшая от плача, Марфа побежала в леспромхозовский магазин: прихватить еще что-нибудь про запас, а Митрофан направился на свою бывшую работу — в лесничество. Там он неожиданно получил под роспись серую в яблоках жеребую кобылу Яснотку. Лесничий, еще молодой мужчина, уже был призван в армию, а вместе с ним два конюха-лесника и техник. Большинство лошадей из конюшни лесничества были отписаны военкомату, а несколько жеребых кобылиц и малых жеребят перед своей отправкой лесничий «разбросал» по лесничовкам на сохранение. Так лошадь досталась и Митрофану Целуйко.

С отъездом сына на войну на Осиновке вожжи в руки снова пришлось брать старому Митрофану.

А Марфа к своему возу вернулась ни с чем: полки магазина были уже пустыми.

— Война войной, а есть что-то надо будет каждый день, а может, еще и подкармливать кого-то. Война за один день не закончится. Ехать нам некуда, нечего и не с чем. Лес же с собой не заберем? Наш дом здесь, здесь и останемся! Дома оно и солома едома. Лес нас спрячет, лес нам поможет! — заявил старый вояка домашним после проводов сына и внука на войну.

Он знал, что говорил.

Вернувшись из лесничества с немалым привеском, Митрофан на другой день побросал на воз «струмант»: топоры, лопаты, пилу, кое-что из еды и, прихватив двух старших внуков-подростков — Анатолия и Андрея, направился с ними «в лес». Так говорили все члены семейства, когда отправлялись с селища, которое стояло среди леса, на промысел в глубь его. Но сейчас Митрофан ехал с внуками не в «лес», а к семейному схрону-норе. Был такой у них в лесу.

Еще давным-давно Митрофан с Никифором, когда забирались далеко в лес, прятались от дождя, а зимой — от снежной замети в такой природой сделанной норе. Насмотрели ее в густом лесном массиве, за болотом, в одном из многочисленных оврагов. Болото окружало большой кусок леса только с трех боков, образуя полуостров. С противоположной стороны к нему можно

было в обход болота проехать колесами, но это занимало несколько часов. Со временем, тщательно осмотрев, обшарив болото, нашли в нем менее гиблые места и со своей стороны, напрямую, сделали-настелили переход-мостик. Замаскировали от людских глаз. Потом понемногу нору-нишу начали расширять, углублять. Более менее обложили с боков жердинами, сделали топчаны, собирались сложить печурку. В углу «норы», в большом старом чугуне с крышкой держали спички, крупу, соль. И были анигадки себе, когда отправлялись на несколько дней за дичью, ягодами-грибами в этот лес, который кишел и тем и другим, потому что сюда не ступала человеческая нога. Здесь было где отдохнуть, переночевать. Место это в семье так и звали — «нора». О «норе» знало только семейство. Вот к ней Митрофан и отправился со своими парнями. Он решил приспособить лесное убежище под какое-никакое жилье для семьи, переоборудовать его в землянку. Никому не известно, как повернутся дела с этой войной. Когда уже крепко припечет, он тогда произведет-организует свою «эвакуацию».

Митрофан боялся за внуков. По нескольку дней «строители» оставались в лесу с ночевкой. Старый спешил сам и подгонял домашних. Под его командой семейка убрала с глаз все продуктовые запасы: от зерна, картошки и сала в кадках — до сушеных грибов-ягод-вьюнов. Часть продовольствия была вывезена и закопана-спрятана в разных лесных тайниках, а другая — отвезена-переправлена за болото, в «нору». По лесу сделали метки, чтобы потом самим найти спрятанное. Вблизи от тайника-укрытия, который обустроили для всей семьи и даже слепили в нем примитивную печурку, в лесной чащобе Митрофан с внуками смастерили на скорую руку буданы-шалаши для скотины. Сюда он планировал, в случае необходимости, переправить коров, казенную лошадь, свиней, овечек и больших кролей. Травы в этом месте хватало. Подходы-подъезды к «норе» старик, как мог, маскировал.

На Осиновке, на глазах, оставили небольшие запасы всего понемногу, в том числе картошки: немного съедобной для себя да самой «никудышней для шуяди».

— Дальше спрячешь — ближе возьмешь, — учил внуков Митрофан. — Кто его знает, как оно будет, а запас беды не чинит. На голодный желудок много не наживешь... и не навоюешь, — уже себе под нос бурчал он.

Лесничовка «Осиновка» была самой дальней в лесничестве, и в военное время так много на этом выигрывала: разная нечисть, типа германцев, не могла до нее добраться на первых порах. Митрофан на это очень надеялся и использовал преимущество в полной мере. Он как мог готовился к войне, которая никогда за один день не заканчивалась.

А война, которая вначале не имела для жителей Полесской области конкретного какого-то обличья, уже на шестой день докатилась до ее границ и предстала перед населением в виде первых красноармейцев-окруженцев и беженцев. Все они были растерянные, истерзанные, голодные. Некоторые — раненые. Местные жители выносили им из домов молоко, хлеб, сало, картошку, воду, ягоды.

День за днем людской поток катился в глубь страны. От него, как ручейки от речки, отделялись, где по своей воле, а где из-за ранений, бойцы и мирные граждане. Люди тулились* к деревням, прятались в лесах, надеялись, что это ненадолго, что вот-вот наши соберутся, развернутся и погонят чужаков назад, за границы страны. А если так, то они потерпят, подождут своих. Тем более,

* Тулиться — прижиматься, жаться, льнуть, приникать, припадать (к кому или к чему-либо).

что на дворе стояло лето, а летом человеку можно как-то перебиться в том же лесу, выжить. Ягоды, грибы не дадут умереть. А еще же вокруг спелые колоски ржи, пшеницы, картошка. Ее, молодую, уже можно было добывать из-под зеленой еще ботвы. Находкой оказывалась та, что была посажена вдоль дорог, на краях лесов. Как и зерновые посевы, покинутая на колхозных полях. Не до их уборки было.

Лесного селища война пока еще не потревожила, и Целуйки, за исключением строительства убежищ для людей и скотины, продолжали обычный годовой цикл работ на земле, в лесу. Запасы еды (как для людей, так и для животных и птицы) сейчас делались с удвоенной энергией. Следом за сенокосом и уборкой зерновых (чуть раньше обычных сроков) решили выкопать картошку на нескольких делянках, отвоеванных у леса. С ближайших к селищу кусков ее «разбросали» по разным местам: в яму-копец за сараями, в избяной погреб, в стебку — наземный погреб-склеп. Пару возов отвезли в «нору».

Последней из картофельных делянок была Рогинка. Рогинка отплатила горой чистой, отборной барабули, как в семье ласково называли картошку. Отобрав только мелкую скотине, решили (Митрофан решил) всю остальную, вместе с семенной, спрятать тут же — на поле.

— Что ее тягать туда-сюда? — спросил у семейства Митрофан. И сам же ответил: — Нечего, она здесь понадобится.

Никто его распоряжения оспаривать не стал: в семье, особенно сейчас, его слушались, как говорят, ухо в ухо. Старшие внуки Анатолий и Андрей в охотку выкопали ближе к лесу яму для копца, застелили заготовленной заранее осокой, потом снесли в нее кошелками и коробками картошку, которую собирала женская половина семьи. Поверх закрыли картофельную кучу охапками той же осоки, присыпали землей. Перед самой засыпкой копца землей Митрофан вставил сверху рукотворного погорка берестяную трубу-душник и наказал парням принести из ближайшего сосняка мха. Им они укрыли копец, набросали сверху хвороста-бурелома. Со стороны он совсем не бросался в глаза — так, лежит себе какой-то ловжик*. Сколько их по лесу! Только тот, кто сам когда-нибудь мастерил-закладывал такое хранилище для картошки, мог додуматься-догадаться, что это за бугорок такой на земле пристроился. По совсем неприметной его детальке — берестяному душнику-трубе. Но его еще рассмотреть надо было в буреломе.

— Чтобы картошка не горела, дышала, а осока, чтобы мыши не завелись, как в соломе, — пояснил старик младшему внуку предназначение и душника, и осоки, — тот в первый раз участвовал в закладке картофеля на зиму таким образом.

Позаботились и о другом: о сохранности картошки в копце от диких свиней. Те легко могли унюхать находку, разрыть, раскопать ее своими длинными лычами-рылами. Правда, их Целуйки и на пушечный выстрел не подпускали к околице селища, даже все старшие дети умели обращаться с ружьями. Но — «береженого Бог бережет!» — говорил в таких случаях старый Митрофан. Кольцом проволоки-колючки в два ряда обогнули копец понизу — тот же дикий кабан наступит, другой раз не сунется. Ее тоже присыпали-притрусили лесным мусором. Мусор сверху и землю, немного дальше от копца, полили вонючим мазутом, мол, здесь ходит человек! Такой запах отбивал у любой дичи охоту подходить близко.

Как в воду глядел старый Митрофан со своими тайниками: война затягивалась, захлебывалась людской кровью, а к концу лета вплотную приблизи-

* Ловж — куча хвороста.

лась к их и соседней Гомельской области. Во второй половине августа немцы бомбили, а затем захватили Гомель, оккупировали Хойники, Мозырь,

В поселке при станции расквартировался целый немецкий гарнизон. Понятное дело — рядом железная дорога, по которой перевозятся военные грузы и которую необходимо обслуживать. Как лебеда возле картошки, так и возле фашистов тут же появились их прихвостни — полицаи. В каждом стаде найдется паршивая овца. В поселке нашлась тоже, и не одна.

Непрошеные и незваные захватчики вместе с полицаями и назначенными старостами и бургомистрами занялись установлением своих порядков, объявили о них населению через вывешенные чуть ли не на каждом столбе объявления. Все они сводились к одному: за невыполнение их — смерть. Довели до местного населения и размеры продовольственного «оброка» в пользу немецкой армии: 3 центнера зерна с гектара, 359 литров молока от каждой коровы, 100 килограммов свинины со двора, 35 яиц от каждой курицы, 6 килограммов мяса птицы, 1,5 кг шерсти от каждой овцы и 100 рублей с человека. Не дожидаясь от населения добровольной сдачи перечисленного, начали сами с помощью полицаев выметать-выгребать все подчистую. Люди спохватились и бросились прятать живность кто куда. Коров-свиней-овец — в лес, кур — в подпечки.

А тут еще по дорогам пошли-потекли колонны пленных красноармейцев. Одних гнали пешком в ближайшие лагеря, других — к станции, чтобы погрузить в вагоны и везти дальше. Их было много, и на них нельзя было смотреть: оборванные, босые, обессилевшие, раненые, голодные. К ним нельзя было подступиться, чтобы передать какую-нибудь еду. Теперь они шли не сами, отступая, а их гнали по дорогам через города, поселки и деревни, как стада коров. Но «пастухи» были не с кнутами, а с автоматами и овчарками. И вели они свои «стада» не в лес и не на пастбища, а за колючую проволоку, в неволю — на смерть. Пленные чувствовали это и при первой возможности делали попытки убежать. Самым верным укрытием был лес.

Одна такая колонна тянулась по обочине шоссе, соединявшего Хойники и Речицу. По самой автодороге двигалась немецкая техника: легковые с офицерами, грузовики с солдатами и грузами. По большим населенным пунктам захваченных областей оккупанты спешили разместить свои комендатуры, гарнизоны с солдатами, чтобы как можно быстрее установить свои порядки и начать дополнительно давать своим войскам, которые наступали-надвигались на Москву, продукты питания и другую помощь. Конвоиры чувствовали себя спокойно: вокруг, вооруженные до зубов, двигались свои. Кто сунется, кто осмелится напасть на них?

Но вот на шоссе, как по заказу, наступил какой-то перерыв: с двух сторон не стало видно ни одного автомобиля. Вокруг стоял и тревожно гудел лес. И тут из придорожных кустов с двух сторон дороги раздались винтовочные выстрелы. Несколько гитлеровцев-охранников, тех, что были с собаками, не выпуская поводков из рук, попадали замертво. Новые выстрелы попали уже в собак. После минутного замешательства большинство пленных бросилось врассыпную к лесу. Самые отчаянные — к убитым гитлеровцам, за автоматами. Уцелевшие конвоиры начали стрелять кто куда: кто в пленных, кто в сторону леса, откуда все еще раздавались выстрелы.

Не все добежали до спасительного леса: кто упал там же на дороге, кого догнали пули автоматов уже около кустарника и первых деревьев. А тут на дороге, с двух сторон, показались снова немецкие машины. Услышав стрельбу, а затем увидев и убитых своих, солдаты, под гортанные команды офицеров соскакивали на землю и, с автоматами наперевес, поливая лес впереди

себя свинцовыми очередями, углубились в него. По обе стороны дороги. Уцелевшие охранники с собаками — тоже. Те, что преследовали беглецов, были полны сил, а те, кто сейчас убегал, наоборот — когда шли в колонне, едва переставляли ноги. Многие из них были ранены, босые...

Из той колонны уцелели считанные люди. Как и из тех, кто осмелился напасть на ее конвоиров. А это были тоже красноармейцы из числа окруженцев, что прятались по лесам.

Лес, куда сбежала часть военнопленных, раскинулся между шоссе и поселком при станции. В том лесу была Осиновка — селище-лесничовка старого Митрофана Целуйко.

По наезженной от подвод колее, по стежкам-дорожкам, что за многие годы сделали от дома лесника и к нему Целуйки, старые и малые, трое пленных из колонны и двое из нападавших дошли до Осиновки. В руках двух солдат были немецкие автоматы (благодаря тем автоматам отбились-отстрелялись от собак-волкодавов), у остальных — винтовки. У двоих беглецов были изодраны собаками ноги, они едва держались на них — под руки их поддерживали товарищи.

Марфа, умываясь слезами, потому что на месте изнуренных, совсем молодых парней-солдат представила своего сына Мишу, от которого, как и от мужа, не было никаких известий, под командой свекрови обработала-промыла раны, приложила к ним снадобья, забинтовала широкими полосами старого полотна. Красноармейцев накормили и отправили ночевать на сеновал.

Митрофан ночь ворочался, выходил из избы, думал. Держать на селище, хотя оно и было в лесу, целую группу красноармейцев было рискованно. Немцы немцами, но в поселке объявились «свои фашисты» — полицаи. Местные гуляки и выпивохи, которые были охочи до дармового леса и которых он вместе с Никифором не раз гонял из него. Те хорошо знают дорогу к селищу, вспомнят кое-что из довоенной жизни, тогда жди беды! На его руках семья, за которую он несет ответственность не только перед сыном, но, в первую очередь, перед самим собой: меньшей внучке не исполнилось еще и года. Она родилась незадолго до войны. В ее честь, как и каждого из внуков, рядом с лесничовкой они посадили седьмую сосенку. Она уже принялась: вон как тянется к небу вслед за своими сестрами...

Назавтра, еще на зорьке, он о чем-то долго говорил со старшим группы, а им оказался молодой коренастый лейтенант, который назвался Алексеем Зубовым. Он был одним из тех, кто отважился организовать нападение на охранников. Пока говорили-договаривались о том, что делать дальше, где схорониться, проснулись все старшие члены большой семьи. Старый отдал команду: в случае чего крепко держать язык за зубами, мол, никого они не видели и ни про что слыхом не слыхали. Марфе приказал «бегом» собрать котомки с салом, хлебом, сушениной, солью, спичками и не забыть о какой-нибудь посудине для какого-никакого варева. А сам, запрягши Серка, кликнул на помощь старшего из внуков, шестнадцатилетнего Анатолия. Вместе с ним начал складывать на подводу «струмант» — тот, что брал с собой, когда обустраивал тайник-убежище — «нору». Вскинув с помощью внука на воз мешок картошки и несколько досок, забрал «гостей» и направился от Осиновки в глубь урочища Будище — в другую сторону от семейного убежища, прихватив с собой Анатолия.

Митрофан хорошо знал не только свой участок. Он привез беглых красноармейцев к заброшенной избушке-хибаре, стоящей на берегу небольшого лесного озерца. О ней он вспомнил ночью. Это лесное пристанище, которым пользовались, наверное, еще панские объездчики, он знал смолоду, когда

работал конюхом лесоучастка. Избушка требовала починки, начиная от прохудившейся от времени камышовой крыши до полуразвалившейся двери. Внутри ее вдоль стен сохранились довольно крепкие дубовые чурбаки, на которых когда-то были устроены примитивные топчаны. Посередине хибары под многолетним лесным мусором находилось что-то наподобие очага — небольшая куча, покрытых мхом, природных камней. У единственного маленького квадратного отверстия-окна торчали остатки от некогда устроенного здесь стола. В нынешнем своем виде избушка для жилья не годилась, но это было хоть что-то, а на ту безвыходную ситуацию оказалась просто бесценной находкой.

Оглядевшись, Митрофан, с помощью внука, быстро и слаженно из подручного материала, что рос вокруг избушки, показывая молодым неопытным «городским», как это делается, устроил два топчана, на которые уложили раненых. Привезенные доски пошли на починку двери и стола. Черные от времени кругляки, что валялись кучей у избушки, должны были заменить табуретки, послужить топливом. Показав как озерным камышом заделать крышу, оставив парням кое-что из своего «струманта», Митрофан с Анатолием к ночи вернулись домой. «Солдатики в этой глуши не только выживут, но, залечив раны и осмотревшись, решат: тут оставаться и за оружие браться, или к своим пробиваться», — думал-размышлял со спокойной совестью Митрофан.

С подсказки полицаев немцы начали охоту по деревням за «приписниками» — молодыми мужчинами из числа местных жителей, которых не успели мобилизовать в первые месяцы войны, и осевшими по деревням красноармейцами-окруженцами. Некоторые из них прятались первые месяцы войны в лесах, а с приближением зимы подтянулись к избам. Местные — к своим семьям, а пришлые — к одиноким молодицам.

Были среди них всякие: и те, кто думал пересидеть войну именно возле подола молодиц, и раненые, которым не было куда деться, и такие, что хотели воевать с захватчиками, да не знали, с чего начать: никто их не научил этому, не подготовил, не организовал. У них не было опыта борьбы с оккупантами в таких условиях, не было оружия, боеприпасов и продовольствия, а с приближением зимы понадобится и теплая одежда. Да еще же первые месяцы той проклятой войны все надеялись, что «вот-вот вернутся наши, да как дадут жару немцам!»

Оккупанты обещали приписникам выдать документы для законного проживания в облюбованных населенных пунктах, достойную работу и заработок. Первые, кто соблазнился на эти обещания, были схвачены, брошены в грузовики и отправлены в ближайший лагерь (в Гомель). Более расторопные и не такие доверчивые не поверили сладким речам, почувствовали в них великую фальшь и обман и направились искать прибежища снова в лес, начали объединяться в группы. Лес большой. Он окружал поселок-станцию со всех сторон.

Старый лесник, продолжая объезжать свой участок, постоянно встречал в нем красноармейцев-окруженцев, незнакомых мужиков с винтовками и без. Перекидываясь словом-другим с ними, чтобы узнать хотя бы какие новости, осторожничал: кто его знает, кто они такие. Часто на его селище наведывались-набредали лесные обитатели: кто дорогу спросить, кто обогреться, а в основном — попросить еды. Митрофан со своей многочисленной семейкой помогал людям, чем мог. Особенно тем, у кого видел под изодранной верхней одеждой красноармейские гимнастерки. Где-то там, на дорогах войны, в такой вот одежке и в таком же бедственном положении могут находиться

и его родные — сын и внук. Значит и их обогреет кто-то. Позже у лесничовки стал появляться и Алексей со своими парнями, которых Митрофан прозвал «хлопцы из леса». Пробиться к своим они не смогли и вынуждены были остаться в Будище. Расспросив хозяина о новостях в округе, обогревшись и запасшись каким-никаким провиантом, а главное хлебом, который пекли для старых знакомцев Марфа со старой Авдотьей, уходили, понимая, что останься они на селище — навлекут непоправимую беду на семью, которая их приютила и спасала от голода и холода.

Как-то пережили ту первую лихую военную зиму. А она выдалась лютая, морозная, с метелями. Ладно подчистили все запасы Митрофана, включая «шуядь» и меньшую скотину. Особенно быстро в ход шла картошка: столько едоков прибавилось! Пришлось Митрофану, когда еще и снег не сошел, раскрыть раньше времени копец на селище с семенной барабулей и часть ее отдать «хлопцам из леса», чтобы те могли хоть какую похлебку варить. На немые укоризненные взгляды Марфы и Авдотьи, которые означали: а чем же будем землю засаживать? — Митрофан категорически заявил: — От снега же сытым не будешь? А ноги как по нему потянешь, чтобы хоть что сделать тем гадам — немцам? А картошка вырастет новая — у них же есть Рогинка. Про копец на Рогинке Митрофан приказал всем до поры до времени забыть.

Как только потеплело, Целуйки засеяли, засадили, что смогли, на своих «пролысинах». Копец на Рогинке оказался самой настоящей находкой: с его запасов засадили не только саму Рогинку, но и еще кое-где вбросили картошку в землю. Самые большие клубни пустили на еду и себе, и «хлопцам». Митрофан не давал продохнуть своей семейке, твердя: главное, весной вкинуть хоть что в землю, а оно уже само как-то пробьет себе дорогу к солнцу, даже неполотое вырастет. Такого правила придерживались в семье Целуек испокон века.

Время от времени Митрофан наведывался в поселок. После того, как там расположились немцы, он не появлялся в нем на подводе: местные полицаи могли отобрать Серко. Повозку с ним старик оставлял в лесу перед поселком, а сам, остерегаясь и стараясь не попасться никому на глаза, шел к крайней избе, в которой жила семья лесника Аркадия Науменко. Тот доводился Никифору Целуйко кумом. Аркадий был признан негодным к военной службе: имел левую руку без пальцев. Еще будучи подростком, когда сек дрова и поддерживал ею полено, маханул вместо него по руке топором. С приходом немцев Аркадий оставался дома, ходил на принудительные работы на железную дорогу, присматривался, прислушивался ко всему, что приносила молва, потом передавал новости Митрофану. Науменко догадывался, что тот имеет связь с появившимися в окрестных лесах партизанами. Вслух о них не говорили. В избе Аркадия, кроме него с женой, насчитывалось семеро душ: пятеро малых детей и его старые родители.

От него старый лесник сначала узнал о «порядках» и о первых жертвах оккупантов. Позже — о том, что появились случаи нападения неизвестных на полицаев и немцев, когда те оказывались на лесных и проселочных дорогах в одиночку или небольшими группами. В очередной приезд Аркадий шепотом сообщил, что немцы усилили охрану своих продовольственных складов на станции и железной дороги: замечены нападения на них, и кто-то пытался разворотить полотно, и что, опять же «кто-то», напал и разгромил немцев в нескольких деревнях района, взорвал в Хойниках электростанцию, отравил подсолнечное масло, которое предназначалось для немецких офицеров.

Митрофан догадывался, что и его «хлопцы» не сидят сложа руки, и что и они имеют какое-то отношение к тем «новостям». Видел он это и по появившимся у них на поясах гранатам и новым винтовкам, по незнакомой ему гражданской верхней одежде, очевидно, снятой с полицаев. Алексей же помалкивал и про эти очевидные факты, и про то, что уже вышел на связь и присоединился к партизанам, появившимся в лесном массиве между соседними с поселком деревнями.

На этот раз Аркадий своей новостью сильно напугал Митрофана: в поселке в качестве полицаев объявились старые знакомые Никифора и Митрофана — Макосей и Ризник. Они были не из местных коренных жителей, а из числа сезонных рабочих лесозавода. Там перед войной работал разный люд. Нелюдимые, нечистые на руку, оба не один раз до войны встречали в лесу Митрофана и его сына-лесника. Однажды, когда без разрешения трелевали-воровали на одной из делянок их участка «деловой» лес, попались. Никифор увидел только двоих ворюг. Лесник наставил ружье и не заметил, как сбоку подкрался еще один лиходей. Тот выхватил у него из рук оружие. Его связали и уже думали, что с ним делать, когда раздался выстрел, а за ним — второй. Ризник и Макосей с криком попадали на землю. Оба получили шрапнелью по ногам. Их третий подельник рысью бросился удирать.

Оказалось, Митрофан, каждый раз как только Никифор отправлялся в обход, брал свое старое ружье и неприметно следовал за сыном. Оберегал. «Прикрывал спину», как потом признался. Он сам в молодости не один раз встречался с лихими людьми в лесу. Всякое было. Выходит, не зря «прикрывал»?

Макосея и Ризника посадили на три года каждого. Если бы не война, они еще бы сидели в тюрьме. А сейчас злодеи объявились там, откуда попали за решетку. Ясное дело, что будут мстить. Это не полицаи из местных, которые о нем пока не вспоминали, а может, не дошли еще руки и ноги? Митрофан спешно отправился домой.

По дороге к своему селищу он уже решил, что пришло время и ему провести «эвакуацию»: отправить невестку Марфу со всем «выводком» подальше от греха, в «нору». Так и им, и ему будет спокойнее. Тут же и занялись переездом: за пару дней перебазировали (где через тайный настил, где в обход) оставшуюся после зимы живность. На Осиновке Митрофан остался с Авдотьей. Для вида, чтобы не так бросалось в глаза тем, кто знал семью, оставил в клетках самых малых кроликов, несколько кур-несушек, малого поросенка. Мол, невестка еще в прошлом году эвакуировалась вместе с детьми, а скотину забрали неизвестные люди из леса.

Так на две семьи, ожидая беды каждый день, протянули все лето. Время от времени Марфа с двумя дочерьми-подростками под присмотром старших внуков Анатолия и Андрея по тайной тропе пробирались на селище, чтобы вместе со свекровью напечь себе и «хлопцам» хлеба, да помочь той управиться с посевами и посадками. Старая Авдотья одна не могла со всем управиться. Ей хватало обработки гряд и загона картошки возле дома. К осени снова урывками похватали-поубирали с «пролысин» все, что сеяли-садили. На Рогинке опять спрятали-замаскировали копец.

Оккупанты стали постоянно устраивать облавы, карательные акции против «лесных бандитов», как они стали называть появившихся в лесах партизан, которые не давали им покоя: диверсии малые и большие со стороны народных мстителей не прекращались, а учащались.

Осенью 1942 года на партизан района была сделана очередная облава.

В один из дней Митрофан и помогавший ему на селище Анатолий, услышали вдалеке перестрелку, взрывы гранат. Прикинули вместе по звукам приблизительное место боя: лес между соседними с поселком деревнями. Все как вдруг началось, так и стихло. Старик почувствовал беду. Она не заставила себя долго ждать: на краю огорода, что заканчивался у кромки леса, появился окровавленный и наспех перевязанный Алексей и двое из его парней. Один из них удерживал раненого в плечо лейтенанта, другой был обвешан несколькими винтовками. Тяжело дышащие парни сообщили, что вместе с местными партизанами попали в окружение, что часть их ушла в соседний район, что за ними всеми идет погоня. Слабеющий Алексей, попросил Митрофана провести их через топь: он был уверен, что тот знает тайные тропы через ближайшее болото и сумеет их спасти в очередной раз.

Времени на размышления у старого лесника не было: он понимал, что теперь его селище не минуют каратели: оно попало под густую гребенку прочесывания. Он решил переправить «хлопцев» к семейному убежищу. А куда еще? До своего былого убежища в Будище они с раненым командиром не дотянут. Через болото, по тайной тропе их повел Анатолий, а Митрофан, посыпав вслед за ними следы самосадом, вернулся к Авдотье.

На Осиновку карательный отряд фашистов привели Макосей с Ризником. Это были старые знакомые лесника — полицаи-зеки, от которых он свез с селища и спрятал семью сына.

Фашисты подъехали на крытых брезентом грузовиках, заполонили селище. Первыми в избу ворвались полицаи и увидели старого Митрофана, который сидел на стульчике около печи и плел лапоть, делая вид, что он ничего не знает, что делается вокруг. Схватив старика под руки, Макосей с Ризником прикладами в спину выбросили-вытолкали его на двор. Вернулись назад и, вслед за Митрофаном, раскосмаченную, без обычного старенького платка, за косы выволокли его Авдотью.

Офицеры, а их было двое, стояли у колодца и курили, солдаты обшаривали сараи и пристройки к ним. Нашли копец с картошкой, начали ее выгребать. Часть солдат стояла вокруг селища с автоматами наизготове, нацеленными на лес.

— Что, не ожидал нас, старый пес? — полицаи грязно выругались. — Куда спрятал лесных бандитов и где твои выродки? Отвечай, где семья твоего сыночка-правдолюба? Куда ты ее вывез-спрятал? Ты думаешь, не найдем? Не надейся — перебьем весь твой выводок! — кричали-плевались «знакомые» полицаи.

Старый лесник молчал. Он еще надеялся, что поиздевавшись над ними перед своими хозяевами, полицаи оставят их с Авдотьей в живых. Но у тех были иные намерения.

Сначала нелюди перебили Митрофану ноги. Стреляли-целили по коленям. Мстили. Офицеры стояли поодаль и только смотрели на «забаву», часть солдат тоже. Авдотью двое из них держали за руки и не давали ей подбежать и удержать мужа, когда он, вскрикнув от нестерпимой боли, осунулся на землю. Она начала дико кричать, вырываться. Макосей ударил ее по голове, чтобы замолчала, Ризник добавил прикладом в живот. Авдотья затихла, обмякла и, выскользнув из рук фашистов, замертво опустилась им под ноги.

На земле, истекая кровью, корчился от боли Митрофан. Если бы не перебитые ноги, он бы вцепился в те ненавистные хари, что тряслись от дикого хохота и потешались над его беспомощностью. Полицаи вместе с несколькими солдатами снова вернулись в избу, заглянули на чердак и в подпол.

Не обнаружив никого, присоединились к тем, что обыскивали полупустые сараи. Перепороли все сено, которое увидели на своем пути, разбросали копны с соломой. Никого и там не найдя, застрелили в сарайчике поросенка, выволокли его за ноги и забросили в кузов одного из грузовиков. Куры, услышав стрельбу, бросились врассыпную и попрятались где-то по закуткам. Один солдат дал очередь из автомата по клеткам с подросшими крольчатами. Закончив осмотр селища, избу на глазах Митрофана подожгли. Все сараи и пристройки тоже. Раскачав за руки и ноги, те же двое нелюдей-полицаев бросили лесника в занимающийся огнем дом. Смотреть, как горит в огне живой человек, не стали — погрузились в машины и направились из Осиновки в поселок.

А Митрофан нашел в себе силы выползти из горячего пекла. И не только. Обгоревший, обессилевший от потери крови, он еще смог доползти до Авдотьи. Убедившись в смерти своей половины, оттянул ее под колодец, где огонь не мог достать несчастную, отполз в сторону от полыхающего дома, перетянул выше колен ноги какими-то мотузками*, которые всегда были в его карманах. Только тогда лесник потерял сознание.

Его нашел Анатолий еще живым. Немного отдохнув после перехода с раненым через болото, предчувствуя беду, он вскочил на Серка, которого вместе с возом еще раньше переправили к «норе», и помчался в обход болота на Осиновку. Трагедия, которую увидел парень на бывшем селище, сначала вогнала его в ступор. Придя в себя, отломал несколько веток с молодых сосенок, которые с дедом, отцом и старшим братом Михаилом сажали недалеко от дома в честь рождения младших братьев и сестер, и прикрыл ими лицо мертвой бабушки. Позже он приедет на сожженное подворье с родными, чтобы похоронить ее по-человечески. Начал искать деда Митрофана. Нашел того без памяти, но еще живого за ближайшими кустами. Напрягшись, как-то затащил обмякшее сухопарое тело старика на коня поперек его, сам примостился за ним и так осторожно поехал назад, к своим.

Митрофан прожил еще несколько дней, у него началась гангрена. В минуты прояснения он говорил-спешил дать наказы своим родным, потом начинал бредить:

— Марфа, Толичек, внучек, завезите меня к Авдотье, положите и похороните нас рядом, на Осиновке. Алексей, прошу тебя: осторожно вылазьте из «норы», чтобы те гады-предатели не выследили — Макосей и Ризник. Это они беды натворили на Осиновке. Никифор, сынок, где ты? Отомсти за мать, за селище... Марфа, Яснотку с распиской передашь нашим, когда вернутся. Михасек, внучек, вернись живым... Наши придут, ждите! Марфа, не забудьте про Рогинку, про копец. Он — последняя ваша надежда. Как вы без меня? Покидайте картошку там же. Без нее не выживешь с такой семьей. Она спасет, — бредил-шептал, уходя навсегда, Митрофан.

Вместе с уцелевшими бойцами Зубова, не дожидаясь его выздоровления, Анатолий выследил обоих полицаев-нелюдей. На краю леса, недалеко от поселка, их крепко привязали за ноги к стянутым березам. Потом те березы, видные с дороги, отпустили...

Весной 1943 года старший внук Митрофана Целуйко Михаил вместе с двумя товарищами пробирался домой — на Осиновку. В начале войны он

* Мотуз — бечевка, веревка.

вместе с отцом попал в местный истребительный батальон. Их даже не переодели в форму, наспех обучили держать винтовку в руках, пользоваться гранатами. А позже были бои — оборона Гомеля, тяжкие, изматывающие, с большими людскими потерями. В одном из них отец погиб, а Михаил попал в плен.

Вряд ли он выжил бы в том аду, если бы не природная смекалка, не жизнь-учеба в лесу при родителях, не поучения и наставления на каждом шагу деда Митрофана. Из лагеря, который был там же, в Гомеле, его вместе с другими горемыками гоняли на разные работы. Во время ремонта железнодорожной колеи за городом ему удалось сбежать. Правда, при этом едва остался в живых: одна из пуль конвоира все-таки догнала его, когда он, петляя, как заяц, бросился к спасительному лесу. Только хорошо углубившись в чащу, смог осмотреть рану и полосой ткани от подола рубашки перевязать ее. Рана оказалась легкой, кость не была задета. Подобрав себе среди валежника палку, он, отдохнув немного от бешеного бега, стал пробираться к своему дому. Под вечер встретился с двумя такими же беглецами. Те сбежали еще раньше, и из другого лагеря. Прятались в чащобе, в самодельном шалаше. Парни, как и Михаил, были в порванном тряпье, вконец обессилевшие от голода. Одного звали Андрей, он оказался москвичом, второй был ингушем и звался Яшей. Обоих война застала в Гомеле, когда они гостили у родственников. Тоже, как и Михаил, были в ополчении, попали в плен, а теперь хотели найти партизан. Про партизан Михаил слышал не раз в лагере и во время принудительных работ. Это они не давали покоя фашистам, и это после их «работы» пленных гнали на ликвидацию ее последствий. Услышав от парней про партизан, Михаил своего решения (вернуться домой) не изменил: дома такие леса, что просто немыслимо в них не быть партизанам. Ребята без проволочек примкнули к нему. Вместе легче выбираться из любой беды, а заметив, как уверенно чувствует и ведет себя Михаил в лесу, как быстро находит в нем еду, парни решили держаться его. Михаил, хотя и был ранен в ногу, передвигался, сильно налегая на сучковатую палку, готов был ползком ползти домой, к своим. А куда же еще человек рвется, когда не видит выхода? Куда ни ткнись — всюду фашисты. Только домой. Дома даже стены помогают. А у него не стены — целый лес, а в нем Осиновка, его семья: мать... дед с бабой. С семьей-то он справится с любой бедой.

Пробирались лесными околицами, держась поодаль железной дороги, она была верным ориентиром на пути к родному поселку, а там и Осиновка. Ночевали в наспех сделанных шалашах, выбирая места в самой чащобе. Голодали. Перебивались, как и чем могли: Михаил выкапывал какие-то корешки, отковыривал с некоторых деревьев кору, находил застывшую смолу-живицу, которую можно было сосать. После нее не так давал о себе знать голод. Изредка пробирались к избам какой-нибудь деревни, просили поесть. Кто подавал кусок хлеба, а кто говорил, что самим нечего в рот бросить. У одной из изб им очень повезло: сжалившись над живыми скелетами, молодая женщина, у которой, видно, муж был на войне, а может, и еще кто из родных, дала им вместе с несколькими картофелинами и коробок с несколькими спичками.

Боже родной! Как они вдыхали запах той печеной картошки, как ели ее вместе с кожурой!

С трудом передвигаясь окраинами лесов к своему дому, Михаил вспоминал, как с младшими братьями, отцом и дедом копали и закладывали копцы при селище, как мать, бабушка, сестры ластовали (устилали) поле картошкой, чтобы та просохла, как затем девчата наполняли ею кошелки и коробки, а они — мужчины, носили-тягали их к приготовленным ямам. Когда клубни

сверху начинали осыпаться, расползаться за края ямы, ее закрывали соломой или осокой, присыпали песком. А еще картошкой засыпали избяной погреб, отсеки в стебке...

С такими мыслями-воспоминаниями легче было идти, они грели его, не давали прислушиваться к боли в ноге. Если бы не она, так добраться до родного леса можно было за дня два-три. С нею же, да еще кругами-обходами, с немалыми предосторожностями, вблизи занятых немцами деревень и поселков, они добрались до Осиновки только на шестой день. Михаил ожил: куда девались усталость и боль в раненой ноге, парни едва поспевали за ним.

Но что это? На том месте, где было его родное селище, виднелось пепелище, а на нем торчала одна почерневшая труба от печи... От такого зрелища Михаил онемел, снял замусоленную кепку. Парни остановились и молча стояли рядом.

— Боже мой, неужели все погибли? — прошептал Михаил про себя. — Не может такого быть! — опроверг себя же вслух. — Дед не допустил бы.

Проглотив соленый комок, парень осунулся на землю, застыл, окаменел. Через некоторое время он опомнился, поднялся на ноги. Его товарищи по несчастью лазили по обгоревшим руинам былых строений в поисках чего-нибудь пригодного для еды. Нигде ничего не было. Михаил сам осмотрел место на огороде, где они всегда устраивали копец — яма из-под него была пуста, и, по всему видно, давно. Обойдя селище, он обратил внимание на чуть приметный длинноватый бугорок земли около посаженных в их честь молодых и невысоких еще сосенок. Раньше его там не было. Неужели это могила его родных? Но на ней же нет креста. Осмотрев последний раз свое бывшее селище, Михаил окликнул парней, мол, пошли отсюда, здесь больше нечего делать. Он вспомнил о «норе» — в ней всегда хранились какие-никакие припасы. Да и голову будет где приклонить. А там они еще покажут себя, дадут гадам, которые своими коваными сапогами растоптали всю его жизнь, загубили не только его отца, но и всех родных, сожгли, сровняли с землей его семейное гнездо...

Михаил шел-плелся впереди, за ним — парни. Он и не приметил, как ноги сами привели его к Рогинке. Еще там, на сожженном селище, где-то глубоко в сознании у него появилась и сидела шальная мысль: «А может, на Рогинке картошка стоит не копаная, если все погибли-сгорели? Так это же какая помощь будет ему с парнями. Конечно, она будет мерзлая. Голодный много не сделаешь, как говорил когда-то дед Митрофан, а сейчас вот и не навоюешь».

На Рогинке поле было чистым, похоже, с осени.

— Рогинка, дорогая моя! — грустно вслух промолвил он, осматривая до боли знакомую «пролысину». — Подожди, подожди, а что это за ловж такой? Откуда он взялся? — Михаил, прихрамывая, а затем, откинув в сторону палку, подбегом бросился к невысокой куче хвороста, пристроившейся с края поля. Обежав вокруг земляного холма, прикиданного валежником, и убедившись, что перед ним горб искусственный, сделанный человеком, и зовется он не иначе как «копец», Михаил, забыв о раненой ноге, запрыгал от сумасшедшей радости.

— Ты что, с ума сошел? Что с тобой, и что ты там увидел такое необычное? Голого немца? Или с поднятыми руками? — товарищи смотрели на Михаила не иначе, как на полоумного.

— Какого немца? — пусть ему трясучка в бок и паралич в ноги! Я вижу такой родной земляной горбик. Я вижу наше спасение!

— Что ты плетешь? Какой такой горбик и где то спасение? Лес вокруг — ни души!

— Боже мой! Неужели это ты? Или у меня видения начались от голода? — вслух говорил Михаил, упав на колени, словно его бабка Авдотья перед иконами святых, перед небольшим холмиком земли, укрытым мхом и хворостом, и лихорадочно отбрасывая, разгребая его с одной стороны. Он даже не почувствовал, как наколол сначала ногу, а потом руку о колючую проволоку под хворостом — за время войны притерпелся и не к такой боли.

— Михаил, кто он?

— Копец — вот кто!

— Какой копец? Нам что, конец? Что это такое? Как оно выглядит? Где ты его видишь? У тебя, наверное, галлюцинации от голода? — парни, перепугавшись не на шутку, наперебой задавали вопросы.

— Нет, мои дорогие! Это не галлюцинация, это — копец с картошкой! Ее целая куча! Бурт! Значит, мои родные живы! Я догадываюсь, где они. Сейчас мы немного подкрепимся, и я вас поведу к деду, к своим. Раскладывай костер. Мы еще повоюем!

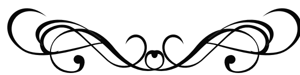
Михаил на глазах ожил. Он уже добрался до картошки — чистой, ровной, как помытой. Набрав в руки клубней, он приник к ним лицом и понюхал, затем погладил. Их же, каждую картофелину, держали в руках его родные — мать, бабушка, братья, сестры, дед! Михаил физически почувствовал, как к нему возвращаются силы. Его глаза засияли от счастья: с копцом картошки никакой голод им не грозил, и если есть копец — значит, где-то рядом есть и те, кто его закладывал. Просто так бросить его они не могли, не имели права. Картошку же весной — пускай тебе гром с молнией, пускай тебе война — люди должны бросить в землю. Это же жизнь! Никакая фашистская навала*, никакая война ее не остановит, — читалось на его лице...

Он был прав. Картошка участвовала в той святой и правой войне наравне с людьми.

Сосны-внуки охраняют покой старых: дружно, как былая семья, что жила здесь когда-то, стоят, шумят — рассказывают про одну из многих трагедий-былей минувшей войны.

Чтобы люди помнили, не забывали.

Перевод с белорусского автора.



---

* Навала — нашествие, стихийное бедствие.



АЛЕСЬ БАДАК

Сны обернутся былью

Небесные змеи

Тучею рваной касаясь земли,
Небо уставшее злится.
Капли, как змеи, в ночь поползли
По холодным запястьям и лицам.

Все застыло в шипеньи оков —
То с крыльца расползаются змеи.
Языками хватают ночных мотыльков, —
Языками, что молний острее.

Будто что-то во мгле потеряли глухой.
Им земля отворила кипящие недра.
И куда ни посмотришь — змея под ногой,
И все новые падают с неба.

Я спасенья ищу в сигаретном дыму,
Страх, свернувшись у сердца, застынет.
Зашатается дом, и его в высоту
Неизвестная сила поднимет.

Флейта

Стало отравой вино
И бесконечным прощанье.
Птица разбила окно,
Выпустив ночи мерцанье.

Льются, легки и чисты,
Флейты волшебные звуки.
Так бесконечно просты —
Вестники близкой разлуки.

От переливов души
Стало тепло и отрадно.
И засияли огни,
Тропы от Бога до ада.

Дьявол протянет ладонь:
— Помни о строгости рая,
Там где пылает огонь,
Дева томится чужая.

Только мне ангел шепнул:
— Ты его остерегайся.
Крыльями тихо взмахнул —
Сразу огни все погасли.

Перевод с белорусского Светланы Правдиной.

* * *

Ты не стой у ветра на пути.
Разве ты не видишь, что за ветер?!
Крышу он вчера разворотил,
На сегодня многое наметил.

И тебя пронижет он насквозь
Силою безжалостной и страшной.
Ты еще узнаешь боль и злость
Как от ран при схватке рукопашной.

И еще подумаешь, что с ним
Свой последний миг живешь на свете.
Он и душу выдует, как дым,
Он и дух развеет по планете.

Перевод с белорусского Юрия Матюшко.

Муравей

Ах, как луг этот здорово пах,
Как в траву мы бросались отчаянно!
И в прекрасных твоих волосах
Муравей заблудился случайный.

Оказался вдруг в городе он,
В незнакомом совсем интерьере.
И, обшарив квартиру, балкон,
Он все тыкался в тяжкие двери.

А когда прошумела гроза,
Испугался: воды не хватает.
И с тоскою смотрел, как оса
Пьет компот и в окно улетает.

Нас он словно и не замечал,
Удивляясь: да что, мол, такое?

Рядом с ним всяк себя ощущал
Поневоле природы изгоем.

И потом все казалось не раз,
Просыпаясь в поту среди ночи,
Что с укором и грустью на нас
Смотрят чьи-то печальные очи.

Перевод с белорусского Валерия Гришковца.

* * *

Две беды за нами, две беды.
В миг какой назад ни оглянуться —
Там печаль парит, как белый дым,
Снова в души просится вернуться.

Две стены меж нами, две стены —
Ни конца им нету и ни края.
Черной прорвой смотрят в наши сны
Два слепых окна, судьбой играя.

Два огня меж нами, два огня —
Искрами пронзают серость будней...
Может быть, не только ты меня —
Я тебя когда-нибудь забуду?

Два пути меж мною и тобой —
Никогда скрещением не станут.
Первый вдаль стремится, а второй
Молодой травою зарастает.

Два моста меж нами. В летний дождь,
В солнечный — всем дарящий надежды —
Ты по радуге-мосту пройдешь.
Мост утрат едва ль меня удержит.

Перевод с белорусского Елизаветы Полеес.

Голос

Памяти Владимира Мулявина

Голод
На сцене эстрадной
На голос.
Шли на него и деревня, и город.
Шли Беларусь, Украина, Россия,
Как будто на сцену являлся мессия.
Звучала, как проповедь, миру взъяренному:
«А ў полі вярба нахіленая...»

И, слушая голос, так искренне верили
Единою верой
Европа с Америкой.
Проносится время, и век наш не долог.
Пускай на эстраде везде теперь голо,
Выходят девчонки почти что нагие, —
Мы вспомним и это потом с ностальгией.
Но голо еще все ж без этого голоса,
Как без василька придорожному колосу.
И не раритет уже дома — реликвия:
Мулявинский голос с пластинки и лик его.
И диск заедает, заигранный странно,
Сто раз повторяя: «Ой, рана... ой, рана...»

Перевод с белорусского Изяслава Котлярова.

Крылья

Для потомков пустою дачей
Обернется родная хата?
Не для танцев совсем — для плача
Последним сельским девчатам.

Еще не втянувшись в серость
Сезонных сельских работ,
Душа почему-то верит,
Что ей предстоит полет.

Люди живут ожиданьем:
Скорей бы, до мелочей
Откроет любовь им тайны,
Заветный набор ключей.

Ах, светлые упованья!
Им никогда не сбыться...
Снятся девчатам свиданья,
Снится девчатам столица.

Не раз судьба посмеется,
И уже не отпустит работа.
Но только в душе остается
След небесных полетов.

...В ночь, когда жизнь замирает,
Сны обернутся былью:
Девушка все снимает,
Освобождая крылья.

Перевод с белорусского Любови Турбиной.



ЗИНАИДА ДУДЮК

Зона

Рассказ

Она шла низинным лесом, мягко проваливаясь в пушистый мох, вслушивалась в монотонный гул деревьев. Любила лес с детства, затаенно скучала по нему в городе. Достаточно было увидеть с окраины синюю полоску на горизонте, чтобы обрадовать и утешить сердце. Если горизонт был пуст, земля выглядела незащищенной и больной.

Накануне прошли теплые дожди, наступила грибная пора, но грибы женщине не попадались. Неожиданно она вышла на край высокого бора, а дальше потянулась непролазная посадка молодого сосонника. Обычно в таких местах бывает много маслят. Но и здесь ее ожидания не оправдались. На столбе, стоявшем на просеке, заметила предупреждающую надпись: «Запретная зона». Неизвестно, что таил в себе этот подлесок, возможно, там был военный полигон. Она вернулась в старый лес, остановилась на сухой поляне, скромно украшенной розовым вереском, посмотрела вверх, где на фоне серо-голубого неба плыли вершины сосен, и, словно поднялась над своими переживаниями и тревогами, с легкостью почувствовала, что впереди еще много светлых дней. Вот подрастет непослушный сын, муж постареет и остепенится, исчезнет между ними отчужденность и ложь, и заживут они наконец, как люди...

Сосновый бор постепенно перешел в чернолесье, щедро раскрашенное осенью в кармин, кадмий и охру. И опять ей попалась на глаза предупреждающая надпись, только на этот раз прикрепленная к стволу дерева.

В осенней роскоши красок все чаще стали встречаться кроны, тронутые чернотой, словно обгорелые. Даже в воздухе ощущался сладковато-горький запах. И вдруг она увидела перед собой мертвый лес: черные столбы с торчащими сучьями взывали к небу, словно руки окаменевших существ. Серая листва, застилавшая землю под ногами, рассыпалась в труху. Женщина взволнованно озирала пространство перед собой, ощущая страх, понимая, что попала в какое-то опасное место, словно здесь случилось злое колдовство. Она рванулась, чтобы бежать отсюда, но две руки легли ей на плечи. Она испугалась от неожиданности и одновременно обрадовалась: хоть какая-то живая душа рядом. Оглянулась и вскрикнула от неожиданности: за ее спиной стояли двое мужчин в противогазах и блестящих комбинезонах, широких для их субтильных фигур.

— Отпустите! Что вам нужно? — вскрикнула она.

Один из мужчин жестом успокоил ее, вынул из сумки, висевшей у него на плече, запасной противогаз, зеленый прорезиненный плащ и перчатки, передал женщине, подождал, пока она оденется, указал рукой, куда следует идти.

Она пыталась упорядочить мысли: «Это отравленный лес... В противогазе не поговоришь и не расспросишь... Что же это такое? Что будет со мной?..»

Запах горелого леса першил в горле, на глаза время от времени наплывала неприятная влага, и тогда она ничего не видела перед собой, шла вслепую. Успокаивало только то, что рядом были люди, которые, несомненно, хотели ей помочь. Проводники, тонкие, как подростки, поддерживали ее под локотки. Она поняла, что это, скорее всего, молоденькие солдаты с ближайшего военного объекта.

Вскоре они вышли на бетонку. Странно, что она, неплохо зная этот лес, никогда не видела здесь дороги. Мужчины остановились и жестами показали, что вынуждены завязать ей глаза. Она возмутилась, попыталась противиться, но как это сделаешь в противогазе?

Глаза развязали только в помещении, где она увидела сидящего за столом усталого, еще не старого человека с грубоватыми чертами лица, с копною седоватых курчавых волос над широким лбом, помеченным глубокими морщинами. Он внимательно взглянул на нее, улыбнулся, сочувственно сказал:

— Здравствуйте. Снимайте камуфляж, здесь вам ничто не угрожает.

Она отклеила от лица липкую резину потного противогаза, сняла плащ и перчатки, отдала одному из проводников, стоявших рядом и ответила:

— Здравствуйте... Простите, не знаю, как к вам обращаться... Кажется, я заблудилась, помогите мне, пожалуйста...

— Зовите меня просто: доктор. Не волнуйтесь, мы вам поможем. У нас случилась небольшая авария, выхлоп аэрозоли, самая малость, поэтому всех людей, которые будут попадать в отравленную зону, мы вынуждены задерживать и обследовать.

— И много ли у вас таких задержанных?

— Пока вы одна.

— Надо же предупредить мою семью...

— Не волнуйтесь, все сделаем. Присаживайтесь, пожалуйста, и напишите вот здесь все, что считаете необходимым, чтобы мы смогли предупредить ваших родных, — предложил он, положив на стол лист бумаги и ручку и указав на стул, где она могла сесть.

Она быстро написала домашний телефон, имя и отчество мужа. Доктор одобрительно улыбнулся, поблагодарил и поинтересовался ее самочувствием.

— Знаете, я очень испугалась, когда попала в мертвый лес, подумала, что там был пожар. А потом эти ваши парни в противогазах... сердце до сих пор трепыхается, туман перед глазами, горечь и сухость в горле...

— Это пройдет. Вот, попейте водички, — предложил доктор. — Сейчас я вызову фельдшера, он возьмет у вас кровь на анализ. А потом вы сможете отдохнуть в изоляторе. Позже туда вам принесут еду.

Действительно, на вызов явился молодой фельдшер в респираторе и серой униформе. Доктор удовлетворенно окинул взглядом подчиненного. Его радовала старательность и обязательность этого молодого человека. Вот и сейчас он был одет согласно самым строгим требованиям техники безопасности. Хорошо бы брать с него пример...

Фельдшер повел женщину длинным коридором с множеством высоких железных дверей, но нигде, даже в кабинете доктора, она не видела окон. Ей казалось, что за этими тяжелыми дверями кроются ужасные тайны, скрываются страх и одиночество, собранные со всего мира. И если эти двери раскрыть, страх заполнит всю землю, люди станут бояться всего, даже собственных теней. Она оглянулась на фельдшера, который шел немного позади. В глазах его была тревога, словно он чувствовал то же самое.

В конце коридора фельдшер нажал кнопку на стене. Бесшумно открылась дверь в небольшую комнату, посреди которой стояла кровать, застланная

белым покрывалом, рядом — небольшая тумбочка, на которой светилась настольная лампа с оранжевым абажуром. Фельдшер пропустил женщину в изолятор, дверь закрылась и, казалось, слилась со стеной.

— Сядьте, пожалуйста, я возьму у вас кровь на анализ, — попросил он.

Она примостилась на край кровати, закатала рукав. Он перевязал ее предплечье шнуром. Иголка со шприцем в его руке быстро нашла вену, ужалила, и темные капли крови растеклись по стенкам стеклянной пробирки.

— Я отравилась? — встревоженно спросила она.

Он молча отрицательно покачал головой, успокаивая ее, поставил пробирку, положил шприц в хитрый чемоданчик, раскрывавшийся, как книга, и вышел. Она осталась одна. Чувствуя слабость в теле, беспомощно обвела взглядом помещение, где все было белым, кроме оранжевого абажура. Вдруг ей показалось, что стены и потолок сдвинулись с места, поплыли, нервный спазм сдавил горло. Женщина уткнулась лицом в подушку и заплакала от страха и недобрых предчувствий.

* * *

Фельдшер положил на стол листок бумаги, исписанный буквами и цифрами. Доктор пробежал глазами текст, отметил, что формула крови женщины имеет довольно большое отклонение от нормы, сказал:

— Ваша задача: понаблюдать за ней. И никакой помощи! — категорично добавил он. — Идите.

Фельдшер повернулся по-военному на пятке и вышел. Доктор сел к компьютеру, привычным движением нажал несколько клавиш: на экране побежали синусоиды с короткими и длинными зубцами. Компьютер был совсем новый, недавно его приобрели в комплекте со специальными кроватями, размещенными в изоляторах. Достаточно было уложить человека на такую кровать, чтобы получить сведения о состоянии его здоровья на экране дисплея.

Доктор почувствовал то знакомое волнение, тот азарт, который всегда охватывал его перед открытием, возможно подобное чувство испытывает заядлый картежник в предвкушении выигрыша. Он следил за цифрами и графиками, менявшимися и мелькавшими на экране, наблюдал, как аэрозоль побеждает живые клетки. Это была извечная борьба жизни и смерти, ярко проявленная сейчас на клеточном уровне.

— У нее судороги. Состояние критическое, — послышался в динамике безвольный голос фельдшера.

— О чем вы? — недоуменно спросил доктор, не желая отрывать взгляд от удивительного зрелища.

— Женщина умирает!

— Почему? Доза маленькая! Мышки на такую не реагировали.

— Наверное, животные оказались более приспособленными.

Доктор подумал, что надо учитывать протяженность воздействия аэрозоли, только в таком случае можно узнать ее настоящую эффективность. Действительно, все в жизни надо определять с учетом фактора времени. Сам он словно забыл о существовании такой категории, измерял прожитое только трудом. А по существу для человека, одержимого наукой, труд — своего рода наркотик, незаметно отнимающий силу и разум, особенно если работаешь вдохновенно и увлеченно, не замечаешь даже, как приходит старость.

— Дайте ей транквилизаторы. Подключите к кислороду. В крайнем случае — эфирно-кислородный наркоз. И без паники! — приказал он фельдшеру.

Надо было срочно связаться с центром. Сегодня доктор нарушил все инструкции. Правда, выбросы отравляющих веществ случались и раньше, но такая серьезная авария, как сегодня, случилась впервые из-за разгерметизации емкости. Лес погиб на площади значительно большей, чем защитная зона. Самое неприятное, что на отравленную территорию могли случайно попасть люди, которых не заметит охрана, тогда последствия могут быть непредсказуемые...

Пять лет потратил доктор на изобретение аэрозоли, заказанной военным ведомством. Его не интересовало, как будет использоваться это вещество. Он имел потребность творчески работать, достигать поставленной цели, так как верил в существование справедливости не только на небе, но и на земле. За свое изобретение был щедро награжден, приобрел определенные привилегии и отбрасывал всякие сомнения, возникавшие иногда в душе о напрасности и даже преступности его научного труда.

Он любил свое дело, гордился привилегиями. Что еще могло радовать старого холостяка, который из-за постоянной занятости так и не успел завести семью? И какая личная жизнь может быть у человека, приобщенного к государственным тайнам, когда за каждым твоим шагом следит недремлющий глаз внутренней службы. К тому же, не так просто отыскать ту единственную женщину, необходимую, как воздух, а связывать судьбу с первой встречной-поперечной стоит ли? Правда, когда-то еще в студенческие годы встретилась ему девушка, из-за которой он потерял покой, но она выбрала доцента. Для него это был тяжелый удар. Хватанув с горя вина, он хотел выброситься с четвертого этажа общежития и сделал бы это, если бы друг не удержал за полу куртки. Тогда он только разбил себе лоб, след остался на всю жизнь. На каникулы к матери приехал похудевший, с потухшим взглядом. Мать долго к нему присматривалась, а потом утешила: «Не горюй, твоя девушка от тебя не убежит». Ему ничего не оставалось, как смириться с судьбой, уйти с головой в науку и работу.

Доктор включил телекамеру — увидел на экране лицо женщины, попавшей под воздействие аэрозоли, еще довольно молодое, красиво очерченная линия губ, словно в удивлении приподнятые брови. Очевидно, приступ удушья временно отпустил, она успокоилась и забылась сном. Мало кто из людей умеет красиво спать: беспамятно раскрытые рты, разбросанные руки, неестественные позы — многое может исказить человека. У нее было лицо, которым можно было любоваться. Незнакомое волнующее чувство проснулось в нем, забилось частым пульсом — он устыдился сам себя. Было жалко незнакомку той тревожно-нежной жалостью, которая возникает по отношению к больным детям. Вдруг по ее лицу пробежала тень, судорога измяла черты. Женщина начала стонать, бредить, отбиваться от невидимого кошмара руками.

Доктор поморщился, как от боли, и отключил камеру. Надо было, наконец, предупредить центр. Он набрал номер главного диспетчера, рассказал об аварии и ее результатах. Диспетчер не спешил передавать плохую новость более высокому начальству, а прежде подробно расспросил о женщине, оказавшейся в отравленной зоне. Когда услышал, что ее держат в изоляторе лаборатории, возмущенно взорвался:

— Вы что, охренели? Из-за нее вся лаборатория может превратиться в психушку! Срочно высылаю санитарную машину! Всех, кто был с ней в контакте, — немедленно в изоляторы.

— Меня — первым...

— Вас? Как вы посмели? Это преступление!

— В таком случае вся моя деятельность в стенах этого учреждения — преступление, и ваша — тоже, уважаемый!

— Вас надо гнать!

— Сам уйду, сегодня же напишу заявление...

— Ха-ха! Заявление он напишет! Неужели ты думаешь, — диспетчер нагло перешел на «ты», — что тебя выпустят по-добру по-здорову с той информацией, которой ты завладел в стенах нашего ведомства? В лучшем случае, сгниешь младшим лаборантом, а в худшем, сам знаешь, — трибунал...

Доктор прервал этот бессмысленный разговор и снова включил телекамеру: увидел, что женщина металась в бреду, взлохмаченные волосы закрывали лицо. Губы его нервно вздрогнули от слабости и тошноты, вдруг овладевших телом. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, подумал, что очень устал от напряженной работы, ограниченного круга людей и от себя самого. Не хотелось ехать в центр, писать объяснительную, а потом еще переживать разные комиссии и проверки.

Он стал приводить в порядок бумаги на столе, и когда к горлу подступил удушливый ком, из-под ног уплыл пол, линзой выгнулась противоположная стена, он еще успел подумать, удерживая в течение нескольких минут ясным сознание: «Галлюцинации? У меня? Неосторожно разговаривал с ней... Геройствовал... Глупец...» И, кажется, уже не сам он, а кто-то иной, кому его судьба была совершенно безразлична, добавил: «Так тебе и надо».

Издалека послышался голос матери. Она стояла на горбатом мостике, переброшенном через туманную речку, в том самом цветастом платье, в котором ее похоронили. Было больно смотреть на слепящее солнце, катившееся к закату за ее спиной. Он, прищурив глаза, бросился к матери, натыкаясь на острые солнечные лучи, как на боевые пики. Она, взмахивая рукой, звала его и уходила на другой берег, в туман. Тогда мир начал переворачиваться. Небо падало на землю, а земля стремилась стряхнуть со своей поверхности человека, как что-то омерзительное. Он, охваченный страхом, до полного изнеможения бился в диком хаосе, а потом долго летел в темноте, пока душа его не стала темным сгустком энергии, воспарившим над телом.

Перевод с белорусского автора.





ПАВЕЛ СИМОНОВ

Я магию душою сотворю...

Магия

Блеснет звездою падающей рифма,
Зажжет огонь в словесной кутерьме,
И в предвкушеньи сладостного ритма
Я мотыльком помчусь к нему во тьме.

Я запишу обрывки лунных песен
И разукрашу нежностью зарю...
И лист бумажный узок мне и тесен —
Я магию душою сотворю.

* * *

Терзая струны, менестрель
Опять часов не наблюдает,
А стрелки кружатся быстрей —
Под их крылами тихо тают
Рассветы, полные любви,
Закаты, пьяные печалью,
И целой жизни — се ля ви —
Двустишье, поданное к чаю.

* * *

Нам бы дотянуться до Бога —
Роста не хватает чуть-чуть.
Нам от Бога нужно немного —
Лишь в глаза Ему заглянуть.

Что в них будет: печаль? участье?..
Может быть, тогда мы поймем,
Где нам отыскать свое счастье
И зачем мы на свете живем.

Рождество

Над горами синими купол неба
Сыплет то ли звездами, то ли снегом,
Заметает все пути, все дороги,
Прячет нас за пазухой у Бога.

Тихо. Только шепчутся еле
Звери золоченые на ели.
Выйду на балкон, небо потрясу —
И звезду тебе я принесу.

* * *

Ты смешно морщишь нос,
И пьянеешь от солнца,
И впускаешь в глаза
Золотые огни.

От бокала с вином
Отраженный, от донца,
Свет в твоих волосах
Только с нимбом сравним.

* * *

Одурев от боев кабинетных,
Разгребая словесный прах,
Как не грезить об инопланетных —
Лучше нашего — дальних мирах?

Там слова не расходятся с делом,
Там начальству не смотрят в рот,
И душа там командует телом,
А никак не наоборот!

* * *

В песках круговерти унылой
Увязло мое колесо,
И сердце привычно заныло,
Попавшее в будней лассо.

Не слышится посвиста ветра,
Крутой перевал позади,
Но мне ни к чему километры,
К бумажным вершинам пути.

Мне хочется яростной драки
За правду, за жизнь, за любовь!
И, шпагой сверкая во мраке,
Спешить на свиданье с судьбой.



ИРИНА БАТАКОВА

Каменный ребенок

Рассказ

1

Кенор нехорошо на меня смотрит. На его физиономии играет паскудная улыбочка — верный знак того, что он зол и готовит мне разоблачение. Зализанный на косой пробор, розовощекий, всегда с потупленным взором, но очень смешливый, как дьячок из чеховской «Дуэли», Кенор улыбается даже когда приходит в ярость. В этот момент его травоядные черты освещаются мефистофельским коварством. А если уж он носит в себе знание о чужом преступлении, яд этой тайны так отравляет его, что рожу то и дело сводит спазмом гнусной радости, хотя на самом деле Кенор очень страдает.

За три года я хорошо изучила все оттенки его улыбок, так что никаких сомнений быть не может: Кенор все знает. Ну и пусть. Интересно, кто ему стукнул? Леонорова? Как-то раз я ей легонько вмазала — так, воздушный подзатыльник, чисто для субординации, ничего личного. Она заплакала... Такая нежная. Меня потом два дня тошнило от стыда. Леонорова все это, кстати, четко просекла и вроде бы зла на меня не держит. Да и не похожа она на суку. Однако кто знает.

Или Брыдкина? С ней вышло все наоборот. Она у нас была вроде подушки для иголок: каждая сявка ее обижала, а та все безмолвно сносила. Надо сказать, Брыдкина очень уж некрасива. Лицо, как недопеченный, но пригорелый блин: круглое, плоское, мучнисто-бледное, усыпанное бурыми веснушками. Из толстых век угрюмо выглядывают черные глазки, тупо и враждебно сверлят пространство, не озаряясь живой мыслью. Она ходит нечесаная и горбатая, пахнет свиньей и тяжело стучит ногами. Родители Брыдкиной угорели насмерть во сне. Так сказал Кенор... Ее звериное одиночество странно трогало меня. И вот так случилось, что однажды, когда Брыдкину в очередной раз травили всей спальней, я за нее вступилась. Я крикнула: «Ну, эй, девки, харэ, да? Отстаньте уже от человека». И они отстали. А дальше произошло вот что. Брыдкина, потрясенная моим заступничеством, стала ходить за мной, будто верный пес. Всегда и всюду. По пятам. Она шла не рядом, а чуть в отдалении, молча, мрачно сопя, не отставая ни на шаг. Она никогда не заговаривала со мной, а только сопровождала меня с упорством автомата. Я иду — она идет, я останавливаюсь — она тоже, я бегу — она бежит следом, грохоча своими чугунными копытами. На второй день мне это надоело. Я обернулась — в этот миг в глазах ее что-то зажглось — и говорю: «Отвали, ладно?» Она тотчас погасла, по лицу словно пробежала рябь: обида, разочарование, презрение — все там было.

С тех пор — я знаю — она меня ненавидит. Меня это не удивляет. Здесь все друг друга ненавидят, потому что нам друг от друга никуда не деться. Мы —

случайно попавшие в одну клетку крысы, нас ничто не связывает, кроме этой злой случайности и этой злой неволи, и потому эта связь невыносима.

Первое время меня баюкало заблуждение, что я — другая: ведь мне повезло больше, у меня есть Аля, которая меня скоро заберет отсюда. У Брыдкиной вот — никого. У Леоноровой — тоже, родители погибли в аварии. У кого-то — у Вали Коломенцевой, например — просто пьют. Кого-то просто бросили. А у Леры Бондаренко мать внезапно сошла с ума, и поэтому государство отобрало у нее детей: Леру и ее старшего брата Ваню. Лера из-за этого стала прямо доктором медицинских наук: прочитала о психах все, что смогла найти в нашей школьной библиотеке, и теперь живет в страхе, потому что, как оказалось, шизофрения — болезнь наследственная. Лера боится, что когда-нибудь тоже заболеет, она мне призналась по секрету, мы сбежали с алгебры и спрятались в гладильной, и Лера сказала: только никому ни слова. На меня ее признание не произвело впечатления: она слишком красива для того, чтобы можно было ей сопереживать. Мне казалось, что бы с ней ни произошло — все будет ей к лицу, все выйдет в ее пользу. Ее не портят даже ихтиандровые перепонки — сросшиеся пальцы на ногах, по два на каждой ступне. Пока она, с выражением скорбного удивления в глазах, делилась со мной своим знанием, мне вдруг пришло в голову, что никто не спасет меня от нее, никто. В бытовке стоял запах проутюженного белья — не такой, как бывает в обжитом углу, а холодный, пустой, односложный. С тех пор этот запах навсегда связан с ее властью надо мной.

2

Я здесь уже три года, с тех пор как... Неважно. Аля обещала, что это продлится недолго, надо только чуток потерпеть. И я терплю. Она дала мне с собой этюдник, чтобы я не забывала, кто я такая... «Они несчастные дети, ты — другая, помни об этом». В рейсовом автобусе меня вырвало. Я заблевала себя, Алю, пол под сиденьями... Мы долго переодевались, отмывались водой из бутылки, оттирали пол — все на ходу, в тряске, наперекосяк, поочередно закрывая друг друга Алиным плащом, и какой-то мужик все время перегибался, выворачивал шею, следил за нами. «Ничего... — сказал он, когда мы закончили, — бывает... Девка-то малая совсем... слабенькая ишшо. Лет пятнадцать?» — «Какое пятнадцать! — возмутилась Аля. — Ей двенадцать всего!» Я замычала и ринулась в проход — мне опять стало дурно. «Остановите, остановите!» — закричала Аля. На обочине я долго корчилась над чахлой серой травкой, тупо разглядывая ее сквозь слезы, и наконец с последним, самым мучительным спазмом из меня выдавилась горькая вязкая капля, которая все тянулась, тянулась и никак не отклеивалась ото рта.

И вот приехали. Аля ушла что-то оформлять, с кем-то разговаривать. Я с вещами сидела в холле, оцепенев перед лицом своей новой судьбы. Вокруг стоял тот особый мерзкий запах, которым сопровождается циклевка паркета в казенных домах. К нему примешивалась вонь жареной рыбы и хлорки. Только что кончился урок, и все этажи содрогались от грохота дверей и топота ног, по коридорам с дикими криками носились «несчастные дети», а я чувствовала себя стеклом, которое вот-вот разобьют.

Потом с улицы стали входить мальчики и девочки в спортивной форме: класс возвращался с физкультуры, и я почему-то вдруг поняла, что это — мой класс. Замыкал группу физрук — короткий и невероятно широкий человек с мясистым лицом цвета пармской фиалки и ледяными глазками. Рядом шел стройный мальчик с баскетбольным мячом, в короткой болоньевой курточке.

Они остановились напротив окна и минуту о чем-то говорили. По лицу тренера было ясно, что этот ученик — его любимчик.

Мальчик и влек меня чем-то, и раздражал. Сперва я заметила его экстравагантность, даже курточка сидела на нем как-то манерно и с претензией, а в движениях было что-то резкое, какая-то дерганая грация, словно ему не стоялось на месте, нетерпелось, хотелось бежать или прыгать. Лицо было выразительно на грани вычурности, я не могла отвести от него взгляда, оно меня гипнотизировало и сокрушало, как движение неизвестной стихии, и в какой-то миг все вокруг исчезло: пропали все звуки и образы, все, кроме этого лица, в чертах обманчиво простого, но в их взаимодействии — удивительного. Все черты были крупной, четкой лепки. Нос — по-деревенски толстоват. Шапочка русых, облинялых на солнце волос. Выпуклые, идеально изогнутые губы. Большие глаза с густыми ресницами, казавшимися в контражуре пучками мохнатого света. Аля потом сказала: «хлебная внешность». Или соломенная? Не помню. В ее таблице элементов это нижняя строка. Аристократичная внешность, считает Аля, всегда каменная. Не золотая, не жемчужная, не какая-нибудь там эфирная, а именно каменная. Не знаю... Мне безразлично, из какого материала сделана красота. А в этом лице был некий даже избыток красоты, и невозможно было сказать, откуда она сияла.

Я очнулась, только когда заметила, что соломенный мальчик обнаружил мое наблюдение за собой. Теперь, разговаривая с физруком, он изредка бросал на меня насмешливые властные взгляды, и я, пылая от стыда, тотчас его возненавидела.

Когда разговор закончился, тренер взял у мальчика мяч и пошел в свою сторону, а мальчик пружинистой походочкой — в мою. «Это что за ящик у тебя?» «Да так... Этюдник», — ответила я сдавленным голосом, стараясь выглядеть безмятежной. «Покажи!» Я послушно открутила винты и поставила свой секретный чемоданчик на телескопические ножки. «Ого! А что внутри?» Я подняла крышку, и он склонился над ящиком, разглядывая тюбики и кисти, но, не трогая их. Он даже завел руки за спину, мол, я тут не сельпо какое-нибудь, а культурный человек.

Его любопытство становилось все деликатней и вкрадчивей. Он продолжал задавать вопросы. С каждым разом тон его делался мягче, но и как-то привязчивее, иногда звучали прямо-таки нежные, едва ли не приторные ноты, однако глаза то и дело щурились и стреляли в меня каким-то ревнивым интересом. Это было странно и мало похоже на обычное поведение мальчиков... Я смутно чуяла здесь какой-то подвох. Но мне и в голову не могло прийти, что передо мной вовсе не мальчик, а девочка. Девочка, черт побери.

Так я познакомилась с Лерой.

3

Этюдник я с тех пор не открывала. Он на три года сложил свои длинные коленчатые ножки и упокоился под моей кроватью — преткновение для веников и швабр — сам себе гроб и мертвец, с мертвыми красками в цинковых тюбиках... Иногда я суеверно думаю, что его главное предназначение в том и состояло, чтобы привлечь Леру. Я обладала необычным предметом — предметом из какой-то взрослой жизни, из закрытой области каких-то специальных знаний и умений — все это делало меня в Лериных глазах существом неординарным. А все неординарное должно было принадлежать ей.

Все эти три года она врастала в мою волю, а я пыталась ее отторгать, я сопротивлялась, но всегда неудачно, всегда все заканчивалось тем, что я чуть ли не плакала у нее на груди, лепеча слова раскаяния. Ссора обыкновен-

но начиналась с пустяка и, стремительно накаляясь, разгоралась в драку. Лера была гораздо сильнее и реактивнее, но у меня было преимущество в росте и весе, так что мы успевали сильно измотать друг друга, излягать, поколотить, изорвать и расцарапать, прежде чем мне засчитывалось поражение. Девки нас боялись растаскивать, дожидались, когда я выбьюсь из сил, но злоба не позволяла мне сдаться, и нас приходилось-таки разнимать. Я всегда проигрывала, я знала, что Лера непобедима, что переть против нее — все равно что бежать с мухобойкой против пули, — и, тем не менее, драку всегда начинала я. Первый удар всегда был мой. Я не выдерживала словесной борьбы: она умела внезапно уколоть в больное место самым простодушным тоном, при этом лицо ее имело хладнокровное и насмешливое выражение. Это было невыносимо! В голове у меня что-то взрывалось — и все. Я не помню, как бросалась на нее, помню только черную ярость. В следующий миг я обнаруживала себя уже схватившейся с Лерой. И ясно было одно: мне конец.

А потом, через день-два, мирились, конечно. Ну, как... Я говорила: Лерка, мол, ты это... я это... не знаю, что на меня вдруг нашло и все такое... прости, не хотела, давай дружить. Искренне говорила. Потому что — ну ведь правда — не хотела! Не хотела ни этой черной ярости, ни ненависти. И не знала, что с этим делать.

Знала только, что моя ненависть к ней как-то связана с ее красотой. Зависть? Да, зависть! Каждая секунда моей жизни была отравлена Лериным совершенством. Все, все в ней терзало меня. Все в ней было так ловко устроено, так точно подогнано одно к одному, и все беспрестанно двигалось с избыточной энергией и резкой грацией механизма.

Вот она заходит в класс. Я смотрю, как под плиссированной тканью школьного платья упруго ходит ее маленький крепкий зад, как задорно вздрагивают в такт шагам ее курносые грудки, и мне хочется, чтобы какая-нибудь дикая сила разорвала ее на куски.

За соседней партой Артем Деркач и Коля Муравейчик следят за ней, низко, как стервятники, пригнув головы. Когда она проходит мимо, Деркач, пуча глаза в ее сторону, показывает Муравейчику линейку. Муравейчик, давясь от смеха, мотает головой и достает из книги закладку. Оба ржут. Почему-то они решили считать Леру «плоской», и все эти трусливые намеки и ужимки — это такой безопасный способ глумиться над ней в ее присутствии. Им хочется ее унижать. При этом, я знаю, они оба влюблены в нее. Они влюблены в нее злой, лживой, безнадежной любовью. И всякий раз, когда она проходит мимо, они фальшиво смеются, выворачивают шеи, зубоскалят. Стерлядка, плоскодонка, закладка... А я злорадствую. Как будто от их насмешек Лера и впрямь теряет свою красоту и власть. Словно эти несчастные придурки — часть той дикой силы, которая когда-нибудь, по моему хотению, разорвет ее на куски.

Вот что я должна ей сказать в минуту сердечного откровения. Наивная, беспечная, самодовольная Лера! — должна сказать я. — Твои прекрасные сиськи царапают своими сосками мою душу. Чтоб ты знала, сука, как я тебя ненавижу! Сдохни! Умри немедленно! Исчезни без остатка. Но вместо этого я бормочу какие-то невнятные оправдания, льстивые заверения, жаркие (и жалкие) слова раскаяния... Зачем? Зачем я так пресмыкаюсь? Я знаю одно: если она перестанет со мной дружить, я умру от горя и тоски.

4

Потому что Аля меня обманула. И у меня никого больше нет.

И поняла-то я это ведь как-то вдруг и невпопад, случайно прилетело и, как это всегда бывает, откуда не ждешь.

Дело шло к отбою, и поэтому все были в сборе: кто валялся на кровати, кто играл в карты, кто гадал — все девки разбились по кучкам, а мы втроем — с Лерой Бондаренко и Валей Коломенцевой — устроили научный диспут о врожденных уродствах. Вспомнили все: слова «рудимент» и «атавизм», хвостатых и волосатых детей из учебника биологии, заспиртованных младенцев из кунсткамеры и другие интересные ужасы. А Лера, прочитавшая медицинскую энциклопедию, рассказала, что одна тетенька сорок лет проходила с мертвым ребенком в животе, и обнаружили это только после ее смерти: «Вскрытие показало!» Коломенцева скривилась: «Да ну. Не бывает такого. У нас одна алкашка, наша соседка по этажу, так откинула коньки: ребеночек умер у нее там, внутри, а она че-то не помню что-то ли в запое была, то ли что, короче — не почесалась в больничку пойти. Короче, скепсис и трындец». Лера зароготала: «Сама ты скепсис! Сепсис, чумичка ты лесная! Сеп-сис!» Ну и заспорили. И тут я встреваю: «Бывает! Мне Аля рассказывала. Бывает так, что он не разлагается там, а как-то каменеет, а женщина даже не в курсе, что беременная...» Я часто ссылалась в спорах на Алю, как Лера на медицинскую энциклопедию. Это был мой самый веский аргумент. Так и в тот раз. Я говорю: «Есть даже такой термин: «каменный ребенок». Мне Аля сказала!» Авторитетно так говорю. И тут замечаю тяжелый звериный взгляд из угла. Это Брыдкина на меня смотрит. Смотрит, смотрит... И вдруг — как заорет во всю пасть: «Да задолбала твоя Аля! Сколько можно! Аля то, Аля се! Кому какое дело до твоей Али?!»

«Ого, — подумала я. — Валаамова ослица заговорила». И все притихли. Немая сцена.

Я понимала, что надо что-то сделать — как-то показательно ее проучить — восстановить порядок, одним словом. Но внезапная слабость овладела мной. В горестном оцепенении смотрела я на нее и видела себя — видела насквозь. Одиночество, ожесточение, отчаяние — вот что я видела. И, конечно, зависть. Она завидовала мне: у меня ведь есть Аля! И как только я поняла причину ее зависти, я вдруг поняла, что Али у меня нет. Давно уже нет.

5

Как-то вечером, после отбоя, мы лежали с Лерой нос к носу (наши кровати были всегда сдвинуты) и делились сокровенным. Лера призналась, что у нее есть мечта — мотоцикл. «Я представляю, как сяду на него и уеду... Буду просто ехать и ехать, без остановки... Ехать и ехать... Это такой кайф! Меня однажды Ваня катал...» Ее брату было, как нам сейчас, пятнадцать, когда мать попала в дурку. Теперь он служил во флоте где-то на другом краю материка. «Вот выйду отсюда и сразу куплю моцик. Только сначала надо денег где-то достать...» Я почувствовала, что она чего-то недоговаривает. «И где ты собралась взять деньги?» — спрашиваю. «Ну-у, не знаю... — притворно тянет она и вдруг быстро и тихо добавляет: — Можно, например, продать свою девственность». Я оторопела. «Как это, — говорю, — продать? Кому?» «Ну кому-кому... Что ты как маленькая! — Лера придвинулась ко мне и горячо зашипела в ухо: — Знаешь Чеботареву из десятого «Б»? Ну такая вся... Прикид, все дела... Да! Так вот, она мне сказала... Да не дергайся ты, слушай!.. Короче, она может все устроить... Да слушай ты! Я те говорю! Это будет только один раз! А бабла дадут кучу! Не, ну скажи: а нафиг она нужна, эта девственность? Все равно когда-нибудь... ну, ты понимаешь, да?.. больно и задаром. А тут — раз! — и куча бабок сразу!» «Ну, допустим, — сказала я, когда смогла заговорить. — Но ведь это... Противно! Ты представь: какой-

то старый бабуин с морщинистой жопой будет тебя...» «Фу!» — вскрикнула Лера. И замолчала. И промолчала минуту. Затем сказала: «Да. Об этом я не подумала». И еще через минуту, громко: «Блин! Меня сейчас вырвет!» «Да заткнитесь вы! — донеслось из темноты. — Дайте поспать».

Мы заткнулись. Тотчас нас обступила ночь, задышала, завздыхала, заворочалась... Двадцать дыханий, все время как бы сонастраиваясь и сбиваясь, звучали как шум прибоя, и сквозь этот шум внятно, с какой-то особенной чистотой и грустью, доносились внешние звуки. Вот пролетел самолет с заунывным, потусторонним гулом, и долго-долго тянул из сердца жилу... Где-то в недрах спящего города что-то хлопнуло печально, как выстрел самоубийцы. Кто-то из девчонок застонал. Резко скрипнули пружины: Леонорова вдруг села в постели строго и прямо, лунатическим контральто возвестила: «Илбарак, илбарак, илбарак!» — и снова легла.

«Она все равно тебя обманет, — сказала я. — Один раз, как же! Заманит на панель, и все». Внезапно я вспомнила об этюднике под кроватью. «Кстати, — говорю, — панель это тема». И я объяснила Лере, что на языке художников «панель» — это уличное рисование за деньги. «Видела, в метро, в парках они сидят? Рисуют прохожих. Один портретик — пять баксов. Пять баксов за полчаса, прикинь? Представляешь, сколько за день выходит? А рисуют они плохо. Аля говорила, что я рисую лучше, а мне тогда двенадцать лет было. Я, правда, уже три года как похерила это дело... Но тут как с велосипедом: нельзя разучиться, если уже умеешь». Лера вздохнула: «Ну, это не про меня. Я ведь рисовать не умею». — «А тебе и не надо. Рисовать буду я. А ты будешь моей моделью для завлечения клиента. Деньги — пополам. Ну, как?» Идея быть моделью ей понравилась даже больше, чем перспектива быстрого обогащения. Выступить решено было в субботу.

6

Конечно, мы нарушили режим. Ушли из интерната тайком, без спроса. Выкинули в окно этюдник, затем вылезли сами. Перебрались через ограду и оказались на свободе. В этом побеге не было острой необходимости: Кенор бы нас и так отпустил. Правда, не дольше чем на два-три часа. И тогда бы он уж постарался проследить, вовремя ли мы вернулись. То есть буквально караулил бы на входе, а по углам расставил вахтеров и нянечек. И если бы мы опоздали — устроил бы допрос: где, откуда, почему так долго и зачем этюдник. А нам это было совсем ни к чему. Проще было смыться втихую. Окно за нами закрыла Коломенцева.

Около девяти утра мы заняли скамейку в городском парке — не так чтобы совсем рядом с аттракционами, зато в стороне от художников, которые кучковались на козырном месте: у касс и ларьков с мороженым. Их было пока немного, все — бородатые хмыри. Я чувствовала себя самозванкой. И мне казалось, что все вокруг знают о моем самозванстве и только ждут момента, чтобы разоблачить меня. Я взглянула на Леру. Мой страх ей не передавался, а своего она не имела. «Че-то я очкую», — сказала я. «Чего? — удивилась она, — ты ж сама говорила, что эти доходяги рисовать не умеют». Она беззастенчиво уставилась на художников: «Зырь, какой забавный чудик! Вон тот, в бабушкиной кофте, ха-ха! Ну и прикид! Гляди-гляди? Рисует прямо на коленке, в каком-то блокнотике, блин, и я так могу! У него даже этюдника нет, тоже мне художник!» Ее наивная язвительность внезапно придала мне духу. «Ладно, — говорю, — только давай цену поставим не пять баксов? А, например... один». Лера не возражала.

Я написала на картонке «1 доллар по курсу», разложила этюдник, закрепила на нем альбом «для черчения», приказала Лере «замри» — и приступила. Через пять минут я перестала замечать окружающее...

«Похоже!» — произнес кто-то за моим плечом. «Не-е... Лицо какое-то... квадратное!» — запротестовал другой. Тут я очнулась и обнаружила, что вокруг столпилась тьма зрителей. Вернее, не то чтобы тьма, всего-то человек десять, но у меня в глазах потемнело от страха. Рисунок был почти закончен, и я не знала, как себя вести дальше. Мне хотелось спрятаться. Я склонилась над листом и вновь и вновь прорисовывала одни и те же детали. «Готово!» — нетерпеливо крикнул кто-то. Послышались одобрительные замечания: «Хорош! Красиво! Годится!» Лера, не выходя из позы, тоже начала беспокоиться: дрыгала ногой, нервно поводила плечами, вытягивала шею и таращила глаза, как бы пытаясь дотянуться взглядом до рисунка и увидеть, что же там такое. «Ну, вроде все», — наконец объявила я, и она тотчас вскочила, чтобы посмотреть. На ее место тут же сел пролетарий лет двадцати пяти: «Девушка, меня нарисуйте!» Лицо у него было в форме лаптя, длинное и вогнутое, с мелкими слабыми глазками. Потом был дяденька, похожий на проворовавшегося бухгалтера. За ним — прыщавый дембель с золотым аксельбантом на груди. Парочка влюбленных. Девочка лет шести, которая качалась, вертелась и не досидела до конца, — мать заплатила, но рисунок не взяла. Было еще несколько мужчин — все отменно некрасивые. Зрители сочли, что каждого из них я приукрасила. Портретируемые — что изуродовала.

А потом небеса разверзлись, и раздался этот мерзенький, ехидный голос: «Ну что, девочки, демпингуем?»

Вот это был типчик! Рыжий насквозь. Он кружил, как-то по-особенному выгибая ноги, сверкая красными носками. И смотрел так искоса, по-птичьи, как бы примериваясь куда клюнуть. Я не поняла смысла его загадочной фразы, но чуйка моя засигналила: «угроза, угроза!» — и я стала быстро сворачиваться. Толпа зрителей вмиг куда-то улетучилась.

А этот все кружил, все гарцевал. «Девочки куда-то собрались? А поговорить?» И вдруг змеиным движением выхватил у меня целлофановый пакетик с деньгами. «Ой, что это тут у нас? Грязные денюжки?» «Мы заработали!» — крикнула Лера. Он ласково ей улыбнулся, помахал пакетиком и сказал: «Хочешь работать — плати налог!» Я в бессильной тоске проводила взглядом наши деньги, которые исчезли в заднем кармане его брюк. «Бери-бери! Нам не жалко, — презрительно бросила Лера. — Купи себе новые носки». Лера умеет разозлить. В этом она вся. «Тебе не нравятся мои носки?» — рыжий выкинул вперед ногу, видимо, как прямой довод в защиту своих эстетических ценностей. Лера молниеносно схватила его за щиколотку, резко дернула на себя и так же резко от себя, ударив рыжего в грудь его же собственным коленом. Тот даже не успел понять, что произошло, как уже катился на закорках по земле... «Бежим!» — крикнула Лера, и мы побежали.

7

Мы бежали. Хохотали. Орали. «Как ты это сделала?! Блин, круто!» «Скажи, да? Это Ваня меня научил! А нефиг лытками махать!» Успокоившись, подсчитали ущерб. Черт с ними, с деньгами. Другое дело — этюдник. Я его потеряла — бросила при бегстве. А ведь это был не просто этюдник. Это была скрижаль. Это был завет, данный мне Алей. И теперь меня грызло чувство вины. И жалость такая... как будто я бросила не деревянный ящик, а собаку в лесу. Несчастная судьба бывает и у вещей.

Когда мы вернулись в интернат, повара уже гремели на кухне посудой. Нас трясло от голода. Мы забежали в столовую, набрали там хлеба и жадно на ходу ели. «Где вы шляетесь целый день? — крикнул нам кто-то в коридоре, — Кенор всех на уши поставил! Идите, идите быстрее!»

Оказывается, пока мы трудились на панели, к Лере приехала какая-то дальняя родня. А где Лера? — а нету. Стали искать — не нашли. Тогда Кенор пересчитал всех по головам. Допросил всю группу. Коломенцева раскололась: мол, вылезли в окно и ушли, а куда — не знаю. Я думала, Кенор нас убьет. А он не убил, даже орал не сильно — наоборот, как будто обрадовался, нас увидев. Перетрухал, небось, когда мы потерялись...

А через какое-то время эти, которые приезжали к Лере, забрали ее. Вроде бы насовсем.

Она мне письмо написала. Про новую жизнь. Я не особо вчитывалась. В каждой строчке было по три восклицательных знака. И везде мелькал какой-то Димка. Фотографию прислала. Я ее не узнала: мелированная челка, в ушах плеер, глаза подведены, как у панды. А на переднем плане тот самый Димка, наверное. Лыбу давит. Смазливенький такой. Брюнетик. Она сидит у него за спиной и обнимает за плечи. А он сжимает в руках мотоциклетный руль.

Я ей не ответила.

8

Давным-давно, в другой жизни, был дом и сад, и была река. И кто-то крикнул: а давайте, кто дальше проплывет под водой? А давайте! Я сделала длинный вдох и глубоко нырнула. Я знала: надо плыть, прижимаясь к самому дну, тогда вода не вытолкнет наружу. Я плыла брассом: гребок — толчок ногами — скольжение, гребок — толчок ногами — скольжение. Наконец воздух кончился. Пора было всплывать. Но я говорила себе: ну еще один гребок... Ну еще один... И продолжала плыть. Вскоре мне показалось, что всплывать совсем не обязательно. Зачем, если и так хорошо? Хорошо и как никогда спокойно. Я безмятежно глядела в мглистую желто-зеленую перспективу — река внутри себя была пуста, без единой даже рыбки. Я попала в предел абсолютного одиночества. И мне не хотелось его покидать.

Потом я узнала, что это чувство эйфории и покоя — всего лишь следствие недостатка кислорода.

Теперь я так живу. Всегда. Как будто все время испытываю кислородное голодание. Только без эйфории. Я на дне и ничего не чувствую, кроме давления мутной водянистой среды, да и оно незначительно. А главное — мне совершенно не хочется всплывать.

Это я описываю себя изнутри. А если описывать меня снаружи, глазами Кенора, то все выглядит так: я прогуливаю уроки и круглые сутки валяюсь на кровати. О чем я думаю вообще? Мне что, на все плевать?! И долго я буду в молчанку играть? А? Нет ответа? Ладно, посмотрим, как я запою, когда меня переведут в спецшколу для дебилов. Туда мне и дорога.

Однажды, как обычно что-то прогуливая, я зашла в туалет. И там, созерцая заново оштукатуренные и побеленные стены (летом в спальном корпусе сделали плановый ремонт), я ощутила мрачный творческий импульс дикаря. Нет, я не стала размазывать по стенам говно. Мне хотелось не испачкать, а процарапать. Штукатурка была такая свежая, такая пухлая, и так хотелось вонзить в нее что-то острое, провести борозду, чтобы на краях закурчавилось. Я достала из кармана огрызок карандаша. И, повинуясь импульсу, нарисовала

фигурку — без головы, без ног и рук, зато с характерными острыми сиськами и задницей-мячиком — и внезапно поняла, что рисую Леру Бондаренко. Тут бы мне и остановиться. Но я не остановилась. Наоборот. Я с наслаждением приписала к рисунку: «Бондаренко — шлюха». Мы не знали более грязного ругательства.

Зайдя в туалет уже вечером, я обнаружила, что у меня есть последовательницы. На стене появилось еще несколько записей: «Бондаренко — подстилка», «Бондаренко — дура плоская», «Л. Б. — рахитка». Последнее звучало совсем уж нелепо. Через день стена туалета была сплошь покрыта похабными каракулями. Наутро уборщица, матерясь, побежала к старпеду. Теперь идет расследование.

Но Кенор, я думаю, уже в курсе, кто тут главный по настенным росписям. Кто-то из девок меня спалил. А может, и нет. Мой рисунок сам выдает меня с головой. А была я первая или десятая — какая разница? Наказать-то Кенор кого-то должен? Мое авторство очевидно, все остальные — анонимы. Значит, накажут меня. Ну и ладно. Ну и поделом. Пусть. Мне все равно.

9

Стену ненависти побелили заново. Мне назначили двадцать внеочередных дежурств. А потом она вернулась. Лера.

Наверняка ей уже по дороге рассказали про туалет. Она вошла тихая, настороженная, сама не своя. Прежним был только ее драматичный взгляд: теперь он выражал надменную горечь. Долгое время мы почти не общались. Наши кровати стояли в разных углах. Мы были как два изгоя, которые боялись друг друга, и которых боялись все остальные.

Неизвестно, как долго бы это тянулось, если бы не письмо. Я получила письмо от Али — как всегда толстое, на нескольких листах, крупным почерком с сильным нажимом. Она писала, что наступил важный период, у нее творческий подъем, много работы, и если сейчас все бросить, то она потом никогда не наверстает и «тогда нам уже не выбраться из всего этого дерьма, ты же знаешь, болезнь матери и так выбросила меня на 10 лет из искусства, еще пара таких лет — и мне конец как художнику», и прочее, и прочее... Было еще что-то про какого-то гения с зелеными глазами — «мы встретились на пленэре»... На слове «пленэр» я сломалась, разорвала письмо и заплакала. Тогда Лера подошла ко мне, положила руку на плечо и молча села рядом.

«Зато у тебя нет сумасшедших в семье, — говорила она вечером, после отбоя, когда мы, снова сдвинув кровати, изливали друг другу душу. — Ты здоровая, Аля твоя здоровая — нарисуется там, натрахается и заберет тебя, не переживай». У меня дыхание перехватило. «Что ты такое говоришь? Молчи! Молчи!» — зашипела я. «А что такого? — холодно и безмятежно отозвалась Лера. — Все этим занимаются». «Я — нет! — сказала я и зловредно добавила: — и не буду!» Это было глупо, и Лера обязательно должна была меня высмеять. Но она молчала, как будто что-то обдумывая. Наконец каким-то странным, замороженным голосом произнесла: «А я — да». Я притихла, почувствовав себя козявкой рядом с ней, многоопытной, все испытавшей. И она рассказала мне про свою любовь.

Дима, Димочка, Димыч, Димон, Димка-невидимка. Она его любила, и он ее любил. Он катал ее на моцике. Он подарил ей брелок, фонарик и еловую шишечку. А она подарила ему себя. И он сказал всем друзьям: это

моя девочка. А друзья — Гендос, Колян, Петрович, Ганджубас, Таха-Натаха и Чимпа — сказали: а! И все было так хорошо, так хорошо, пока не появилась эта его бывшая. Люська-Лиса. Сучка та еще. Она его вот так пальчиком поманила — и он пропал. Три дня, неделя — нету Димки. «А я умираю! Я ждать не могу — я бегом из дома, каждый вечер ищу его, подкарауливаю... Дура, да? Мне Ганджубас говорит: ну ты кочумай, достала уже всех, смирись и все такое. Смирись, прикинь? Ну и что в итоге. Димочка таки явился не запылился и грит: малая, прости, бла-бла-бла, я с тобой был чисто из мести — чтоб Лиса ревновала. Как тебе такой расклад? А Лиса, заметь, рядом стоит. Обнимает его всеми руками. И ухмыляется. А я — секи, да? — я ему говорю: чет я не вкурила, Димыч, что за блевотина к твоей куртке прилипла? Ну, эта тварь сразу на меня прыг! И прямо рылом на кулак. Визгу-у! Короче, закончилось чем. Родичи эти мои приемные, троюродная тетка с мужем ейным, решили меня обратно вернуть. Я потому что, типа, неуправляемая. Ну, они так сказали. Мол, мы не думали, что ты такой сложный подросток, мы не ожидали, мы просто лесные эльфы, а тут такое... ах-ах... Подумаешь. Не очень-то и хотелось».

«Прости меня», — прошептала я, отмолчав положенное. «За что?» — удивилась Лера. «За то... Сама знаешь...» Лера приподнялась на локте, вглядываясь в мое лицо. «Да ну. Я знаю, что ты не виновата. Тебя ведь подставили».

10

Тогда я не поняла зловещего смысла этой странной фразы.

Никто не заметил, как и когда у нее это началось. Лера ведь всегда была с пулей в голове. Непредсказуемая. Она все подминала под себя, но без злого умысла, а лишь наивно полагая, что все ей подчиняется по какому-то естественному закону природы. И когда странные и опасные черты ее характера стали резко заостряться, все решили, что она окончательно оборзела, только и всего. «Я всех поставлю на свои места», — твердила она, щурясь, как бы вглядываясь в далекий план справедливого мироустройства. Выражение надменной горечи не сходило с ее лица. Глаза смотрели прямо, но как бы мимо всего, ее взгляд был прикручен к какой-то невидимой цели, к одной подвешенной в уме идее.

Пару раз она подходила ко мне, чтобы снова сообщить (с конспиративной интонацией): «Я знаю, тебя настроили тогда против меня. Можно сказать, вынудили. И я даже знаю, кто». Всякий раз при этом моя совесть билась в корчах, но я молчала. Я не смела ее разубеждать. Занятая внутренним борением, я не замечала жутковатого ветерка безумия, которым веяло от ее речей. Вскоре я стала ею тяготиться. Я избегала оставаться с ней наедине. Но после отбоя я снова была в ее власти — и, угрызаемая чувством вины, замирала в молчании, слушая и не слыша ее полуночные монологи. Тогда я придумала прятаться ночью в изоляторе. Там всегда есть несколько пустых коек. В изоляторе я выжидала часа два и затем пробиралась в спальню.

В одну из таких ночей это и случилось. На ощупь, впотьмах я прокрадывалась к своей кровати, как вдруг вовсю ударил свет. Лера в трусах и майке с видом торжествующей Немезиды стояла у переключателя. Я замерла в позе схваченного за руку вора. «Что такое... Вырубите свет... Какого хрена...» — сонно запротестовали со всех сторон. Лера подошла ко мне, презрительно жуя губами. Глаза ее триумфально сверкали. «Ну, и где ты была?» — сказала она, продолжая жевать. Челюсть ходила туда-сюда нарочито медленно, в темпе ковбойских вестернов. «А-а-а! — саркастически догадалась

она, — ходила указивки получать? Много наполучала? Думаешь, я ничего не вижу? Давно все с тобой ясно!» Ничего не понимая, я села на кровать. «Ты о чем?» — говорю. «Да-а! С письмом вы четко меня накололи! А я и повелась! Только одного не учли: я его расшифровала! Ага? Что? Съела? Думали, не догадаюсь?» — она выдернула из-под своей подушки Алино письмо и помахала им перед моим носом. «Ты что? Ты бредишь? — опешила я. — Отдай письмо!» Между тем вокруг нарастал ропот: «Кончай разборки! Два часа ночи! Заткнитесь и вырубите свет!» — девки окончательно проснулись. «Я давно-о подозревала, — не обращая ни на что внимания, продолжала Лера, жуя и помахивая письмом в одном ритме, как заведенная, — что с твоей Алей что-то нечисто. Теперь я знаю точно: вы сговорились меня убить! Ха! Как будто бы я не видела, как она выслеживала меня у родичей. За деревьями пряталась — ну не дура ли? Типа я слепая! И Лиса с ней заодно была. Они вас всех подкупили. Родичи. Тетка моя троюродная. Чтобы квартиру матери отобрать у нас с Ваней. Сперва меня убить. Потом Ванечку. Ха! Вот как все просто! Теперь все стало на места! Ну ничего. Ничего-ничего! Я вам покажу. Я твою Алю выведу на чистую воду. Вот доказательство! Шифровка!» Я попыталась выхватить у нее письмо, но Лера увернулась. «Лера! — взвыла я, — опомнись, что ты несешь? Аля никогда не была в доме у твоей тетки, она не знает даже, где это. Какой сговор? Ты ей вообще безразлична! Ей все до фени, понимаешь? Ее интересует только это гребаное искусство и больше ничего!» Лера скорчила фальшиво-жалобную гримасу и комично замахала руками, передразнивая меня. «Ах-ах, искуйство, ах, ей все до фени! Кроме трахнуться, да? Любит она это дело, а? Она тебя бросила, чтобы ты ей не мешала тра...» «Убью!» — крикнула я и бросилась на нее.

11

Леру той же ночью увезли на скорой в психиатрическую больницу.

А меня на другое утро — в инфекционную. Я подцепила какую-то заразу в изоляторе, когда пряталась по ночам. Предварительный диагноз — корь.

Я лежу в стеклянном боксе, закупоренном на две двери. Камера на одного человека: койка, умывальник, унитаз. Ни шторки, ни ширмочки — спрятаться негде. Сквозь прозрачные стены во все стороны видны ряды таких же палат, в которых плавают тени в казенных пижамах. Это днем. А сейчас ночь. Меня привезли в субботу утром. Значит, уже воскресенье. Тишина. Больные спят. Дежурная медсестра — как и единственная лампа с едва добивающим сюда светом — где-то далеко. И я не могу ее позвать. Потому что надо встать с кровати, подойти к двери и нажать на звонок. А я не могу даже шевельнуться. Я могу только лежать и глазеть в потолок. Я вижу, как надвигаются и скручиваются стены, как теснят друг друга углы. Комната сужается и вытягивается. Потолок отъехал высоко-высоко вверх. И между потолком и мной образовался столб невыносимого давления. Меня сплюснуло и крошит. Крошит, крошит, крошит — в щебень, в песок. Я — гора прирастающего песка. Меня все больше, я песок-изнутри и песок-снаружи и никуда уже не помещаюсь, только уплотняюсь и уплотняюсь. Это нестерпимо. Это длится вечно. И вдруг — о, какое облегчение! Я — тонкая ниточка, протянутая в пустоте. А потом снова — гора. И снова — ниточка. И так — без конца. Господи, не надо больше, не надо. Или я умираю? Я ведь не знаю, как умирают. Может, именно так? И что же теперь? Все? И никто меня не спасет? Аля, где ты? Неужели я умру вот здесь, в этом стерильном аквариуме, в темноте и пустоте, без единой живой души рядом? Мне пятнадцать лет, я не

хочу! Я ничего не успела! Ничего не сделала! Но что я должна была успеть? Что сделать? Непонятно. Аля мне внушала, что я гениальный ребенок и буду великим художником. Как это глупо! Глупее только слово «пленэр»... Откуда оно? Ах да, письмо... Лера так и не отдала мне письмо... Лера! Что-то с ней случилось... Что-то страшное...

Надо встать и позвать на помощь.

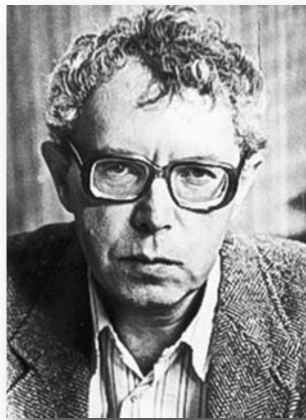
Но встать не получается — только сползти. Я ползу на четвереньках к двери. Там, вверху — спасительный звонок. Мне не дотянуться. Я лежу у двери и стучу в стекло. Напрасно!

Значит, все? Я не хочу умирать. Я не успела пожить! Я не успела полюбить. Я не знаю как это — любить. Любовь — это что? Это когда появляется он? Гений с зелеными глазами... Димка-невидимка... Мы встретились на пленэре... А че такого? Все это делают. Я — нет и не буду. Ну и дура. Хотя бы один разок попробовать. Мне так одиноко. Кругом толпа людей, а я одна. Я иду сквозь толпу, против течения, навстречу мне — широкий разноцветный поток людей. Никто не видит меня. А я вижу всех, каждое лицо в подробностях. Это обычные люди — таких я рисовала в парке. Женщины, мужчины, старики, подростки. Их много, бесконечно много, и о каждом из них я знаю что-то важное, что-то одно на всех. Среди них есть все люди на свете, все, — и Лера там, я издалека вижу ее лицо, оно спокойно во всех чертах, но невероятно печально. Ее горестный взгляд — ключ к моему знанию: все люди несчастны. Теперь я понимаю, чего я не успела и не сделала. Я не сделала ничего хорошего. Ни для кого из них. Я никому не помогла. Ни одному человеку. Но как помочь? Как? Что же с ними будет? Неужели их никто не спасет? Они так одиноки... Мое сердце разрывается от бессилия и тоски. Но что-то меня поднимает над потоком людей, легко, как котенка за шкирку — вверх, все выше и выше. Вот я перестаю различать лица. Потом — фигуры. Все люди сливаются в сплошную реку, река сливается с рельефом земли, рельеф тонет под облаками, затем открывается дуга горизонта, который вдруг сворачивается, и я, воздетая и прибитая к черному потолку космоса, вижу под собой шар Земли в сияющем нимбе стратосферы. Господи, как это прекрасно. Какое умиротворение. Какое блаженство...

Заглянуть бы еще туда, в глубь космоса. Правда ли, что вселенная бесконечна? Я столько раз пыталась это представить. Но у меня такое бедное воображение! Увидеть бесконечность! После этого и умереть не жалко. Ну, пожалуйста!

Но сколько я ни молила, все равно так и висела в ньютоновой темноте, как Буратино на гвозде в театральной кладовой. Слегка раскачиваясь в правильном гравитационном положении. Тот, к кому я обращалась, перестал возиться со мной, двигать меня туда-сюда по карте мироздания. Наверное, моя последняя просьба показалась ему дерзостью суетливого ума. И он, разочарованный, плюнул и ушел.





ИЗЯСЛАВ КОТЛЯРОВ

Печаль

(Из поэмы «Ученик вечности»)

Есть отстраненная учтивость,
когда и все, и никого,
как будто все уже случилось,
хоть не случилось ничего.
Прощанье это иль прощенье,
самозабвенье или страх?
Иль неизбежное смиренье,
что все — лишь прах.
Забота, хлопоты, усердье,
скорбь, неизбывная печаль
и это вечное: «Не верьте...
Есть дали высь, есть выси даль...»
А что потом — за этой далью,
за этой высью — что потом?
Печаль останется печалью
опять о всех и ни о ком.
Она — тоска, и грусть, и скука,
и горе в ней, и боль души,
и неизбежная разлука
с угрюмым разумом ханжи.
Ведь от себя — себя не спрятать,
хоть совесть прятаться могла,
а доброта — совсем не святость, —
она из мысленного зла.
Ты мстил не злом, а добротою,
да и теперь лишь ею мстишь, —
она всегда пребудет злою...
Ты и прощая, не простишь.
Есть в глубине сознанья бездна,
а в бездну — только бездны путь.
Тебе придется неизбежно
в нее всей жизнью заглянуть.
А там... Неверие, как вера,
там даже истинности нет, —
и только сам всему ты мера,
сам — разрешенье и запрет.
А там такое, там такое...

Хоть и кому-то, а себе.
Искать бы истину в покое,
а ты искал ее в судьбе.
Не отказать, не отказаться, —
нет сути в сути бытия...
Как самому себе признаться,
что ты — не ты, а тоже — я?
И в «я» не спрятаться, однако,
в него себя, нет, не вместить,
ведь было всякое и всяко,
и остается, чтобы мстить.
Все только прошлому подсудно,
его никак не упрощу...
Я добротою лишь кому-то,
а злом себе, себе же мщу.
Ну вот и разум зло хохочет.
Он вновь такой и не такой.
В нем бездна бездной быть не хочет —
быть захотела высотой.
Шепчу ему: «Утешься, глупый,
неужто знать не знаешь ты:
одно и то ж, что бездна глуби,
что бездна вечной высоты...»
А сам словам своим не верю,
в них только чувствую вину, —
и высоту душою мерю,
как будто мерю глубину.
Все так похоже, так похоже:
земля и мне — подобье дна...
Я понял, что одно и то же
здесь высота и глубина.
Нет никакого в этом чуда,
и вовсе нечего таить, —
вся суть лишь в том, смотреть откуда,
а может, в том, откуда жить.
Опять стыдливо умолкаю.
Печаль, обида, страх, беда...
Откуда — может быть, и знаю,
но знаю, знаю ли — куда?
Себя дороги помнят сами:
им — что поляны, что — леса...
Но вот смотрю я небесами,
иль мною смотрят небеса.
Все только в мысленном секрете.
Я даже этого не знал...
«Нет беспечальных мест на свете», —
мне Никон Оптинский сказал.
Он весь в своем единоверце,
душе которого темно.
Он знает: беспечально сердце,
коль Богу отдано оно.

Ах, проповедник, проповедник,
я слушать мысленно привык, —
я только мудрости наследник,
хотя ее и не постиг.
Но даже мне давно известно,
что бесполезны все пути,
что не спасет любое место,
коль от себя нельзя уйти.
Живу и то как будто мельком,
все не вживаясь в свой же век...
Ты прав, что должен человеком
и наставляться человек.
Но как не быть к себе причастным,
где все дано и не дано?
Стал Соломон Екклесиастом,
а это сути все равно.
Я душу чувствую живую
в библейской мудрости ее.
Я с ней — иль в ней? — уже горюю,
в ней все мое, в ней все мое.
Теряю или же теряюсь,
невольно исчезаю в ней.
Я наставляюсь, наставляюсь —
да, человеком вечных дней.
Молчите, мысли, тише, тише...
Реален я иль все же мним?
Как быть всего земного выше,
оставшись все-таки земным?
Итога нет в любом итоге,
любая высь — все та же даль.
Успокоенье — только в Боге,
но и оно, оно — печаль
до учащенья сердцестука,
до вскрика там, где пустота...
«Все суета, томленье духа,
томленье духа, суета...»
Глаза того не понимали,
не понимал тогда и сам:
чего б они ни пожелали,
он не отказывал глазам.
Все — суета, хоть знал едва ли,
что мудрость тоже — из печали, —
хоть приобщи, хоть обособь...
Всему бессмысленны старанья,
и умножающий познанья
свою же умножает скорбь.
Светает или сам светаю?
Смотрю в окно, а в нем — рассвет.
Я тоже старостью страдаю
иль суетой моих сует.
И мне забвенье как спасенье.

Я все берег, иль берегло?
Мне человеконаставленье
опять, опять не помогло.
Да, праху — прах, а Богу — душу...
И это все, и это все?
Я жизни правил не нарушу...
Верней, бесправия ее.
Но где я? Где? Я весь — в рассвете...
Как безболезненно горю...
Еще я мальчик... Все мы — дети...
Окно сиянью отворю.
Дышу веселым переплеском
еще влажнеющей листвы
и отдаленным переблеском
так просиявшей синевы.
Ау! — мой ранний друг Володя,
хоть за окном — не Могилев,
мы и сегодня, и сегодня
сбежим по лесенке в тот ров,
что жизнь от смерти отделяет
или от города погост.
Тропу узнаем, нас узнает
и благодарно поведет...
Где полусгнившие ограды,
где приуставшие кресты,
где столько, столько вечной правды
и надмогильной немоты...
Здесь никакого «или — или»,
здесь никакого нету «но...»
Кого могли — похоронили.
Здесь хоронить запрещено.
Старинным кладбище зовется,
его, наверное, снесут.
Ты плачешь? Да, умрем... Придется...
Но похоронят нас не тут.
А посмотри — какие лица
с надгробий смотрят сквозь века...
На них сама перекреститься
невольно просится рука.
А это вот советник статский,
опять взглянул на нас по-братски.
«Ну что вы, мальчики, — сказал, —
мой чин мне вовсе не по чину,
я жил, в себе любя мужчину...
Мне и могила — пьедестал...»
«Ты слышал, что сказал нам этот?
Нет-нет, послушай, погоди...»
А друг, за мной идущий следом,
слезами просит: «Не чуди...»
«И мы, и мы потом...», — как бредит.
Я тоже плачу... «Как же так?!»

Хоть ничего еще не понял,
но знаю, что рожденьем пойман...
И мне потом — лишь вечный мрак.
Все то, что есть, меня обманет
и даже кладбища не станет,
где буду похоронен я...
Володя, друг... Все так жестоко,
но есть еще и срок до срока
любого дня...
Догадка смутная тревожит,
но и она уже, как месть:
«Да, юный тоже, тоже может,
а старый — должен умереть...»
Неужто солнце также светит,
как могилевское тогда?
Неужто жили не туда?
Опять молчание ответит.
Жизнь, что ли, смертью промолчала?
Советник статский, ты о чем?
Нет и могилы-пьедестала, —
там чей-то сад, там чей-то дом.
Печаль... А Даль сказал бы — «печа», —
уже слова словам перечат,
хоть в них одна и та же суть...
Куда идти, чтоб возвратиться
туда, где все еще таится
в самом себе житейский путь?
Где прошлым я еще не связан,
где все могу еще стерпеть,
где я могу, а не обязан,
а не обязан умереть.
Жизнь бесконечна изначально,
а я и это превозмог...
Там, на погосте так печально
дышал, стекая, ручеек
между могил и меж оградок,
меж что-то вспомнивших кустов
и вдруг затрепетавших рядом,
заговоривших тенью слов.
В них почерк свой, переплетенье,
в них свой, никем незнаный слог.
Я таял взглядом в этой тени
и ничего прочесть не мог.
Хоть знал уже: мне жизни мало,
что смертью ограничен в ней...
А все весной, весной сияло —
кресты, могилы и ручей...
Он словно знал свое же устье,
так, извиваясь, тек и тек
от этой безысходной грусти,
то вновь — ручей, то — ручеек.

Я видел все, куда ни гляну,
я душу взгляду отдавал
и вдруг мальчишескую тайну
себе и другу вслух сказал:
Я напишу стихами книгу
о том, что в каждой жизни — смерть,
о том, что миг — не только мигу,
что тени слов нельзя прочесть.
А только в них молчанье силы,
молчанье истины самой
и немота живой могилы,
уже могилы, но живой.
Не объяснить — необъяснимо...
Навстречу — все, хотя и мимо.
Я тоже, тоже разминусь...
Все даже зримое незримо.
Все — только грусть.
Ее я к вечности ревную,
хотя лишь ею и живу, —
и сам однажды жизнь земную
юдолью плача назову...





ЛЕОНИД ШОФМАН

Ворон ждал

Рассказ

Снег был сухой, искристый, обжигающий. Старый ворон, с натугой взмахнув обтрепанными крыльями, тяжело поднялся в воздух и сел на самый высокий сук. Скосив бусинки глаз, внимательный и осторожный, наблюдал сверху за копошением существ, называвших себя людьми. Груда тел, то сливалась в огромный ком, то расползалась. Отдельные тела оставались лежать на снегу, оставляя возле себя ярко-красные лужицы крови.

Старый ворон, с пепельной головой, облезлым пухом, прикрытым жесткими перьями, озяб и устал. Ежедневно он прилетал на свалку подкрепиться, свозимыми из разных мест огромного города, отходами. Среди них попадались довольно вкусные объедки — не только куски хлеба, булок, но и невиданные деликатесы.

Однако сегодня здесь творилось что-то необычное... Хрип, крики, визги сцепившихся людей нарушали тишину зимнего воздуха. Оставалось — ждать.

* * *

Прижимая обе руки к животу, кривясь улыбкой, Андрей пытался подняться и снова падал. Затухающий взор улавливал мельчайшие детали картины: неестественные позы застывших тел, раскрытые в ожесточенном крике рты. Последняя находка нарушила хрупкое равновесие обитателей свалки, промышляющих ею, частично живущих здесь: летом постоянно, зимой на квартирах тех, за кем они еще числились.

Вольная, ни к чему не обязывающая жизнь. Едва отойдя ото сна, подняв лохматые головы, чугунно-гудевшие от вечерне-ночного застолья, наскоро отыскав остатки живительной влаги и жадно глотая ее «из горла», обитатели тянулись к привычному месту — свалке.

Существовала строгая специализация, собирали картон, тряпье, бутылки, металл, особенно ценился цветной. Этот товар стоил дорого, к нему допускались по разрешению охраны, имевшей свою долю дохода. Подъезжали многотонные самосвалы, сбрасывали груз, и нужно было иметь особую сноровку, чтобы крючьями растягивать и рассортировывать огромные кучи, освобождая место другим машинам, а затем и работе бульдозера.

Чего только не находили в этих грудах — отбросах жизнедеятельности огромного мегаполиса: вполне приличную одежду, инструменты, обувь, куски расчлененных трупов и прочую мерзость. Работа грязная... Иной раз от привезенного мусора шел такой смрад, что голова шла кругом.

Однообразная, нудная работа, но без норм выработки, количества отработанных часов... Что нашел, собрал, сумел сдать — то твое. Правда, нужно отдать долю старшему, вожаку, а уж он знает с кем делиться... по цепочке.

А так... раздолье, особенно в росистые летние вечера. Люди ночуют в самодельных шалашах из картона, обрезок досок, крытых кусками шифера. Горят костры... собравшиеся пьют без ограничения дешевое плодово-ягодное вино («чернило» по-народному). Сладостно и неторопливо кукует кукушка, воздух густ и прозрачен. Появляются первые звезды. Люди у костров пьют с вожделением, страстно и вдохновенно. Долго не могут утихомириться, весело тараща глаза в сгущающуюся темноту. Обсуждают свои, только им понятные проблемы, которые в обыденном мире таковыми не являются. Мелкие обиды, неразделенный кусок колбасы или стакан вина...

«Ты меня уважаешь?» — начинается выяснение отношений. Но и это надоедает... Некоторые громко, во всеуслышание, мужчины и женщины, начинают издавать неприличные звуки. Поднатужившись, особо умелые, вторят громовыми раскатами, после чего начинается судорожный хохот. Бессмысленный смех, фырканье, визги, барахтанье — все счастливы. Как мало нужно опустившимся людям для счастья: набитый пищей желудок, хмельная голова и рядом подружка: грязная, полуоборванная, терпеливая и нетребовательная. Все, кто мог, кто ощущал потребность в сексе, исполняли его вольно, как животные, не уединяясь и в любом месте. Конечно, предпочтение отдавалось старшему, вожаку. Его авторитет был абсолютным: он словом и кулаком разрешал споры и драки, решал, кому с кем спать, особенно если на свалке появлялись новенькие.

Свобода, свобода... бесконечная и безобразная.

* * *

Перед глазами Андрея, точно кадры кинохроники, мелькает прожитая жизнь. Жизнь... что это такое? И для чего она дана человеку? В чем ее смысл, если, не успев в ней разобраться, она завершается? Что это значит: плыть по своему однажды определенному руслу, не имея времени и сил, чтобы выбраться из этого потока? Только волею случая можно выкарабкаться на берег, не сознавая его устойчивости, надежности нового причала.

Мальчик из интеллигентной семьи, со средними способностями, окончил среднюю школу, технический институт, стал заурядным, обычным человеком. Женился на девочке, которая нравилась ему в школе. В советские времена получил квартиру, обставил ее, затратив массу сил и энергии. Все как у всех — средний советский человек (Homo Soveticus). Отработал с бумагами по восемь-десять часов, потом с сослуживцами в пивнушку, где под рюмочку и кружку сбрасывалось дневное напряжение, страх перед вышестоящим начальством: «Как посмотрел? Понравился ли составленный доклад?» От благосклонности начальства многое зависит: и твое возможное повышение по службе (а значит, и денежное вознаграждение), и командировки к смежникам в крупные города страны.

А там... свобода. Командированные, в зависимости от цели поездки, люди уважаемые. Их приветствуют, устраивают пикники, угощают в ресторанах. Можно расслабиться, познакомиться с податливыми девицами. Словом, жизнь прекрасна и удивительна. Потом можно будет рассказать друзьям, коллегам по работе об интрижке, а если очень понравится, сделать связь постоянной и проситься у начальства в командировку именно в этот город. Такое положение длилось годами.

А дома ждала жена, вечно недовольная, постоянно упрекавшая в неумении «жить как все», понимая под этим те блага, которые были у его более

высокопоставленных сослуживцев, имеющих возможность выезжать за границу. Попреки надоедали, заставляли отмалчиваться, убегать из дома.

Две дочери были в том возрасте, когда отцы уже не интересны: обе учились в институтах и жили собственной взрослой жизнью. Что-то болтали о лекциях, подружках, красавцах сокурсниках: кто к кому подошел, да как посмотрел и что сказал... Отца при этом не замечали. Жена, и после пятидесяти лет не утратившая инстинктивного желания нравиться, мужу была безразлична.

И катилась жизнь Андрея как по рельсам, ровно, без рывков — знай, налегай на лямку. С утра на чиновничью работу в министерство, с работы — в пивную, и лишь поздно вечером — домой к семье, фактически таковой не являвшейся. Ничто не скрепляло, не цементировало четырех человек; общая крыша — разные интересы.

Природа наделила дочерей свойством с первого взгляда нравиться мужчинам, при этом они не предлагали им руку. Споткнувшись о такое препятствие, приняли его как данность и решили брать от жизни все, что сумеют. Скандалы, сопровождавшие очередные похождения дочерей, были шумны и энергичны, заставляя Андрея лишний раз не задерживаться в квартире.

Дело шло к пенсионному возрасту, а тут накатили события... В стране волевым решением объявили перестройку. На работе стало больше перекуров и пустопорожних разговоров. Как-то непривычно было рассуждать о гласности: вроде не возбраняется критиковать начальство. Расплывчатые цели перестройки рождали равнодушие и пассивность у одних, вседозволенность у других. Приоткрылись границы... и вдруг масса людей бросилась искать дешевые, невиданные раньше заграничные товары. Выезжали все, кто имел личный транспорт. Не имеющие, группируясь, заказывали автобусы. Страсть к приобретательству, торговле стала принимать масштабность. Не миновала она жены и дочерей Андрея. В доме появились доллары и прочая валюта, позволявшая женщинам открыть собственное «дело» в виде небольшого киоска, торгующего одеждой.

Андрей же продолжал тянуть лямку на опостылевшей работе: выезжал в командировки, писал бумаги, собирал сводки, составлял отчеты, выполнял поручения начальников. Однажды в поезде, ночью, когда хорошо думается, неожиданно Андрею приходят слова, ему не свойственные, для него не характерные. Понимает, что это свыше, не от мира сего... что-то мистически непонятное. При тусклом свете вагонного ночника, записывает их на железнодорожном билете, почти не шлифуя, и внезапно понимает, что это молитва, молитва о женщине.

«Господи! Благослови и помоги женщине
найти и сохранить дружеское мужское плечо, дабы:
— могла опереться на него и в краткий миг соития, и
в трудный час детородства, и в долгое время становления потомства,
и на склоне жизни;
— не чувствовала себя горохом при дороге, а полевым цветком...
коль сорван, то в любви.

Господи! Умиротвори женщину, отврати лик ее от большого богатства, нажитого неправедно; вразуми — не в нем счастье, а в мире, любви и нежности. Укроти строптивую, укрепи слабую, успокой крикливую, подними падшую, образумь гордую.

Что мы без женщины? — Жаровня без углей, сосуд без вина, тесто без дрожжей, арфа без струн.

Гос-по-ди! На тебя уповаю — помоги женщине! Аминь!»

«К чему бы это? Вроде бы с женщинами все устоялось. Почему слова посланы мне?» — размышлял Андрей. Постепенно, в будничных делах они подзабылись, их великий смысл раскрылся позднее.

А пока ходит Андрей на работу, исполняет чиновничий долг — труд слабооплачиваемый, но стабильный. К стабильности приучил Андрея весь опыт предыдущей жизни, не жаловал он перемен.

Часть его сослуживцев давно определились: те, у кого были связи — ушли в бизнес, перешли в растущие, как грибы после дождя, фирмы. Стали менеджерами, а то и их руководителями.

Андрей торговать не умел: «душа не лежала» к изыскам как купить подешевле, а продать дороже. Дома, слушая разговоры жены с дочерьми о «наварах», «откатах», прибылях, чувствовал себя неуверенно, никому не нужным и оттого тосковал. Было ему больно, плохо и одиноко.

Спасал лишь вялотекущий служебный роман.

Альбина, Альбина... Андрей знал многих женщин и умел с ними обращаться. Откуда-то появлялось красноречие (а женщины любят ушами), мог подбросить комплимент, вовремя положить руку на плечо, слегка коснуться ушка... Среднего роста, худощавый с седеющей лысоватой головой, узкоплечий с задумчивыми карими глазами — умел производить впечатление на женщин разного возраста.

Альбина работала в машбюро. Скромно одетая, незаметная, в самом цветущем женском возрасте (около 38 лет), она особо не обращала на себя внимания сослуживцев-мужчин (много ярких женщин-стрекоз вращалось в министерстве). Всегда за работой, почти никто не видел ее праздношатающейся по коридорам учреждения. Замкнутая, молчаливая, точно выполняла порученные задания, не считаясь с рабочим временем. Таких исполнителей ценят. Поговаривали, что несколько лет назад она овдовела, осталась с 12-летним сынишкой в однокомнатной «хрущевке» и матерью мужа. Таких женщин множество, их жизнь никого не интересует, по крайней мере, ее внешняя сторона. Невысокая, с пышным бюстом и узким тазом, она не была красавицей, но что-то маняще-притягательное вдруг мелькало в ней, заливая сердце нестерпимой нежностью.

Как-то Андрею нужно было срочно подготовить справку, а дело шло к завершению рабочего дня. Выручить могла только Альбина, к ней-то он и обратился, для ускорения работы стал надиктовывать текст. Работа спорилась, наклонившись к женщине, Андрей неожиданно чмокнул ее в розовое ушко. Подняв глаза, Альбина удивленно взглянула на него и продолжала печатать. Запах ее волос был до головокружения хорош. Страстная сила телесного желания вдруг взыграла в Андрее. Он протянул руку, повернул ее голову к себе и впился в полуоткрытые губы, задыхаясь от восторга. Он приподнял ее со стула, поставил рядом, крепко-крепко прижал, целуя лицо и... «стал терять голову».

— Может быть, не надо? — спросила, отрываясь от Андрея.

— Надо, надо, надо, — услышала в ответ.

Исступленно и порывисто прижимал ее к груди, не хватало дыхания, бухало сердце... Ничего подобного он не испытывал за всю свою прожитую жизнь. Она же постояла, стиснув зубы и пошла в коридор, безразлично говоря:

— Какая ужасная погода, а я без зонта.

Встречи стали постоянными. Как только появлялась возможность остаться вдвоем. С ненавистью страсти и любви, Андрей искал уединения, чтобы обладать этой женщиной. Поражало, что после минут страсти она возвра-

щалась на рабочее место — спокойная, уравновешенная. Никто не смог бы догадаться, что еще совсем недавно она была в объятиях мужчины.

«Точно курица... потоптал петух... отряхнулась и побежала дальше по своим куриным делам», — думал Андрей.

— У тебя есть мужчина кроме меня? — спрашивал.

— Нет. Но лет двенадцать назад, будучи замужем, влюбилась в Василия, личного шофера нашего шефа, весом в 120 кг мужика.

— Ну и что?

— После смерти мужа пару раз было с ним..., но он женат, жену бросать не хочет, старше меня на одиннадцать лет. Он не очень решительный, да уж все перегорело. Молодых мужчин или ровесников я не люблю.

Задумывался Андрей: правду говорит или лжет? Да и мало ли у кого с кем было — дело случая или все было серьезно?

Личные водители... Это целый социальный слой, специфический и своеобразный. В них выработался лакейский характер: «чего изволите?» — для шефа и «пошли вы...» — для остальных. Личный шофер — это больше, чем обычный сотрудник — он знает все тайны шефа, предан ему, молчалив, пользуется услугами с барского стола. Он копирует своего начальника: если начальник хапуга, так же ведет себя и шофер. Лакей никогда не превысит допустимую дозу в общении с шефом, знает меру. Иногда, как бы случайно подаст ненавязчивый совет: «пора бы сменить марку машины на более престижную». И добивается своего. Начальник знает, что без такого лакея он не сможет расслабиться: съездить на охоту, рыбалку, сходить с друзьями в баньку с застольем и дамами. При этом следует соблюдать осторожность, следовательно, уверенность в личном лакее должна быть абсолютной. Не все шофера пригодны к такой службе: своеобразной, принудительной, но доходной. В течение пятнадцати лет такой тип лакействовал у нашего шефа. Высокий, плотный, с незапоминающимся лицом, женатый вторым браком и, в свое время, закодированный от алкоголя, он все свободное время проводил либо в приемной начальника, чаще в вестибюле, изнемогая от безделья и интересуясь молодыми женщинами. Точнее, чаще женщины интересовались им.

«Василий, подбрось к магазину», или «подбрось к остановке». Странно усмехаясь, он мог согласиться, мог и отказать.

Мужчины-сотрудники перед ним заискивали: «Ну, как дела Вася?!» — «Баб много, я один» — следовал ответ самодовольно улыбающегося лакея. Вот к такому типу и стал ревновать Андрей свою Альбину. Свою? Их встречи стали постоянными. Он с нетерпением ожидал окончания рабочего дня; нежность и сладострастное желание охватывало его. Вспоминал каждую черточку еще не увядшего лица. Его умиляла откровенность, с которой говорила о своей семейной жизни, о немолодом (как ей казалось) возрасте. Сама, как опытная соблазнительница, подставляла бледные губы... Повернув ключ кабинета, они предавались страсти. За стеной, близко от них проходили разговаривающие люди, и никому в голову не могло прийти, что делается на шаг от них. Разве, что Василию...

Потом стали встречаться и на квартире Альбины, однокомнатной, малогабаритной. Сын спал здесь же на раскладушке, а свекровь — на кухне. Так что уединяться могли только днем, чаще в выходные, сообразуясь с собственными желаниями. А уж коль Альбина пожелала, то собственных желаний не откладывала и посылала свекровь на улицу, посидеть со сверстницами. Сынок, двенадцатилетний подросток, практически жил на улице: домой приходил поздно, не докладывал матери и бабушке, где пропадал. В непогоду же

просто закрывала дверь на кухню, приказав свекрови сидеть тихо и читать газету. Кирилловна, всего лишь на десять лет старше Андрея, была сухонькой, невысокой старушонкой, доживающей свой век на «птичьих» правах в квартире невестки. При жизни сына была она хозяйкой в доме, хорошо обращалась с невесткой и та платила ей взаимностью. Смерть сына подкосила ее, теперь она лишь послушно кивала и выполняла команды Альбины.

Понимала Кирилловна: молодой женщине трудно без мужика, нуждается в ласке, хоть и мимолетной. Да и кто в ней не нуждается?

Пришел как-то Андрей в осенний хмурый октябрьский день, на улице — дождь вперемешку со снегом. В такую погоду хороший хозяин и пса на улицу не решился бы выпустить. А здесь старушка...

— Мамаша! На кухню и читать газеты!

— Не надо, Альбина! — с досадой сказал Андрей. — Я лучше завтра приду.

— А я хочу сегодня, стесняться тут нечего. Это — жизнь. Правда, мамаша?

— Верно, верно, — кивала Кирилловна, смахивая с ресниц слезы. Скребло на душе у Андрея. В каждый приход приносил Кирилловне то пачку чая, то печенья, то конфет. Понимал: у каждого за плечами старость, без тепла и заботы. Даже, если есть дети — грядет одиночество. Старики, как и дети, нуждаются в ласковом слове. Нет людей более отзывчивых на ласку, на мимоходом сказанные добрые слова. Уж они благодарны, благодарны... и за доброе слово, и за пустяшный подарок. Кирилловна ожидала прихода Андрея не меньше, чем Альбина. Размышляла: «свой человек, хоть и пожилой, на два десятка лет старше невестки. Добрая, нежная душа. Может, и сладится у них, бросит якорь в их квартирке — как-никак помощь, легче станет невестке и внуку. Андрей человек компанейский, умеет найти общий язык со всеми».

Жизнь могла заструиться еще живее. Могла, но не заструилась. В минуты близости называл взрослую женщину «маленькой, милой, любимой, моей». С каждым разом все больше убеждался, как эта женщина близка и дорога ему. Особое удовольствие доставляло ему целовать маленькие ступни, поднимаясь все выше и выше... руки, плечи, груди и твердеющие бурые соски. Будто забирал в полную собственность не только тело, но и душу. Слышал, как стучит ее сердце, чувствовал озябшие ноги и шептал самые горячие слова.

Но сказывалась разница в возрасте... бывали случаи, что в последнюю минуту слабел, стушевывался, мрачнел, раздражался.

Зачем тебе нужен старик? Что могу дать тебе, молодой, цветущей женщине?» И следовал ответ: «Мне хватает... и нежности, и ласки». Но чувствовал, чувствовал Андрей, что что-то недоговаривается: лукавое и расплывчатое. Ревновал, выискивал часы, когда отсутствовала на работе. Требовал объяснений, не всегда совпадавших с фактами. И уже совсем сходил с ума, когда говорили, что поехала в магазин с Василием. Всегда выкручивалась, объясняла, что давно равнодушна к этому человеку. Не совпадали штришки, не верилось любимому человеку.

«Скажи правду!» Альбина отвечала: «Не накручивай себя понапрасну. Оснований для ревности нет. Мой муж был тоже ревнивым, я уже привыкла». Звучало фальшиво.

«Он был, а я есть». Необъяснимы две вещи в мире: путь орла в небе и путь мужчины к сердцу женщины. Инстинктивно, как самка-хранительница рода, выбирает себе более крупного и сильного самца. Куда уж тут нежности и ласке, хотя именно эти качества воспеты на протяжении веков поэтами. Никто в жизни так не любит, как мужчины с менее крупными габаритами, мыслящие, страдающие сами и понимающие страдания других — те, кто не сводит отношения полов к простому физиологическому акту.

Вот их-то чаще всего и обманывают представительницы прекрасного пола. Попался и Андрюша.

В начале мая, подходя к дому, где жила Альбина, встретил ее сынишку.

— Дядя Андрей, не ходи к нам, там мамка с Василием.

Во рту пересохло, в глазах зарябило кругами, учащенно забилось сердце. Сдерживая себя и, пытаясь успокоиться, спросил:

— А где же бабушка?

— Где же ей быть? На лавочке уже часа два, а двери закрыты изнутри. Не веришь? Да правду говорю, под дверью стоял, слышал как они кувыркаются.

Молча развернулся Андрей и пошагал прочь, вышвырнув в мусорную тумбу ненужные теперь подарки. Не помнил, как зашел за угол и увидел машину со знакомыми номерами. Сел на скамейку с трудом соображая: «Что делать? Дождаться Василия и учинить драку? — тот моложе и сильнее. Да и с кем скандалить? С холуем, привыкшим брать все, что само идет в руки? А может быть, он ее любит, выделяя из остального гарема? Громилам всегда нравились невысокие, хрупкие женщины. Возможно, это взаимно?»

Слыхивал Андрей от сослуживцев со слов Василия о ненасытности Альбины. Значит, не разобрался Андрей в своей любимой женщине. «А может пойти, посмотреть ей в глаза? Нет, пойду напьюсь, утолю горе в вине».

Не помнил Андрей, как вдрызг пьяный добрался до дома, и, едва открыли дверь, упал и заснул тяжелым сном на полу, пугая домашних зубовным скрежетом.

На следующий день в условленном месте Альбина ждала Андрея. Как всегда спокойная, уравновешенная, она смотрела на него невинными глазами и лишь синева под ними говорила о бурно проведенном времени.

— Был у тебя Василий?

— Ну, зашел, я и не ждала. Но у нас с ним ничего не было. Просто посидели, попили чай.

Злоба душила Андрея. — «Это с Васькой пили чай? По которому сохла в течение многих лет и он соблаговолил выделить тебя? А как же моя нежность и ласка?» Последним толчком оказалась обида, обыкновенная, человеческая.

Молчала Альбина, бледнела припертая к стенке фактами.

— Просил же тебя... определись. Понимаю... он моложе. Но зачем же лгать, выкручиваться?

Молчала и лишь изредка сквозь слезы:

— Не знаю, не знаю. — Насквозь лживая и непредсказуемая.

Стучало в висках у Андрея, ошалело билось сердце, едва справляясь с неожиданной нагрузкой... задыхался, но сдерживался. Понимал, что рвется последняя нить, связывающая с жизнью, ради чего стоило продолжать бесцельное существование. Знал, что никогда уже не разлюбит эту лживую женщину, заплаканную, все отрицающую. Но и делить ее с кем-то — сверх сил. И вместе с гневом поднималась волна жалости и нежности к ней — такой непостоянной, не способной устоять перед мужским напором, инстинктивно жаждущей его и в то же время мечтающей о нежности и ласке.

Чувствовал себя Андрей «третьим-лишним» мимоходом, неожиданно сброшенным с дороги лицом в зловонную яму, после которой долго не отмыться.

И накипала, накипала ненависть к Ваське-лакею, который пользуется женской слабостью, жирует на ней безнаказанно, раздуваясь, как клоп, напившийся человеческой крови. И никто не раздавит, не уничтожит его?

Не было сил у Андрея ходить на работу, встречать в вестибюле томящегося от безделья шофера, здороваться с ним, как со всеми, делать вид, что

тебе ничего не известно. Крепко затосковал Андрей. И раньше приходилось встречаться с подлостью, изменой — был тогда моложе и все воспринималось спокойнее. Но сейчас... Удар был ниже пояса и такой силы, что сдержать его, устоять на жизненном ринге мог не каждый.

Андрей не смог. Ежедневно прибегал к испытанному средству — выпивке во все возрастающих дозах. Стал опаздывать на работу, материал готовил «лишь бы с рук», мимо машбюро проходил ускоренным шагом, втягивая голову в плечи... быстрей, быстрей в забегаловку, к собутыльникам, принять живительную влагу и чуть-чуть ослабить давящую тяжесть, неимоверный груз, раздирающий на части голову и сердце. И в пьяном угаре вспоминалась Альбина, но как-то расплывчато, неясным видением, исчезающим к концу работы питейного заведения.

Домой идти не хотелось. Летом засыпал на скамейке или прямо на газоне. Опустился, перестал бриться и следить за собой. На работе появлялся изредка — его уволили, а документы и расчет переслали по почте жене.

Домашние успешно торговали, получая приличную прибыль. Редкие походы Андрея домой встречались недоброжелательно: на отца и мужа махнули рукой.

«Неисправимый пьяница. Никакой от него пользы, даже товар разгрузить не поможет». У дочерей появились крепенькие, как боровички, «братки», крышующие киоск и помогающие развеять тоску. Даже стареющая жена нашла дядю Пашу, то ли владельца соседнего киоска, то ли нескольких торговых точек, во всяком случае, уважаемого в том, непонятном Андрею, мире. Затем последовала продажа старой квартиры и покупка новой. Выбросили Андрея, как вышвыривают на помойку ненужную вещь, бесполезную, засоряющую жилплощадь.

Не заметил Андрей этих перемен в ежедневном хмельном угаре, не заметил плавного перехода из обыденной жизни к жизни на дне: без определенного места жительства.

* * *

Ближе к октябрю затянуло небо мрачными тучами, заструились дожди. Тяжело бомжам в это время: прячутся в чужих подъездах, подвалах, чердаках, осыпаемые бранью жильцов. Наблюдал, как в общественном транспорте от них шарахаются, как от чумных: рядом с ними всегда свободно. Отбросы нашего общества, своеобразный показатель смены общественных формаций. Разные причины приводят людей на дно: нежелание трудиться, пьянство, склонность к асоциальному поведению. Но среди них — вполне интеллигентные «особи» — старики, обманным путем выброшенные из собственных квартир, молодежь из вполне обеспеченных семей, увлеченная наркотиками, безразличная ко всему, кроме желания постоянно иметь под рукой дозу. За нее могли пойти на все, что угодно, вплоть до убийства. Всяких повидал Андрей в первый год своего бродяжничества. «Выпить и закусить» — вокруг этих желаний вертелось все. Собирал и сдавал стеклотару, дрался и мирился с такими же бедолагами.

Сглаживал разногласия совместный разлив «по булькам». Завязывались и распадались знакомства, кратковременные, неискренние. Зимой собирались в запущенных квартирах коллег по несчастью, мужчины и женщины, все скопом коротали дни. В иных квартирах, приватизированных и коммунальных, было отключено за неуплату тепло и электричество. Владельцы таких «берлог» — горькие пьяницы, нигде не работали, обходились тем

спиртным и съестным, что приносили «жильцы». Пили, наскоро закусывали, спали вповалку на подобиях диванов и кроватей, а то и просто на полу. При этом не разбирались, кто кому принадлежит, кто друг, чья подруга... все как в мире животных. Андрей был как все, не хуже и не лучше — свой. Но все же образование давало о себе знать. В минуты просветления хотелось узнать новости, почитать газету, вспомнить хотя бы чуть-чуть ту, бывшую, так глупо утерянную жизнь. Товарищи посматривали на него с удивлением, поговаривали... «профессор». И предложили однажды «профессору» непыльную работенку на соседней свалке, официально называвшейся «полигон бытовых отходов». Предложили и орудие труда — «стимул» — железный дрючок заостренный на конце и приваренным сбоку «носиком». Удобно извлекать из огромной кучи мусора заинтересовавшую вещь, да и отбиваться удобно от заполонивших свалку обнаглевших чаек. Не сразу научился Андрей пользоваться этим орудием труда: то выскользнет из рук, то воткнется под другим углом — не вытащишь ничего... Не успеешь — утащат чайки, особенно если это съестное.

Помнит Андрей свой первый выход на свалку в ясный, морозный день. Нужно было задобрить охрану — выставить бутылочку белой. Плодово-ягодным вином эти «аристократы свалки» брезговали. Группа, человек десять, прошла мимо будки охраны за шлагбаум и бодро зашагала по дороге вслед за самосвалами, все выше и выше поднимаясь по серпантину к месту выгрузки. Вначале собирал картон и тряпье, требующие меньшей сноровки. Весь «улов» складировался и забирался скупщиками здесь же. Оплату получал бригадир-вожак, деливший ее по своему усмотрению. На выпивку и закуску хватало. Постепенно Андрей приспособился и стал «специалистом» по цветному металлу: среди грязного ржавья мог точно определить алюминий, медь, сплавы. Вожак стал с ним считаться, выделяя большую долю в знак уважения к инженерным знаниям.

Так и выживал: свалка, сдача металла, расчет, покупка пойла и жрачки, похмелье, ночлег и так по кругу, как белка в колесе. Но все же без строгого распорядка дня, к которому привык Андрей в той прошлой жизни... Хотя торопиться, пошевеливаться нужно и здесь, иначе кто-нибудь другой перехватит самое ценное.

В трескучие морозы старались не выходить, отлеживались в «берлоге», допивая остатки вина и доедая нехитрую закуску. Если же желание выпить превозмогало, посылали кого-нибудь из женщин с пустыми бутылками в ближайший магазин. Те шли... покорные и крикливые.

Забывал Андрей о времени, потерял счет дням, неделям. Помнил лишь сезоны: лето, осень, зима, весна. В зависимости от времени года по необходимости менял одежду и обувь — все со свалки. Летом купался в реке, смывал свалочный смрад, чувствовал свежесть вымытого худощавого тела. Зимой помывки были редкими, если в приютившем жилище вода не была отключена.

Постепенно притупилась острая боль измены. Редкие мысли о прошлом навевали легкую грусть безысходности.

Прошло несколько лет. Опять пришла зима, в этот сезон особенно морозная и снежная. Зимовало несколько человек в квартире сравнительно молодой, разведенной женщины. Как всегда все вместе и во всем. Кончались припасы, и деньги были на исходе. Договорились на следующий день пораньше выйти на свалку.

Тяжело в эту ночь спал Андрей, просыпался несколько раз и вновь засыпал, к утру забылся тяжким сном.

Сон Андрея

Снилась ему уходящая вдаль грунтовая дорога и он, идущий по ней. Босые ноги, привыкшие к обуви, инстинктивно выбирают самые мягкие, пыльные участки, утопая в них по щиколотки. Он идет... ему хорошо, как давно уже не бывало, немного грустно от тишины и безлюдья. Ногам тепло и эта теплота восходящим потоком поднимается все выше и выше до самого сердца. Он не понимает и не пытается понять природу теплоты, просто счастлив и готов обнять выступающие по обочинам кусты, сливающиеся с горизонтом низкие тучи, готовые вот-вот разразиться летним теплым дождиком. Звенящее одиночество...

Оно не нарушается пением птиц, шорохом опадающих листьев. Все смешалось: пространство и время. Он просто идет и шаги все увереннее...

Руки, вначале безвольно свисавшие вдоль туловища, постепенно сгибаются в локтях и взмахивают в такт шагам убыстряющим темпом, постепенно переходящим в бег. Слегка подпружинив мышцы, подняв руки над головой, он оттолкнулся от земли и медленно стал подыматься вверх; все выше и выше в молчаливую синеву бездонного зенита. И вот он парит в воздухе, увлекаемый неведомой силой.

Плыла впереди знакомая фигура женщины. Долго и безуспешно он пытался догнать ее. Стонал и бормотал что-то невнятное во сне.

...Проснулся под утро в слезах, в холодном поту, с ощущением досады и пустоты в сердце. Оно учащенно билось, готовое вырваться из груди. Не хватало воздуха, но он продолжал лежать в темноте, хлопая мокрыми ресницами.

Решил в конце концов разобраться, что же такое приключилось с ним. Где-то там, в таинственной мгле небытия прятались ответы на вопросы, которые возникали. Иначе как ему поверить в реальность внезапно нахлынувших ощущений. Самым удивительным было то, что вспомнил Андрей решительно все: не только семью, из которой ушел, точнее его выбросили, но и то, что было с ним раньше, любовь свою последнюю в жизни... Альбину. Тоска заполнила его сердце, пронзила острой болью. Что оставалось ему теперь делать? Некому было помочь, некому посочувствовать. Понял на какое одиночество обрекла его судьба, хотя рядом были живые существа. Нестерпимо, до слез, до умопомрачения захотелось броситься к первому встречному прохожему, плакать, метаться... но не разделит никто его несчастья. Где же тот человек, который согреет, приласкает его?

С трудом придя в себя, протянул, пошарил правой рукой в поисках остатков зелья, оставшегося от вечерней попойки. Нашел... глотнул — стало чуть легче, но в висках ужасно стучало будто несколько кузнечных молотов били по раскаленному куску железа, придавая ему нужную форму. С трудом поднялся, брызнул на бородатое лицо водой. Есть не хотелось, допил из бутылки остатки. Звон в висках стал стихать. Оглядел комнату — вповалку спали, укрывшись тряпьем, работники свалки. Подошел к окну, было еще темно, и только восток окрасился в алые тона, и оконные стекла стали отсвечивать по-утреннему. Выезжал по маршрутам первый транспорт.

В эти утренние часы пришло просветление, под впечатлением сна, сжав голову руками, он мучительно продолжал размышлять... впервые за последние годы. Искал причины, из-за которых очутился на дне общества. Пытался уяснить причинность и следствие падения. Виноват, виноват только сам: не мог перенести предательство любимой женщины? Так сейчас это и не считается предательством... вон сколько их вокруг, легкомысленных и доступных любому, у кого завелись деньжата. Все стало товаром без знака качества.

А где же совесть, порядочность, честность? — то, без чего нет наслаждений от близости, то, чем отличается «человек разумный» от животного. Анализировал свою неудавшуюся жизнь, бесплодную и бесполезную. Размышлял, размышлял... стыло и болезненно сжималось сердце.

Но пора и на работу, ночлежники давно встали, допили остатки, подкрепились, оделись. В квартире стоял смрад застарелого перегара дешевого вина и сигарет. Наконец, собрались, позевывали, широко раскрывая рты с гнилыми зубами, разбирали сумки, крючки-дрючки — и пешком на свалку, благо недалеко от ночлежки.

Утренний морозик бодрил, дышалось легко и успокаивающе. Выпавший ночью снежок похрустывал под ногами... «живи — не хочу».

* * *

Свалка — это не пустая площадка заваленная мусором, как думают некоторые граждане. Там обитает огромное количество живности: вороны, белоснежные чайки, крысы. Все соперничают за право урвать лучший, более ценный, лакомый кусок. И промышляют на свалке не только бомжи и алкоголики, но и пенсионеры, чьи пособия не покрывают минимальных потребностей пожилых людей. Собирают, сортируют и сдают в находящиеся здесь же пункты приема бытовых отходов. Появляются и вполне добропорядочные, прилично одетые «дяди» с приборами в поисках золота. Андрей не помнил случая, чтобы кто-то когда-то его находил. На свалке не только работают, но и одеваются, находят вполне приличные предметы быта. Свалка таит в себе и малопривлекательные находки: части мертвых тел, мертвых новорожденных младенцев, которым не дали ни единого шанса выжить родившие их нелюди. Свалка, свалка...

Подъехали первые самосвалы, выгрузили горы разного мусора. Все приступили к обычной работе: извлечению и сортировке. Андрей необычайно ловко работал дрючком, вытаскивая разноформенные куски металла, спирали, металлическую стружку. И вдруг в металлическом ведре мелькнул холщевый мешочек, каких много попадалось в тряпье. Но этот был тяжеловат, чист и объемист.

Приподняв его рукой, Андрей чиркнул лезвием ножа, распарывая по всей длине. Десятки, если не сотни маленьких солнц рассыпались по снежному насту, причудливо заиграли, испуская яркие лучи света, привлекая внимание. Не сразу сообразил пораженный Андрей, что это — бриллианты («брилики»), баснословная стоимость которых уму непостижима.

Нагнулся, чтобы поднять и почувствовал, как на него навалилась груда тел, пытаясь схватить из снега блестки. Видя копошащихся людей, подошел заинтересованный шофер самосвала и, уже что-то поняв, стал пинками разбрасывать людей, запустил руки без перчаток глубоко в снег, чтобы ухватить как можно больше блестков. Андрей поднял голову.

«Ба, да это Васька-лакей, постаревший и не такой уже вальяжный. Видно, распустили или реорганизовали учреждение, выгнали шефа, и пришлось искать новую работу — малопрестижную, но доходную», — подумал Андрей.

— Не тронь, не твое это... людское, — бросал слова в морду шофера.

— А кто привез? — возразил Василий, пренебрежительно глядя на седого бородатого человека, в котором невозможно было узнать когда-то элегантного сослуживца. Оттолкнул:

— Убирайся, бродяга, тут дело серьезное, не вашего ума, алкашня!

Все небольшое тело Андрея налилось яростью, на которую способен сильно обманутый жизнью человек. Ярость удесятерила силы. Мелькнуло мгновенной вспышкой: «Вот причина всех моих бед!» Взмахнув железным дрючком, Андрей опустил его на голову шарящего в снегу шофера. Удар был страшный, но его смягчила шапка-ушанка. Все же часть уха была вырвана, разрезана щека... потоком хлынула кровь.

— Получай, гад!

— Убивают, братцы, помогите! — заорал Васька.

Бежали с монтировками в руках водители машин...

Но пришло тут Андрею ощущение счастья, чувство собственной силы, ловкости и свободы. Тело уподобилось необычному инструменту, в котором звучит захватывающая мелодия схватки. Раз за разом наносил удары разъяренный Андрей и, наконец, сделал выпад острием дрючка прямо в лицо ненавистного врага, попал в глаз — вместе с кровью расползлось по месиву лица что-то студенистое, необычное. Страшно зазвучал безысходный вой. Это последний крик, как черная точка в конце ускользающей жизни.

Не чувствовал Андрей обрушивавшихся на него ударов железа, лишь слегка вскрикнул от разящих уколов в бока и спину. Рядом дрались, хрипели, стонали, вырывая друг у друга блестящие камушки, мужчины, женщины, каждый за себя и против каждого. Ползали под ударами и вновь поднимались, наступали на упавших, все глубже вминая их в снег вместе с блестками.

Странная слабость охватила Андрея. Все вокруг казалось мягким и размытым, будто проглядывало сквозь мутное стекло. Он уже не слышал свистков милицейского наряда, не видел ничего, кроме необычного света, в котором зигзагами исчезали конец и начало многих дорог его жизни. И на последнем дыхании... — «Альбина, око за око, зуб за зуб и аз воздам! Как хорошо и совсем не страшно!»

* * *

Старый ворон ждал... Подъезжали крытые, невиданные раньше на свалке, машины, забирали шевелящиеся и застывшие тела. Окровавленные, растрепанные разбрелись те, кто мог самостоятельно двигаться.

Опустела свалка, и тогда ворон осторожно стал клевать красные бусинки-капли, окаменевшие на морозе. Иные были очень твердые, требовалось усилие, чтобы их проглотить. Опустевший зоб расширялся, заполнялся, чтобы через некоторое время, пролетая над городом, послать людям прощальный привет в виде струи жидкого помета с драгоценными камешками.





АЛЕКСАНДР ХИТРОВ

Я о цветах забыл

* * *

Каждый день у темной полыньи,
В двух шагах от старого причала,
Пара лебедей среди зимы
Граждан любопытных собирала.

И топтался суетный народ
Вдоль границы берега и льдины,
Словно у подножия высот,
Недоступных, верных — лебединых.

Маме

Ты невозможное смогла,
Пройдя свои пути земные.
Но никогда их не кляла,
Как это делают иные.

И разве в том твоя вина,
Что счастье нам не всем досталось.
Стучится в окна ночь без сна,
Уже глубокая, как старость...

Незабудки

Оставив нам одни воспоминанья,
Умчалось лето. Хмуро в небесах.
Но все же я успел с ним на прощанье
Цветы посеять первые в Харсах.

Нагрянул холод. Сонм метелей жуткий
В деревне «засугробил» все пути.
Я о цветах забыл. Но незабудки
Весною не забыли расцвести...



ВЛАДИМИР ЛИПСКИЙ

Солнце над головой

Повесть в письмах

Год первый

Поклонись любви

Мой светлый солнечный внук!

Тебе всего несколько часов от рождения, я тебя еще не видел, но знай, ты желанный и богатый. Хочу, мой любимый наследник, чтобы ты сразу понял и оценил свое богатство. У тебя большой род Липских, и ты в нем — самый зеленый листок. Июльский. Летний. Ты агукнул в хорошее время: все тянется к солнцу, обласкано его теплом, живой росой, песнями голосистых птиц.

У тебя, внук, любящие родители — Марина и Леня. У тебя мудрая и красивая сестра Маша. Ты богат дедом, который пишет тебе это послание, двумя чудесными бабушками, которые готовы пестовать тебя и нянчить. У тебя есть дяди, двоюродные братья, сестры. А твой род — Липских — известен был уже в XVIII веке в семнадцати коленах. И знай, дружок, в нем не было негодяев, предателей, убийц, горьких пьяниц, воров, бездельников, обманщиков, многоженцев. И в этой чистоте богатство!

Им ты должен не только пользоваться, но обязан обогатить наш род, внести свой жизненный каравай, весомый и привлекательный. Ты должен вырастить на могучем древе Липских свою, заметную ветвь.

Пока же ты лишь листок, зеленый и чистенький. Но мы все уже любим тебя, готовы согревать тебя своим душевным теплом.

Мама кормит тебя своим молочком. А впереди у тебя молоко магазинное, а солнечное сегодня небо может нахмуриться, а с моря может подуть ветер, а из-за угла вдруг выскочит бешеная собака...

Мальчик мой! Как же мне хочется, чтобы ты вырос сильным и мужественным, добрым и чутким, щедрым и улыбчивым, ласковым и бодрым, понятливым и умным. Всему этому учись с детства, пока вокруг тебя много добрых людей.

Кровинка моя! Взгляни на мир ясными глазами, пойми его и выбери свой путь. Но никогда-никогда не забывай, мой любимый, землю, на которой ты вдохнул воздух. Она называется Беларусь. Полюби ее до слез. И тогда ты станешь человеком на этой земле, и только тогда увидишь и почувствуешь красоту всего мироздания. Впусти в душу, мой родной, напевный и древний язык белорусов и ты почувствуешь, как душа твоя наполнится животворным нектаром, и ты поймешь, дойдет до тебя, не может не дойти, что за родной язык, за нашу землю, за историческое сокровище народа, в которое входит и род Липских, надо сражаться.

А пока что, дружок, отдыхай, наливайся маминым молочком. Пусть праздничным и радостным будет твой жизненный путь. Пусть во всем каждый день

помогает тебе ангел-хранитель. Пусть помогает тебе сам Бог. Знай главное: Он хотел твоего появления в мире. Будь способен отблагодарить Его за это!

Твой дедушка Володя.

2.07.2005 г.

Мой дружок!

Сегодня я впервые увидел тебя. Ты лежал на широкой родительской постели. От того, что ты — крошка, диван казался бескрайним лугом. На нем — ты, сонный, нежный колосок. Лежал на спинке, пальчики сжаты в кулачки. Черные волосики на голове. Щечки, как у хомячка. И пухлые, сосунковые губки. Ноги разбросаны вширь. Ты отдыхал на свободе, в любящей тебя ауре, спокойный, сытый, довольный. Вот таким мужичком запомнил я тебя.

Сердце мое облилось нежностью, жалостью и тревогой. Каким ты вырастешь? Кем станешь? Впустишь ли в себя Бога? Сможешь ли бороться с дьяволом? Он со временем начнет предлагать тебе горькие сладости: табак, пиво, легкомыслие, непослушание, грубость, деньги, золото, зазнайство... Будет ждать, чтобы ты клюнул, соблазнился, поддержал его, «рыбака». Будь осторожен и предусмотрителен, мой внук!

С генами ты получил доброту и трудолюбие Липских, нашу чистую совесть, любовь к своей земле и родному языку, умение радоваться жизни и ценить каждый новый день. Пусть же все это и станет мерой твоей свободы, твоего характера, твоего роста и возмужания.

Оцени, внучек, ту беспредельную любовь, которой ты спеленут с первых дней своего жизненного денечка. Знай, далеко не всем детям выпадает такое наследие. Среди рожденных есть сироты, подкидыши, брошенные, оставленные, проданные, искалеченные, убитые. Когда научишься читать, а главное, когда начнешь задумываться о жизни, возьми в руки мою книжку «Родители и дети» и неспешно впусти ее в свою душу. И тогда ты поймешь мою сегодняшнюю радость-тревогу за тебя.

Ты лежишь на родительской постели. Спишь. Отдыхаешь. Мы все с умилением смотрим на тебя, укрываем тебя любовью и надеждой. Набирайся сил, мальчик. У тебя впереди целая жизнь. Своя. Неповторимая. Загадочная. Пусть же она станет содержательной книгой, востребованной людьми, которая перейдет в память новых поколений белорусов.

Скажешь, дед поставил высокую планку для тебя. А без нее ничего, дружок, не добьешься в жизни. Пусть эта высокая цель светит тебе.

Твой дед.

10.07.2005 г.

Ура! Ура!
Наш пупсик получил имя!

Запомни, дружок, под номером 1967 тебе выписано свидетельство о рождении. Наверно, именно столько было новорожденных во Фрунзенском районе г. Минска на 2 августа 2005 года. Именно в этот день, через месяц после твоего рождения, ты засвидетельствован в документах как гражданин Беларуси — Липский Анатолий Леонидович. С чем тебя и поздравляю сердечно.

Мой внучек, ты получил человеческое имя. Теперь надо оправдать его перед родителями, перед людьми, перед самим собой. Имя должно прикипеть к тебе, прирасти, чтобы ты и твое имя стали монолитом.

Анатоль! Академик Николай Васильевич Бирила отыскал в Беларуси более тридцати вариантов твоего имени: Толик, Натоль, Толич, Толян, Толяка, Толястик, Толяшта, Толяй и т. д.

Как же будут называть тебя? Какому имени будешь больше соответствовать своим характером, работой, своим положением в жизни? Пока загадок больше, нежели отгадок.

Листаю православный календарь, раскрываю сборники народных примет. Что узнаю?

Ты родился 2 июля, и по церковному именослову тебя могли назвать Зосимом. Именно в этот день церковь восславляет имя такого святого. Но в среде современных мальчиков я не слышал имени Зосим. Оно теперь не в моде, хотя в переводе с греческого означает — жизненный.

Тебя родители и сестра Маша назвали Анатолием. Имя твое пришло из древней Греции. И означает — восточный, восходящий. Ты взошел на восходе!

Твое имя имели три святых Анатолия: святитель, мученик, преподобный. Патриарха Константинопольского Анатолия церковь восславляет 3 июля. Это по дню месяца почти совпадает с твоим появлением на свет. Так что имя твое далеко не случайное. Пронеси его по жизни в чистоте и святости.

А еще помни, внук, ты родился в ту пору, когда цветут липы, когда пчелы начинают заливать соты воском, запасаются липовым медом на зиму. Пчелы, Божие угодницы, готовят воск на церковные свечи. Это единственные природные создания, которым поручено такое дело. И стараются они выполнить его в июле. Белорусское название твоего месяца происходит от названия дерева — липа. И фамилия твоя от липы — Липский. Сколько приятных знаков, символов заложено в твоем, Анатоль, имени, в дне твоего рождения! Оправдай наши надежды, внук!

Твой дед.

2.08.2005 г.

Родной Толянчик!

Твое первое гостевание у деда с бабой совпало с нашим праздником. Мы дожили до сапфировой свадьбы — сорок пять лет совместной жизни. Порадуйся, потому что если бы не наш семейный союз, не было бы твоей мамы Марины, не было бы и тебя. Мы ваши жизненные соки, корни родового древа. А вы, внуки, — Антон, Маша и ты, Толик — на верхушке современного нашего древа жизни.

Свою сапфировую свадьбу мы отметили на даче, в нашем загородном желто-зеленом домике. Работали на земле, тешились наливными яблоками, гроздьями слив на согнувшихся ветвях, дарами китайского лимонника, зелеными газонами, кустами смородины, высоким малинником. Какая красота!

И вдруг возле нашего домика остановилась желтая машина. И вы все — Липские — Леня, Марина, Маша и ты, пупсик, заявились на нашу дачу. Пришли с шампанским и букетом городских цветов. Вот и начался праздник!

Я уже давно не «питок», но бабахнул шампанским прямо здесь же, на огороде. А ты полеживал в своей походной сумке-люльке и широко открытыми глазами открывал для себя новый пейзаж. Боже, ты впервые в жизни видел живые деревья, ягодные кусты, цветы на грядах...

Мы с твоей бабой Ниной встретились будто случайно, но ничего случайного в жизни нет. Мы жили в разных деревнях, в разных семьях, но самое важное — в одно время. Оно, время, и свело нас в минском техникуме. У нее была длинная коса, она была в ситцевой юбочке, с открытой улыбкой и нецелованными губами...

Если и на тебя когда-нибудь нахлынет такое чувство, знай, что ты встретил свою суженую.

Конечно, медовым бывает только первый месяц после женитьбы. А потом подступают хлопоты, ответственность, радости-заботы, ревность, ссоры, в голосе металл, в глазах холод, в кошельке ветер, в друзьях неверность, у родных — непонимание. Все это надо уметь видеть, чувствовать, преодолевать. Тогда терпеливым Бог даст силы, влюбленным сохранит чувства, верным семье и венчальным клятвам подарит детей.

Дорогой внучек, ты сегодня увидел наше «поместье». Наведывайся сюда почаще. А когда вырастешь, построй себе дом сам. На свой вкус и настроение. За свои деньги. Посади деревья, кусты. И дождись на сапфировую, а может, на золотую или брильянтовую свадьбу своих внуков. Да не забудь напомнить им про деда Володю и бабу Нину, которые в молодости и зрелости без устали качали колыбель нашего рода.

Твой дед.

24.09.2005 г.

А твоей сестричке, Анатолий, сегодня одиннадцать лет. Тебе, напомню, три месяца и два дня.

О, Маша уже многое знает!

Она азартно штурмует школьные учебники.

Она героически ходит в музыкальную школу.

Она овладевает ритмикой современных танцев.

Она учится петь в ансамбле «Радимичи».

Она побывала в Польше, Болгарии, на Черном море, в Автюках, Шелковичах, Добуже.

Она умеет пользоваться компьютером, мобильником, ездить на велосипеде. Управляла отцовским авто. Сложила стихотворение «Котик» (опубликовано в «Вясёлке»). Умеет рисовать, плавать, дружить, гулять. Любит себя, детей, собак, кошек, хомяков, черепах...

Машины недостатки: плохо ест, часто теряет аппетит, боится пауков, мух, комаров («Дедушка, прогони, не усну»); не решается ездить в лифте (однажды с мамой застряли в нем); любит перетрясти дедов письменный стол, бабушкины шкафы...

Мама Марина назвала Машу лучшей дочерью в мире.

Расти и становись тоже лучшим в мире. А пока что Маша забавляет тебя, хочет, чтобы ты подарил ей на именины свою солнечную улыбку.

О, щечки твои пухлые расплываются, в глаза вскочили искристые лучики, и ты показываешь Маше и всем нам свой беззубый ротик. Спасибо за подарок!

Маше доверяют подержать тебя. И она с гордостью берет тебя на руки. Рядом стояла счастливая мама. Она вас хотела, ждала, выносила, родила. Вы ее кровь и плоть, ее любовь и жизнь. Разве можете вы, дети, обижать маму, не слушать, не уважать ее?

Поднимайся, Толян, на ноги да начинай разбираться что к чему.

А пока поспи еще немного, потому что твоя юная нянька не может больше забавляться с тобой. Она идет с друзьями в детское кафе.

Твой дед.

04.10.2005 г.

Дорогой Толяйчик!

Празднуем именины твоей мамы. Ей тридцать три года. Трехмесячной она была очень похожа на тебя сегодняшнего. Поглядывала вокруг небесными глазками, под настроение пела, без настроения — плакала. Понятно, девочка, училась кокетничать, «ломать губки».

Когда исполнилось три года, отдали ее в «люди». Ходила в детский садик, постигала там азы мудрости, хитрости, дружбы. Это же ждет тебя, Толик, готовься жить в союзе со сверстниками и людьми разных возрастов.

А в тринадцать лет для каждого человека неизбежно наступает трудное время. Почему трудное? А потому что заканчивается беззаботная пора детства и наступает ранняя юность. Ты уже как бы не ребенок, но еще и не юноша. Заметными становятся грубость, непослушание, нервозность. Хочется быть взрослым и самостоятельным, но не всегда это получается. И назревает революционная ситуация, когда низы уже не могут терпеть, а верхи не могут управлять.

Однажды, признаюсь тебе, мама твоя очень разозлила меня. В чем-то обманула, может быть, не призналась, что получила двойку или прогуляла уроки. Я очень обиделся на нее. Хотел перетянуть ремнем, но торопился утром на работу, она — в школу. Пообещал: «Вечером накажу».

За день злость моя улеглась, уснула. Мне уже не хотелось наказывать дочь. Но ведь я пообещал. Да и было за что. Ох, Толик, как же я мучался, переживал, как не хотел возвращаться домой, как боялся встречи с Мариной.

Я все-таки исполнил обещание. А потом мы, обнявшись, сидели на диване и вместе плакали. Так что лучше слушать друг друга, нежели конфликтовать, лучше приносить друг другу радость, нежели печаль.

Пусть же, дружок, на всех виражах твоей жизни будет согласие, любовь с родителями, сестрой, родными и всеми людьми вокруг. Как ты будешь относиться к людям, так и они к тебе.

Твой дед.

27.10.2005 г.

Анатоль!

Ты родился в Минске. Ты — минчанин! Столичный парень! И мама твоя Марина, и папа Леня, и сестра Маша — все минчане. Становится моложе и красивее город, в котором вы живете. Его знает весь мир.

А моя родина умирает.

Деревня Шелковичи, если будешь когда-нибудь искать ее, находится в 89 километрах от Гомеля¸ в 39 километрах от Речицы. Если ехать из Минска, то за Бобруйском, Паричами, Светлогорском, Боровиками повернешь налево. И среди леса, болот, лугов найдешь холм, на котором когда-то жили шелковцы.

В 1930 году здесь было 38 дворов и 208 жителей. Но скоро пришла война. Деревню сожгли фашисты. Десять жителей убили, 25 погибли на фронтах.

Теперь в Шелковичах стоит несколько хат, в которых летом роятся дачники, дикие и свойские. Дикие — это пришельцы, которые мало знают о нас. А свойские — это городские дети и внуки умерших шелковцев, наезжающих в родные хатки, когда защемит сердце от воспоминаний.

Посреди деревни увидишь толстый, коржаковатый, в два обхвата дуб-богатырь. Вот он и есть свидетель всех Липских, которые жили в Шелковичах с XVIII столетия. Многие из них здесь прожили весь свой век и теперь лежат на деревенском кладбище. Там можешь найти земляные холмики и кресты моим родителям — Марии Адамовне и Степану Ивановичу. Это твои прабабушка и прадед. Там же могилки моей сестры Лиды, братьев Пети и Коли, племянника Шурика, теток Анеты, Кати, Раисы, Марыли, Жени, дядек Николая, Ивана, прадеда Янки, прабабушки Прокседы...

Мне хочется, Толик, проложить к нашему семейному дубу асфальтированную ленту-тропинку. По обе ее стороны посадить деревья в память всех шелковских родов — Липских, Трацевских, Милютов, Бабичей, Корзунов, Марковых, Новиковых, Павловичев, Кулаченков... У этих именных деревцев

видятся мне лавочки, беседка, цветы, травка. А при входе на аллею памяти хочу положить камень-валун и написать на нем имена всех шелковцев.

В энциклопедии «Города и деревни Беларуси» есть небольшая статья о наших Шелковичах. В ней сказано: «Шелковичи — родина белорусского писателя В. С. Липского». Я восславил, как мог, своих земляков в книгах: «Я. Правдивый рассказ о моей и твоей родословной», «Лавреновы трудодни», «Отпевание живых», «Мама. Молитва сына», «Отец. Письма на небо», «Шелковичи», «Мы. Повесть о наших фамилиях». Теперь хочу увековечить Шелковичи и шелковцев в скромном простом мемориале.

Поддержи меня, Анатолий Леонидович, когда вырастешь. Не дай погаснуть памяти о моей малой родине, о моих земляках. Шелковичи тоже и твои корни. А дерево без корней — столб, бревно, полено, жердь. Тебе дана Богом целая жизнь, чтобы подпитывать, живить корни молодой энергией. Не уставай делать это во все дни земного рая. Будь памятливым, заботливым наследником!

Твой дед

25.12.2005 г.

Золотой мой внук!

Сегодня день рождения Сына Божьего — Иисуса. Великий праздник христиан всего мира. Знаковый день.

Хочется исповедаться.

Так знай, мой мальчик, о чем просило мое сердце в день Рождества Христова.

Простите, отец и мать, что редко целую ваш крест на шелковическом кладбище, но мои книги о вас есть по всей Беларуси. Ваши портреты висят в моем кабинете, и я каждый день молюсь перед вами.

Прости, жена Нина, что до седых волос не стал домоседом, не всегда кручусь на кухне под рукой, но у нас есть райская квартира в центре Минска, желто-зеленый домик на Лысой горе. У нас есть чуткие дети, внуки, зять и невестка. Нас они уважают. У нас много друзей. А в домашней библиотеке — сорок моих авторских книжек, в которых живешь и ты, моя женушка.

Прости, сын Игорь, что не научил тебя быть воинственным, карьерным, жадным к деньгам, кто же знал, что на всех нас обрушится волчий капитализм. Но ты вырос и идешь по жизни скромным, добрым, терпеливым и честным. Ты подарил нам невестку Таню и внука Антона. Умеешь жить на свои деньги, без крика, плача, аморальщины. Ты стал опытным архитектором, оригинальным художником, надежным сыном, верным мужем, любящим отцом, разборчивым другом.

Прости, дочь Марина, что однажды в детстве отшлепал тебя, что ни разу не побывал в твоем институте, не принял участия в твоей служебной карьере. Меня утешает, что ты пробиваешься по жизни своей тропинкой, может, в этом есть и кое-какой отцовский пример. Моя сердечная благодарность, что ты нашла, полюбила и обогатила род Липских мужем Леней, за то, что ты, мужественная и добрая, подарила нам чудесных деток — Машу и Толика. Ты стала Мамой. Я пишу это слово с большой буквы, и верю, что ты заслужишь от своих детей такой же нежности, с какой я написал книгу о своей матери.

Простите, братья Петя и Коля, сестра Лида, Клава, Люба, что редко встречался с вами, мало интересовался вашей жизнью, мало помогал вам. Вы в моем сердце сегодня и всегда, сколько мне отпущено жить.

Простите, друзья, что не достает времени для вас.

Простите облака и зори, что не так часто вглядываюсь в вас, потому что хочется глубже заглянуть в корни своей родословной, в историю Беларуси.

Простите, читатели, что не ко всем пришел, доехал, куда меня звали, потому что на моем писательском столе лежит много чистой бумаги, а в голове — рой мыслей, замыслов, творческих планов.

Прости, Боже, что не хожу в церковь, что не всегда живу по Твоим заповедям. Иду я по жизни с чистой совестью. Перед Ним, перед людьми мне не стыдно.

А в душе буйствует весна, в жилах кипит молодая кровь. Пусть будет так сегодня, завтра и во все дни моей земной жизни.

Аминь!

7.01.2006 г.

Милый Толик!

Порадовал ты меня. Поверишь-нет, но играли мы с тобой в прятки. Тебе семь месяцев, мне — ого, сколько.

Ты лежал на кровати попой вверх. Держался на локотках, осматривался. Ясно: открываешь для себя и узоры обоев, и плафоны люстры, и картины на стене, и шкаф с книгами. А я любуюсь тобой. Личико у тебя серьезное. Глаза любознательные, широко открытые. Волосы на головке редкие, с пролысинкой. Маленький мудрец!

Я прилег с другой стороны кровати. Отгородился от тебя пеленкой-перегородкой. Высовываю из-за нее голову и говорю: «Ку-ку». Ты уловил игру и улыбнулся. Я с правой стороны высунулся, а ты меня там уже как бы ждал, широко раскрыл ротик и что-то кугикнул. Я с левой стороны показываюсь, а ты уже туда глядишь. На мое «ку-ку» отзываешься смехом. От радости задрыгал ножками.

Вот так мы играли в прятки.

А через час я был уже в школе, на выступлении. И ты, Толик, со своей искренней радостью помог мне увидеть иные прятки. Школьники прячут от учителей свое настоящее знание жизни и высказывают только то, книжное, за которое ставят оценки. Учителя прячут от детей свои семейные отношения, которые, хотят они того или нет, влияют на их настроение в классе. Взрослые порой маскируют свои недостатки под достоинства, которых у них нет, которые они приватизируют, злоупотребляя служебным положением. Дети с родителями играют в прятки, за которыми, случается распущенность, обман, показное уважение. Начальник заигрывает со своими сотрудниками, прячет от них свои действительные намерения, а порой и деньги...

Ох, Толик, заморочил я тебе голову какими-то проблемами. Вырастешь — сам разберешься что к чему. А пока оставайся, соколик, Божьим посланником среди нас. И пускай твои глазки никогда не туманятся печалью. И пускай твоя открытая улыбка будет приятной и нам, и всем, кто вокруг тебя.

Не прячься никогда от трудностей, не прячься в ложь. Готовь себя к высокому суду Совести и Справедливости. От них никому не увильнуть, ни живому, ни мертвому.

Твой добродей — дед без лаптей.

24.02.2006 г.

Мой незабываемый внук!

Незабываемый потому, что не уходишь из памяти. О тебе невозможно забыть. Невозможно не вспоминать твои цепкие ручки, твои полные, розовые ножки. Особенно незабываемые — глаза.

Иной раз я побаиваюсь твоих глаз. Ты так внимательно глядишь на меня, словно пронизываешь насквозь, словно фотографируешь или заносишь меня в свой компьютер.

Я насмотрелся разных глаз: добрых, открытых, сытых, хитрых, скрытных, обманчивых, слепых, косых, наглых. Знаю, что глазами можно ласкать, светить, стрелять, сечь, радовать, читать, искать... Глаза могут полезть на лоб. Из них порой сыпятся искры. В глаза можно резать правду-матку. Случается, что глаза некуда деть, некуда спрятать.

А есть глаза чистые, незамутненные, искристые. Такие у тебя. Как же нравятся они мне! Хочется смотреть в них, как в зеркало. Пытаюсь разгадать, что и как видят твои глаза. Знай, дружок, мне и много лет, и мало. Мне все кажется, что возраст паспортный и природный не всегда совпадают. В противном случае, почему мне, убеленному сединами, хочется быть мальчиком, хочется с тобой дружить, играть с твоими игрушками, хочется чаще видеть тебя? Но мне не хватает двадцати четырех часов в сутках. Жаждет душа всего: работы, творчества, друзей, чувств. И приехать к тебе в Сухарево остается лишь мечтой.

Твой дед-бородед.

28.02.2006 г.

Наш щебетун!

Мама сообщила радость: ты лежал на животике и вдруг приподнялся на корточки и закричал голосом Тарзана. Поздравляю тебя с новой победой. Поднимайся, братец, с колен. Неприлично спокойно полеживать. Тебя ждет загадочный, цунамный двадцать первый век.

А то, что кричишь Тарзаном, хорошая примета. Тарзан — герой многих фильмов — решительный и сильный парень, который жил среди дикой природы и дружил с лесными зверями. Они его уважали и побаивались, потому что он бегал по джунглям и прыгал по деревьям лучше самого ловкого лесного жителя. А крик у него был страшный, призывный. При этом у него была добрая, справедливая душа. Человеческая! Поэтому его все любили.

Толик, любимый! Подымайся скорее на ноги. Заступись за нас всех. Отгони от дедушки с бабушкой старость. Дай дожить твоим родителям до золотой свадьбы. Защити сестричку Машу, талантливую девочку, чтобы осуществились все ее мечты, чтоб никто не обижал ее, чтоб она никогда не болела.

Одним словом, хватит, Толян, спать и полеживать. Хочется разбудить тебя призывом нашего пророческого поэта Янки Купалы:

Дык прасніся хутчэй,
Беларускі мужык!
Глянь! Усталі ўсе,
Як свет Божы вялік!

Это стихотворение «Што ты спіш?» поэт написал ровно сто лет назад. Правдиво оно и сегодня: и для тебя, и для меня. Хочу, чтобы ты поскорее понял тревогу Янки Купалы. А когда уверенно станешь на ноги, голосом Тарзана прокричи на весь свет:

Глянь! Усходзіць ужо
Зорка праўды святой
І няволю-бяду
Сваёй зніме рукой!

Вот такое серьезное письмо получилось в ответ на радостную весть о твоем очередном человеческом подвиге.

Твой дед-подстрекатель.

02.03.2006 г.

Здорово, Толик!

Сегодня тебе десять месяцев.

И надо же как совпало: сегодня Радоница. Еще говорят — Радуница, Проводной день. Все белорусы поминают умерших. Есть старая присказка: «На Радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером пляшут». До обеда работали в поле, по хозяйству. Потом все шли на кладбище. Убирали могилки, расстилали рядом с ними скатерть, доставали питье, закуску, да и вспоминали добрым словом родных и близких, которые ушли в вечность. А после чарки люди могли и песню затянуть, которую когда-то любили дорогие им люди.

Я, Толик, сегодня не был на кладбище, но душа моя весь день плакала. Нет со мной мамы Марии и отца Степана, сестры Лиды, братьев Петра и Коли, племянников Сашки и Шуры, дядек, теток. Вспомнились шелковические мужчины Роман Марков, Иван Новиков, Микола Пылинский и другие, с которыми косил траву возле речки Столпинки. В вечной памяти мой учитель Михаил Рудишкин и доктор Людмила Перепеча. Не могу поверить, что уже лежат в земле мои друзья-писатели Иван Шамякин, Иван Чигринов, Анатоль Гречаников, Александр Капустин, Павел Ковалев, Василь Витка...

Насчитал сто тридцать четыре человека, которых мне хотелось бы вспомнить на Радуницу. Каждый из них — своя повесть о жизни. Они жили праведно и оставили на Земле свои чистые имена.

Толик, дорогой! Ты только-только пришел на нашу чудесную земельку. Ты обязательно научишься ходить, говорить, думать. Чтобы ты ни делал, по каким бы дорогам ни ходил, никогда не забывай, родной, тех, кто был до тебя. Они прокладывали тебе путь. Они любили жизнь и славили, как могли, наш край. Возьми от них самое лучшее и тогда (только тогда!) ты сделаешь шаг вперед. Твоя походка по жизни станет приметной. И ты поймешь, для чего послан на нашу Землю.

Твой дед.

02.05.2006 г.

Дорогой Толик!

Открываю дверь, а ты ползешь по коридорчику. Замер, поглядываешь на меня удивленно: «Кто ты? Чего пришел?» А я, Толик, в свою квартиру пришел. Ты — мой гость. Смутился. Губки покривил, хочешь заплакать. Но передумал, стал разглядывать сивого деда. Доверился. Даже пошел ко мне на руки. Наверно, почувствовал, что не обижу.

А сегодня как раз Международный день защиты детей. Первый день лета. Тебе завтра одиннадцать месяцев. От чего и от кого нужно защищать таких как ты?

Если заглянуть в глубь проблемы, станет страшно. Детей нужно защищать от вирусов, болезней, что так легко пристают к малым. Нужно защищать от чернобыльской заразы, что невидимым бесом подкашивает здоровье. Нужно защищать от алкоголя, табака, наркотиков, СПИДа. От соблазна жить легкодумно. От распущенности, злодейства, черствости, равнодушия, злобы, эгоизма. А если такими качествами отмечены взрослые — защищать и от них. Встречаются родители, которые даже отрекаются от своих детей. Я много лет возглавляю Белорусский детский фонд, вхожу в состав Национальной комис-

сии по правам ребенка. Твой дед защитник обиженных детей. Хочу быть и твоим защитником. Мое оружие — любовь. Хочу и тебя вооружить этим самым боевым, проверенным и надежным оружием.

Зайдем, Толик, в мой кабинет. О, видишь, Мишка лохматый сидит на батарее. На лампочке подвешен колокольчик. Возле книжек сидит веселая обезьянка. Шкаф сторожит зайчик-ушастик. А вот этого чудака, полосатого, тронь за левую ручку — и он пропоет тебе чудесную мелодию...

Ты, мой дружок, уже перестал плакать, доверился мне, цапнул теплой ладошкой меня по носу. Вот и порадовались друг другу. Как же иначе? Мы же близкие люди. Мы — Липские! Давай жить в согласии и сегодня — в День защиты детей, и завтра, в будний день, и во все дни Божьего рая на Земле. Как же иначе?

Твой добродей.

01.06.2006 г.

Послушай, Толик!

Был на даче. Топил печь. Долго наблюдал за огнем. И думал о тебе, дружок.

Не сразу огонь в печи вошел в силу. Робкими желтоватыми язычками он лизал поленья. Они ему были «не по зубам». Искал легкой поживы — бумажки, стружки, тонких досточек. Язычки огня метались в печи в разные стороны. Кучерявился над ними сизый дым, словно хотел погасить их. Но его тянуло в дымоход, в небо, к облакам.

Я беспокоился за огонь. Беспокоюсь и за тебя, Толик. Твой жизненный огонек пока что «облизывает» все вокруг. Тебе хочется трогать руками и ножку стула, и дверцу шкафа, и кнопки телевизионного пульта. Хочется стучать ложкой по тарелке, разглядывать зеркало, вцепиться в полотенце, еще не зная, для чего оно висит в ванной...

Огонь в печи набирает силу. В языках пламени чувствуется энергия, они уже смелее обнимают поленья, вот-вот овладеют ими. И мне, печнику, веселей. Огонь не погаснет. Будет тепло.

Размышляю: а что дает силу огню?

Огонь будто играет с поленьями, горячо обнимает их. Мне показалось — в печи разгорается любовь, от которой и тепло, и уголь, и пепел.

Видишь, Толик, как часто я вспоминаю про любовь. И недаром! Она везде. Без нее нет жизни ни у человека, ни у птицы, ни у травинки-былинки. Все размножается только любовью. Все живет только благодаря любви, ее энергии и огню.

В печи — пламя огня. Поленья потрескивают от удовольствия, краснеют, вулканом выбрасывают жар, который таился в них. Если бы не огонь, они могли бы просто сгнить, истлеть и не порадовали бы человека.

Бьется огонь в печи.

Бьются мысли в моей голове.

Становится тепло и уютно в доме.

Печь, моя душа, весь дом наполнен наслаждением жизни, чувством любви. Боже, пусть будет так всегда и мне, и моему внуку, и всем людям!

03.06.2006 г.

Мой незабываемый дачник!

Твои ножки топают по бетонной дорожке, которую я залил от дома до кухни. Мама поддерживает тебя за руки. Они — над твоей головой, как крылья. Ты идешь! Первые шаги! Боже, какая светлая радость кружит мою голову!

Ты открывал на даче чудеса. Увидел огонь: что это такое, желтенькое и теплое, прыгает? Приметил муху на окне, насторожился: что эта жужжалка с крылышками хочет? Спал ты на даче как пшеницу продавши. И аппетит был богатырский. Ты схватил в руки кусок хлеба. Потянул в рот, сделал хороший кус и стал жевать, как оголодавший косарь, пахарь, дровосек. Веселый ты был и смешной.

Утром мы ходили на рыбалку. А озеро через дорогу. Как же ты смеялся, когда пойманные караси плясали перед тобой. Что происходило в те минуты в твоей головке?

Мы играли с тобой в прятки, дразнилки. Нюхали цветы. Мне хотелось дотянуться до твоей чудесной высоты. Мне хотелось, дружок, видеть все вокруг твоими глазами. Так спасибо тебе за щедрость!

Остаюсь твоим верным другом.

17.06.2006 г.

Дорогой Толюн!

Видел, как отец посадил тебя в машину на свое шоферское место. Ты уцепился ручками за руль, крутнул его туда-сюда. Глаза твои заискрились. От радости ты приподнялся и тут же шлепнулся на сиденье. Начал рассматривать приборы, взялся за ручку передач скорости, как бы прикидывая, что следует сделать, чтобы машина завелась и поехала.

Отец показал тебе «дворники», ты ловко вцепился в рычажок правой рукой, нажал вниз и по стеклу побежали щетки. Если бы ты видел в тот момент свои глаза! В них — и испуг, и триумф победы, и счастье открытия, и удивление новизной. О Боже, вразуми меня! Кем вырастет этот ребенок?!

Чувствуется, что в тебе развивается руководитель. Вот, ты уже хочешь управлять автомобилем. Ты пробуешь управлять мамой и папой: дайте поесть, хочу спать. Подавай тебе все новые игрушки. Я взял тебя на руки, и ты стал показывать, куда нести тебя. Поднес к цветам — тянешь руку в сторону дерева. Осмотрели ветку с листьями и яблочками — подавай тебе теплицу. Хочешь увидеть домик, где цветут помидоры. Вот какой ты руководитель!

А ты же еще не знаешь, что есть профессии руководителя: президент, премьер-министр, министр, директор, председатель, начальник, управляющий, ректор, редактор... Кем же ты станешь, мой внук?

Ты — третье поколение Липских, вырвавшихся из болотных Шелковичей в большой мир. Тебе придется объяснять, что это за профессии: руководить косой, плугом, волом, конем. Как называют человека, который делает бочки, дежки, маслобойки? А кто выделывает овечьи шкуры и шьет кожухи? Тебя скорее заинтересует компьютер, интернет, космос, наука. Это теперь престижно у молодежи.

Впусти в свою душу тех далеких предков, которые по́том добывали свой хлеб, сами себя кормили и одевали. Случалось, и голодали, и ходили оборванными, но детей растили. Им, как походню, передавали свои сердца, на них надеялись. Знай их поименно и помни. Полюби их! В этом твоя сила и вера. В этом твой шаг вперед!

18.06.2006 г.

Дорогой Толик-юбиляр!

Ровно год назад ты родился. Твои жизненные часы отстучали одну полную земную меру.

Не знаю, когда ты сегодня проснулся, а я — в пять утра. Солнце только-только приняло рабочую вахту. Приветливо рассеяло по небу животворящий свет, оглядывает природные просторы. Снова дарит людям теплый летний день.

Мы с бабушкой Ниной везем тебе в подарок три крупных розы: красную, белую, сиреневую. Сами вырастили. Грядка клубники подарила тебе корзиночку сочных ягод. А главное, мы дарим тебе нашу бесконечную любовь.

Ты встретил нас с мамой и папой в прихожей. Божьим ангелом сидел ты на руках отца. От тебя невозможно отвести глаз. Ты излучаешь саму доброту.

Ты показал нам все, чему научился за год. «Играл» на пианино, пританцовывал, играл с мячом и быстро ползал по комнатам. Гудел, как автомобиль. Пересмотрел все сумки гостей.

Ко всем ты шел на руки. Каждому дарил свою солнечную улыбку. Жаль, что ты пока не умеешь говорить. Но, верю, придет время и все мы услышим твою речь. Хочу, чтобы голос твой услышала вся Беларусь. Пусть услышат его близкие и далекие страны. Та же Япония, где теперь поет с ансамблем «Радимичи» твоя сестра Маша...

Твой дедушка Володя

02.07.2006 г.

Год второй

Открой себя

Дорогой Толик!

В твоем жизненном измерении сделана первая засечка. Ты прожил год. Ты облетел по космической орбите Земли вокруг Солнца. А это 365 восходов, 365 звездных ночей.

Наш общий корабль Земля неудержимо двигается дальше, а мы, земляне, живем своими заботами. Главной заботой последних дней было твое крещение. Тебе подобрали крестных родителей — Игоря и Аллу. Твоя мама послала их в церковь на исповедь. Тебя, чистенького, должны взять на руки безгрешные люди.

Тебя крестил отец Анатоль, наш семейный приятель. Был день 16 июля, когда христиане отмечали день рождения святого Анатолия.

Вы приехали в церковь деревни Новый Двор, приход отца Анатолия. Кроме твоих родных и крестных родителей свидетелями торжества были бабушка Нина и сестра Маша.

Все шло хорошо. Ты спокойно сидел на руках у крестных. Слушал молитвы и рассматривал незнакомую комнату с иконами и свечами. Но как только раздели догола и бородатый отец Анатолий взял тебя на руки, тут ты и показал характер и голос. Ты кричал на весь белый свет. В плаче твоем не было ни злости, ни обиды. Ты как бы хотел голосом передать в Небесное и Земное царства, что ты есть, живешь и хочешь жить долго и счастливо. Не знаю, все ли услышали тебя, а я, находясь на празднике юмора в Спорове, в трехстах километрах, каждую секунду слышал твое дыхание, твое трепещущее сердечко.

Сердечно поздравляю, внук, с крещением. Теперь ты уже под полным наблюдением Бога. И пусть Он бережет тебя во все земные дни.

Твой друг.

16.07.2006 г.

Дорогой Толяйчик!

Родители повезли тебя на Нарочь. И я грущу по тебе. Весь Минск словно осиротел, опустел.

Поехал в Сухарево, в вашу квартиру, чтобы полить цветы. Открыл двери — тишина, духота. Проветрил комнаты, напоил цветы. Давит в уши тишина.

А на даче твои пустые качели. Над ними висел сук с яблоками и вдруг рухнул на землю. Я насобирал четыре корзины зеленых яблок. Сук распилил, порубил на дрова. Залепил рану мазью. «Прости, яблонька. Выживи. Сохрани под собой качели мальчика, который обязательно вернется к тебе...»

24.07.2006 г.

Мой нарочанец!

Не видел тебя около месяца и едва узнал. Ты уже пытаешься ходить. Одной ручкой ищешь поддержки у взрослых и топаешь быстро, легко и радостно. А глаза высвечивают: «Иду!.. Отползал свое!..»

Поздравляю, внук. Ты поднялся с четверенек. Больше никогда, ни перед кем не сгибай колени. Ты мужчина, ты воин, защитник. В конце концов, ты — Липский, а они никогда не гнулись, как говорил твой прадед Степан, «в три погибели».

Ты впервые на Нарочи. Знай, дружок, Нарочь — голубое сердце Беларуси. Здесь из века в век живут люди, влюбленные в свой животворящий край, в природную красоту. Здесь, в Нарочи, купаются небесные зори. Может, поэтому они так ярко горят над всей Беларусью.

Вот в каком Божьем месте ты сейчас.

Такое впечатление, что своим приездом ты обрадовал даже величавую Нарочь. Она в летней истоме¸ тихая и нежная, хоть шагай по ней, как по зеркальным полам. А ночью озеро накатывает на берег тихие волны, поет тебе свою колыбельную песню. Спи, набирайся сил на завтрашний день.

Твой нарочанский добродей — дед без лаптей.

14.08.2006 г.

Танцорик наш!

Как же повеселил ты всех!

Маша под язык выводит танцевальную мелодию. Ты оживился и начал в такт мелодии раскачиваться с боку на бок. Поднял ручки, и они «пошли в скоки». А лицо у тебя воодушевленное, серьезное.

Потом ты пополз в сторону кухни, к маме. А Маша вдогонку опять завела свое «тра-ля-ля». Ты тотчас приостановился и, стоя на четвереньках, снова начал раскачиваться.

Потеха!

Видишь, твоя душа приняла мелодию и отозвалась в танце. Поздравляю, мой музыкальный внук!

Хочу, чтобы твои уши воспринимали только хорошие мелодии. Хочу, чтобы ты научился красиво танцевать. Выламываться на дискотеках нынче всякий может. А вот танцы прежних вечерок забылись.

Меняются времена и вкусы. Но мелодии, которые обогащают душу, всегда в цене. Научись, Толик, выбирать учителей для своей души. Чаще прислушивайся к звукам и тишине матери-природы, умей оценить ее красоту.

Твой друг.

16.08.2006 г.

...Зайчик выбежал на полянку. А здесь — охотник с ружьем и собакой.

Плотвичка выплыла из тростника. А здесь — рыбацкий крючок с аппетитным червячком.

Боровику захотелось выглянуть из-под мохнатой ели. А тут — грибник с ножом и корзиной.

Капля росы заискрилась на листочке. А тут солнце встало, поцеловало каплю, и капля исчезла.

Зачем я пишу тебе это?

Хочется предостеречь тебя от всяких бед, которые на каждом шагу. Помни мою тревогу. Береженого и Бог бережет. Учись слушать Бога и своего ангела. Они всегда рядом. Они — во всем.

Твой друг.

18.08.2006 г.

Дитя человеческое!

Сегодня ты подарил нам пять самостоятельных шагов. Немного постоял, о чем-то подумал. А может, и не думал, а просто заметил на стуле игрушку.

Однако не верь, что рядом никого не было. Мама не спускала с тебя глаз. В каждую секунду она готова была броситься на помощь, но ждала до последнего мгновения. И дождалась! Ты совершил первые в жизни пять самостоятельных шагов. Поздравляю. Ты пошел!

В другой раз ты увидел себя в зеркале шкафа и пошагал навстречу самому себе. Поздороваться или познакомиться? Пошел открывать себя.

Знай, дружок, дорога к себе самая трудная и сложная. Многим не под силу. Чтобы преодолеть ее, бывает, не хватает жизни.

Помни еще одно. Как бы далеко ты не уходил от дома, от матери и отца, даже если обойдешь весь земной шар, все равно вернешься в центр земной, откуда начал свой путь. Туда, где твоя пуповина, к тем, кто позволил тебе узнать вкус жизни. Живи и помни об этом!

Твой дед-всевед.

27.08.2006 г.

О, Толян!

Давай запомним сегодняшний день.

Суббота. Ноябрь. Тепло. Туманно.

В 14.30 показывали по Первому белорусскому каналу передачу «Орбита жизни» про твоего дедушку Володю. Обо мне говорили добрые слова народная артистка Беларуси Мария Захаревич, известный художник Алексей Кузьмич, поэт Микола Малявка, мои сироты-крестники Герман Артамонов и Юрий Радьков, твоя мама Марина и дядька Игорь...

Но дело, в конце концов, не в передаче, не в том, что и кто говорил. Главное, ты, Толик, «засветился» в ней. Твою лохматую головку, твое светлое личико и удивленные глазки, твои самостоятельные шаги — все это видела Беларусь. Ты был на моей орбите жизни. А как бы хотелось знать, на какую орбиту вынесет тебя собственная жизнь. С такими мыслями заканчиваю день, принимая десятки телефонных звонков от разных людей, видевших передачу.

И еще думаю: на какую бы орбиту не поднимался человек, для отчета он обязательно спускается на землю. Не сам он, а люди оценивают его высоту и полет. История решает, какую страницу книги отдать тому или другому человеку, вспоминать о нем или вычеркнуть из памяти.

Сейчас я пишу для таких, как ты, и кто немного взрослее, книгу о поэте-гении Янке Купале. Когда он погиб, мне было два года. Сейчас я заново пропускаю через себя его жизнь, творчество. Хочется разгадать тайны его беспокойной души, секрет его мужества, его непоколебимой верности Беларуси.

Твой дружок-пирожок.

25.11.2006 г.

Вот и еще один Новый год мы отмечаем вместе с тобой.

Говоришь мало, но глазки умные, сообразительные. Можно догадаться, что нравится тебе, а что не очень.

Комната, в которой мы играем, наполнена всемирными новостями. Россия повышает цену на газ для братьев-белорусов. Умер президент Туркмении. Иракского президента повесили. В Грузии навалило снега по колено. В Америке наводнение. Вот такие пироги в мире.

А на нашем праздничном столе настоящие пироги. Тебе же нравится кашка, соки, банан. Нашпокался, даже животик из-под свитерка торчит.

Желаю, Толик, чтобы ты потратил свой жизненный ресурс только на раскрытие своих генных способностей. Пусть тебя минуют войны, катастрофы, болезни, табак, пьянь, наркота. Наполнись солнечным светом и сам стань солнцем.

Всегда твой.

01.01.07 г.

Ты сегодня навестил нас, деда и бабушку. Я встретил вас у цирка. Прямо из маршрутки взял тебя на руки. Теплым воробышком примостился на моей груди и стал вертеть головкой. Тебе интересно взглянуть на цирковую рекламу с раскрашенными клоунами, на яркие фонари, на огромные часы.

Весь день я ходил за тобой. Если бы ты знал, как приятно быть в твоей ауре!

Ты добрый, улыбчивый, послушный. И, кажется, умный. Только вот мало слов произносишь. Но это не беда.

В жизни важно научиться и молчать. Как это умел Янка Купала. Как-то заглянул к нему Максим Лужанин. Сидели, молчали. А на прощание Янка Купала сказал ему:

— Спасибо, что помолчал со мной. Вдвоем и молчать легче. Хоть и не говоришь, а все же, как будто советуешься....

Я глядел на тебя и думал: какой будет завтра Беларусь, кем ты вырастешь, будешь ли уважать деда, который носил тебя на руках, пустишь ли в душу белорусский язык, на котором пишу, говорю, думаю, который царит в моей душе?

Твой Владимир Липский.

4.03.2007 г.

Сегодня большая радость посетила мою душу. Принесли ее вестники весны — скворцы.

Их, четверку крылатых гостей, я увидел на дереве под окном. Они сидели на самой верхушке липы, на уровне шестого этажа, и чистили перышки.

Элегантные, подтянутые, не то, что растрепанные вороны. Костюмчики на них блестящие, чистые. Клювы белые. Боже, сколько они отмахали своими крыльями, чтобы вернуться на родину! Были они живые, праздничные. Две пары. Видно, отдыхали с дороги да о чем-то советовались. Может, оглядывали Минск и радовались, что он, убранный, ждал их.

Ты представляешь, Толик? Скворцы прилетели!

Весну принесли с собой. К нам возвращается тепло, зелень, солнышко. Давай порадуемся всему этому!

Звоню, рассказываю тебе о своих наблюдениях, чувствах. А ты тихо, терпеливо слушаешь. Затем передал звуки, которые освоил: промяукал, прокукарекал. А я ответил тебе посвистом скворцов.

Твой дед-вестник.

19.03.2007 г.

Знаешь, почему я тебе завидую?

Ты не умеешь говорить — научишься.

Ты можешь стать, кем захочешь!

А я уже такой, какой есть. Имею то, что имею. Походку не изменишь. Зрение не поправишь. Слух не улучшишь. Седые волосы не потемнеют. Лысину не скроешь.

Однако разум мой светлый и душа молода. Чего и тебе желаю в будущем!

Это письмецо я адресую тебе в мой день рождения, день моего ангела. А знаешь, о ком я думал весь день? О моей маме. Она дала мне жизнь! Я — твоей маме. Она — тебе. Я молюсь за свою маму. Ей — лучшие слова и все дыхание души. «Родная моя, святая моя! — кричу в ясное небо. — Я люблю тебя!..»

6.05.2007 г.

Целый день думаю о зубрах. Они самые древние животные в наших пущах. Ходят важно, неспешно. Знают себе цену.

Мускулистые, бородатые зубры напоминают мудрых дедов, повидавших мир, вдоволь потоптавшихся на земле. Таким дедам можно верить. Они умеют разумно размышлять. Не ленятся, если надо, подставить тебе плечо. Готовы поделиться последним рублем. О, молодым «зубрикам» всему этому еще надо учиться!

Живут на земле зубры и деды. И мне кажется, всем от этого спокойнее. Они прокладывают дорогу. Они могут стать надежным тылом. Обращаюсь к тебе, Толик, и ко всем мальчишкам Беларуси: «Давайте беречь зубров и дедов! Они — живая история. Они несут в себе память прожитых лет. Они — фундамент, на котором вам возводить свой земной рай. Но будет ли он раем, если рухнет фундамент?»

Седлай, Толик, деда-зубра, и я готов открыть тебе все, что сам узнал за прожитые годы.

Твой дед, что смачно съел обед.

9.05.2007 г. День Победы.

Наш дорогой Говорун!

Твой голосок все больше вызванивает понятные слова. Они простые, короткие, но в них — весь твой мир.

В слово «мама» ты вкладываешь и зов, и просьбу, и радость, и тревогу. «Мама» — начало твоей речи, понимания всего, что вокруг. Вот почему, видно, и сестричка твоя Маша для тебя тоже «мама».

Вровень с главной кормилицей и воспитательницей ты ставишь папу. Из близкой родни выделил «бабу», «дядю», «тетю» и меня — «Вову». За что тебе особенное спасибо! Себя называешь — «я». Произносишь этот звук с шляхетским гонором:

— Как Толика зовут?

— Я!

Это «я» звучит у тебя выразительно и немного удивленно: «Разве ты не знаешь, что Толя — это я, Анатоль Липский!»

Вот так стремительно ты входишь в жизнь.

И подумалось мне, что может наступить время, когда мой внук захочет написать мне свои письма. Первый том — мои письма к тебе. Второй — твои ко мне. О чем тебе захочется поговорить со мной, что рассказать, о чем посоветоваться, что попросить? Ох, интересно...

Вот бы дожить...

Дед Вова, который ждет твоего слова.

30.05.2007 г.

Мой солнечный внук!

Солнце на небе высокое, жгучее. Лето жаркое. Каждое растеньице-травинка просит пить. И тебя тоже мучает жажда. Мама ставит на краешек стола пакетик с соком. В нем торчит трубочка. Ты подбегаешь к столу, смачно чмокаешь через трубочку. И снова бежишь. У тебя много забот. Надо заглянуть в комнату Маши, поиграть с ней, а если позволит, то и понажимать на клавиши пианино. С мамой надо понаблюдать в окно, как там строят дом, как кран подымает грузы. Нужно заняться конструктором, покататься на своем автомобиле, потаскать по квартире велосипед. Если идет уборка, у тебя есть своя тряпочка. Если мама поливает цветы, у тебя есть своя бутылочка с водой. При этом нужно не забыть поесть и поспать. О, это только кажется, что у малышей не жизнь, а малина. На самом деле хлопот выше головы. Если взрослые это понимают, то и конфликтов нет. Я думаю, тяжелых для воспитания детей нет. Есть тяжелая жизнь у детей. И здесь опять же виноваты взрослые. Это с их «подачи» в нашей стране воспитываются в сиротских домах больше тридцати тысяч ребят. И в казенных стенах они мечтают о своем доме, о своей семье.

А сколько детей, которые живут только с одной мамой? А сколько больных ребят? Не для всех детей лето — время отдыха и оздоровления. Есть наркоманы, бродяжки... Боже, кричу я в высокое небо, заступись за наших детей, помоги им вырасти нормальными людьми, помоги исполнить свой земной долг!

4.07.2007 г.

Наш Трубач!

Маша рассказала мне:

— Утром меня мама с Толиком разбудили. Пришли в комнату. Мама говорит: «Начинай!» И Толик задудел.

Эта красно-желтая дудка — игрушечная. Но из нее можно выдудеть звуки, от которых не улежишь в постели. Таким дудариком стал и ты, когда заимел музыкальный инструмент.

— Толик, дай поиграть, — прошу у тебя веселую забаву.

А ты не скуп. Просишь, так на, получай. Беру твою дуду и пробую сварганить какую-то мелодию, типа: «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку...»

Ты доволен моими успехами, но тут же отнимаешь игрушку. Дескать, поиграл и хватит, мне самому надо дудеть. А я и не обижаюсь. У каждого свое хобби. Беру удочки и бегу к пруду. Там меня ждут караси.

Пока, музыкант! Жди с уловом!

23.06.2007 г.

Дорогой наш юбиляр!

Тебе сегодня — два года.

Боже, как мало и как много...

За два года ты стал на ноги. Осваиваешь речь. Полюбил родителей и признал родных. Умеешь рисовать, дудеть, фыркать, как машина. Любишь ключики. В папином авто знаешь, какой ключ надо воткнуть в дверцу, какой в замок зажигания. А ключи от квартиры так спрятал на даче, что родители едва отыскали. Все испугались: как войти в квартиру? Один ты был спокоен: дескать, мне и здесь, на даче, неплохо.

В твой день рождения мы снова на даче. Мне радостно, что тебе нравится бывать здесь, на земле, среди цветов, растений, кустов. Ты видишь, как цветут огурцы, помидоры, как зреют ягоды. Ты любишь похозяйничать с лопаткой

в песочнице. Тебе хочется поливать травку. А когда топили печь, ты не отходил от меня. Подавал стружку, бумагу на растопку. Не отводил глаз от огня. Тебе нравился его танец, его ласковое тепло. Печь, братец, это хозяйка в доме. Она и обогреет, и обсушит, и накормит. В ее тепле видятся приятные сны.

На твои именины мы накрыли стол под яблоней. А стол этот мастерили втроем: ты, твой папа и я. Сели за него дружно: дед Вова, баба Нина, мама Марина, папа Леня, сестра Маша, дядя Игорь. Под шампанское, коньяк и шашлыки произносили красивые слова о тебе, и ты, кажется, был счастлив. Пусть же, внучек, в твоей жизни будет побольше таких славных дней!

Твой дедушка Володя.

2.07.2007 г.

Год третий

Иди и радуйся

В прошлом письме я напомнил тебе об удаче. И хочется продолжить разговор об этой загадочной штуке.

Удачи бывают разные.

Вытащил щуку — радуйся удаче, хвались всем, как тебе повезло.

Купил билет на передачу «Ваше лото» и выиграл автомобиль. О, барометр радости зашкаливает!

«От, удачно съездила в Слуцк, — хвалилась когда-то моя теща. — И поросенка купила, и Ольку Хведькову повидала...»

У отца моего день считался удачным, если он выгодно продавал бочку или ушат, когда находил в лесу кленок для полозьев, когда смолил и свежевал откормленного кабанчика.

Каждый человек может назвать свою удачу: выгодно женился или удачно развелся, нашел денежную работу или повидал египетские пирамиды, купил искомую шубу или построил дом...

Но далеко не каждый на склоне лет может сказать, что жизнь его была удачной. Так что же такое жизненная удача?

Сегодня газета «Звязда» в рубрике «Даты» сообщила, что сто лет до нашей эры родился Гай Юлий Цезарь. Вырастешь, обязательно заинтересуйся этой личностью. Далеко не о каждом руководителе нации живет столь крепкая и уважительная память.

Меня же особенно впечатляет, что Цезарь уверенно шел к вершине человеческого совершенства, изучая литературу, философию, историю, красноречие. Его жизнь с полным правом можно назвать удачной. И прежде всего потому, что через две тысячи лет мы помним и его самого, и его дела, и его именинный день.

Делай, внучек, добро родителям, людям, Родине, и тебя обязательно заметят, и ты порадуешься прожитым годам. Это говорит тебе дед, стартовавший из тихой шелковской хаты.

Видишь, Толик, настоящие удачи приходят к человеку только через пот и бессонницу, через любовь, веру и духовность.

Пока что ты на правильной дороге. Иди и дальше по жизни с радостью!

Твой добродей, Владимир Липский.

13.07.2007 г.

Называю тебя «дорогим», «славным», «милым» внуком. Но каким ты вырастешь, каким станешь?

Сижу у цветника, у природной красоты, а мысли стучатся тревожные. Мы с надеждой идем в завтрашний день. С верой смотрим на внуков. А эта надежда и вера как бы из красивого стекла. Это стекло может вечно служить в оконной раме. Но может разбиться от ветра, от движения неуклюжего человека, да и случайно.

Как же хочется, чтобы ты оправдал нашу веру и надежды. Готов повторять это в каждом письме. Пока ты радуешь всех нас.

Сегодня ты открывал для себя чудеса природы: как цветут и завязываются огурчики, почему на одном стебле есть и зеленые, и красные помидоры, откуда на ветвях живые мотыльки, почему рыбка без воды зевает?

Мы провели с тобой урок рисования. Ты размашисто накалякал несколько линий. Я остановил твое вдохновение модерниста и стал терпеливо показывать, как рисовать человека. И ты задумался. Вывел кривоватый овал, похожий на голову, поставил в нем черточки-глазки. И у тебя загорелись глаза, потому что ты начал творить.

Вот, внучек, что самое главное для человека: почувствовать, что он — творец. Пускай себе в малом, но — творец, первооткрыватель, создатель. Это и есть его крылья. Так пусть же изо дня в день крепнут твои жизненные крылья. Совершай все новые шаги. Радуйся сам и радуй нас.

Твой дед-подсказчик.

29.07.2007 г.

Дорогой Толик!

Посчастливилось увидеть восход солнца. И в этот же день любовался полной радугой на полнеба. Наверно, более красивого чуда в природе нет, нежели восход солнца и радуга на небе.

На солнце, мой друг, надо всем нам равняться. Оно — вечный трудоголик. Чтобы ни происходило на нашей Земле — войны или пожары, цунами или землетрясения, извержения вулканов или лавины снега с гор — солнце всегда на своем посту. Мы его не всегда видим, но оно — постоянный хранитель неба.

Порой мне кажется, что солнце и есть наш Бог. Оно одинаковое для всех. Оно хотело бы обласкать каждого, но не каждому выпадает его щедрость. Как и Божья милость не суждена греховодникам.

Однако никогда, мой внук, не возьми в голову, что можешь стать земным солнцем. Сколько уже таких дураков было-перебывало! Среди них монархи, генералиссимусы, президенты. Не буду называть имена, вырастешь — сам узнаешь. Чем выше они поднимались по карьерной лестнице, чем больше верили в свое праведное княжение, в свое право властвовать над людьми, тем большее недоверие вызывали у Бога и Солнца.

Вот какие мысли вызвал во мне сегодняшний восход солнца и радуга. О чем я и тороплюсь сообщить тебе. Оставайся здоровым и телом, и душой.

Твой дед, Владимир Липский.

01.08.2007 г.

Мой наследник!

Тебе в наследие приготовлены судьбы тысяч Липских разных поколений. Разберись с ними. Выбери все самое лучшее в их характерах, принципах, мудрости.

Тебе в наследие — вся история Земли, все страны мира. Бери! Осваивай! Пользуйся!

В дар тебе и все трагедии, произошедшие с того времени, как люди обжили планету.

Сегодня календарь напоминает, что таким же днем, 9 августа 1945 года, американский летчик сбросил атомную бомбу на японский город Нагасаки. Представляешь, Толик, мамы баюкали деток, влюбленные целовались, взрослые отдыхали или работали, а в это мгновение по воле сумасшедших на их головы летел «гостинец». От него в городе, в радиусе 12 километров, были разрушены все здания. Температура поднялась до пяти тысяч градусов. Мгновенно погибли триста тысяч безвинных людей, а еще двести тысяч получили ранения, ожоги, облучение.

Эту трагедию ты тоже получаешь в наследие. Как и наш Чернобыль, и осушенные болота, и промышленные трубы-коптилки, и армию детей-сирот, и родную речь-сироту....

Ох, дружок, опять запугиваю тебя. Воспринимай мою тревогу с оптимизмом. Знай, ты идешь в мир со своей миссией. Если и не перевернешь его, то хотя бы по-доброму «наследи» в нем, чтобы Анатолия Леонидовича Липского помнили и уважали.

Ну а пока ты красиво, с юмором входишь в жизнь. Вот только что пошлепал по клавишам компьютера, взял «мышку», как телефонную трубку, поднес к уху и сказал:

— Да!.. Да!.. Да!..

Кому-то дал знать, что на экране нет картинок, что вы, дескать, портачи, ничего хорошего не показываете.

Услышал на улице гул мотоцикла, приостановился, поднял вверх пальчик и объяснил мне:

— Там!.. Мананан!

Не можешь выговорить «каша», которую ешь каждый день. Не одолеешь «сок», который хлебаешь из своей кружки с двумя ушками. Трудны для тебя слова «хлеб», «молоко», «суп». А вот «мананан» произносишь легко.

Подписываю для тебя свою новую книгу «Приключения Нолика». Осваивай новые слова родной речи. Желаю тебе сказочных приключений, удивительных открытий, крыльев вдохновения в земном раю.

Твой друг — Владимир Липский.

09.08.2007 г.

Добрый день, внук!

Пишу тебе из Москвы. Здесь столько людей, сколько во всей нашей Беларуси. Каждый раз по-новому открываю Москву. Кажется, что здесь живет сама седая история, так много памятников, музеев, театров. Здесь людской букет России, все ее знаменитости, все звезды.

Вот и дед твой, Толик, здесь. Живу в отдельном номере гостиницы «Салют». Сегодня выступал в Колонном зале Дома Союзов. Величественный зал. По сторонам белые мраморные колонны. С потолка свисают роскошные люстры. На стульях этого зала когда-то сидели делегаты Дворянского собрания России. Здесь бывали Александр Пушкин, Владимир Ленин...

Сейчас здесь мы — делегаты Международного съезда волонтеров детства. На стене висит простой, но очень образный и впечатляющий плакат: в гнездышке сидят три птенца. Красные клювики их широко раскрыты. Они ждут и пищи, и поддержки, и сочувствия. Они хотят вырасти, опериться и взлететь!

А в зале взрослые, что верно служат детям. Они называют себя волонтерами детства. Отдают свои сердца, свои души, чтобы дети чувствовали себя защищенными. Сегодня у них праздник — двадцать лет благотворительной организации, которая называется Детский фонд.

Такую организацию, Толик, возглавляю и я в Беларуси. Вот уже почти двадцать лет утираю слезы сиротам, инвалидам, чернобыльцам, всем детям, заложникам беды.

Меня пригласили на величественную сцену. И вручили высшую награду Международной ассоциации детских фондов — Диплом и Золотую медаль Льва Толстого. Аплодировали русские, украинцы, узбеки, армяне, азербайджанцы, чеченцы, туркмены, казахи, молдаване, японцы, финны, болгары... А я едва не заплакал. Я не ждал наград. Я просто работал изо всех сил, защищал детей, порой забывая о собственном здоровье...

Ну, я совсем расхвастался перед тобой. Прости. Знаю, что человек-хвастун немного смешон. Я просто поделился с тобой радостью.

Храни и ты свои радости, передавай их мне. Я тоже буду им радоваться и собирать в копилку твоей жизни.

С любовью, твой дед.

14.10.2007 г. Москва.

Мой светлый Толик!

Мы с тобой поменялись ролями. Теперь я в больнице. Мне, внучек, собираются делать операцию. Вот такие дела, дружок.

А знаешь, в ночь перед операцией я молился. Обращался к Богу и просил то, чего страждала моя душа.

«Боже милостивый! Дай здоровья моим внукам: Толику, Маше, Антону. Спасай их и помогай, потому что им придется завершить нами начатое, им продолжить род Липских.

Боже милый! Не обижай моих деток — Марину и Игоря, их любимых половинок — Леню и Таню. Пусть они сполна изведают радость жизни, пусть доля не обойдет их ни в чем.

Боже милостивый! Дай сил, терпения, здоровья моей жене Нине. Научи ее беречь себя. Подскажи ей, чтобы ценила каждое мгновение жизни.

Боже милостивый! Если у Тебя после такой помощи еще останутся силы и ресурсы, помоги и мне, чтобы удачно прошла операция. Я же не все еще сделал на этой Земле. Хочу вручить письма, которые пишу Толику, когда ему исполнится 18 лет. К этому времени Маша и Антон будут семейными. И я увижу правнуков! В этом промежутке времени мы с Ниной отпразднуем золотую свадьбу. И я, Боже, задумал написать много новых книжек. Хочу, чтобы увидели свет и мои избранные произведения.

В следующем году юбилей Детского фонда, шестой Всебелорусский фестиваль народного юмора в Автюках. Как же эти торжества без меня?

Между уколами и капельницами пишу тебе это письмо...

Крепись, Толик, и не кашляй.

Твой дед Вова.

25.10.2007 г.

Дорогой внук!

Лучшая переводчица твоей теперешней речи — мама Марина. Кто бы еще догадался, что «туой» — это глазированный сырок, твое любимое лакомство.

Для тебя «тека» — это хомяк, живущий в клетке на кухне, которого растит Маша. А «мома дрына» — это машина, которая забирает из контейнеров мусор.

«Можно я пойду на улицу?» — у тебя получается короче: «Мона ду итю?»

В продолжение этой просьбы звучит новая:

— Дену тютю, тапаку, танини и ду!

Что означает:

— Надену куртку, шапку, штаны и пойду!

Да и это еще не все. Ты просишь:

— Дай сюму, там дени (Дай сумку, там деньги)...

Мне обидно, что пока в твоей речи нет белорусских слов. Прошу тебя:

— Скажи «бульба».

Ты смотришь на меня большими удивленными «вишнями». Молчишь. Я думаю, что ты собираешься с силами, прокручиваешь в памяти весь свой словарный запас и сейчас порадуешь деда. А ты удивил меня. Вместо того, чтобы как-то вымолвить незнакомое слово, ты ошеломил меня вопросом:

— Тё етя?

Я и без перевода догадался, ты спросил:

— Что это?

Боже, твой компьютер заинтересовался новым словом «бульба». Это здорово!

Тебе сегодня как раз два с половиной года. Хотелось бы знать, что выдаст твой личный компьютер через двадцать пять лет?

Загадочный мой, заканчиваю письмо к тебе и ложусь спать. Уже далеко за полночь. Погасли городские фонари. Густой туман закрыл звезды.

Спокойной ночи.

Твой дед Вова.

02.12.2007 г.

Твой папа рассказал мне о вашем интересном разговоре.

Начали собираться на улицу. Ты нарочно сунул свои ножки в папины ботинки.

Папа возразил:

— Толик, это же моя обувь.

— Нет, — ответил ты решительно. — Моя.

Повязал на шею папин шарф и снова заявил:

— Мое!

Тогда папа запротестовал:

— Толик, выходит, все твое. А что же тогда мое?

— Я! — ответил ты и ткнул пальчиком в свою грудь.

А ведь это философский ответ!

Твой почтальон Печкин.

09.12.2007 г.

Ершистый мой!

Как тяжело тебе в этом мире. Мы — гулливеры, ты — лилипут. Живешь в стране великанов, которые все знают. А на самом деле, ты мыслишь больше нас. Ты — открыватель, мы — потребители. И нет сомнений, что все освоишь и пойдешь дальше, к Своему. К каким тайнам прикоснется твой ум? Какие ветры прошумят над твоей головой?

Меня радует, что уже сейчас ты готовишься к большим испытаниям, закаляешь характер.

Мама Марина рассказала смешную историю. Шлепнула тебя за то, что замахнулся на Машу.

Ты, как петушок, отскочил. Замахал руками-крыльями и показал язык.

— Ах, так ты еще и кривляешься!

И мама ласково шлепнула еще раз по твоим зеленым колготкам, которые плотно обтягивали попу.

Ты отбежал на безопасное расстояние, стал в позу воина и заявил:

— Бось не дам попу бить!..

Ручками обхватил свой «объект». Мама едва сдержала смех. Должна была в строгости закончить воспитательный урок.

Можно посмеяться. А если принять серьезно?

Ты напомнил маме, что детей бить нельзя, что ты не желаешь давать свою попу на экзекуцию. И тем самым дал понять, что правильно оцениваешь и свое поведение. Ты постараешься больше не сердить маму, главную любовь в твоей жизни.

Мама рассказала об этом конфликте с тобой и с гордостью, и с юмором. Знай же, Толик, какая чудесная воспитательница у тебя. Никогда не обижай ее.

Молюсь за тебя.

Твой друг, «дед Ваёдя».

19.01.2008 г. (День Крещения Сына Божьего.)

Вот, дождались! Тебя, Толик, мама в восемь утра отводит в детский сад, в ясельную группу.

Так и хочется посочувствовать тебе, так и хочется сказать: «Закончилось, братец, твое домашнее детство».

Из маминого сынка-сосунка ты становишься объектом воспитания в детской группе. И пойдешь дальше по этапам жизни: садик, школа, институт, рабочий или ученый коллектив. Обязанность перед Родиной — армия. Своя семья — жена, дети, теща. А там, глядишь, и до пенсии рукой подать.

Я долгое время считал, что ребенка надо воспитывать. Теперь верю в иную мудрость: нельзя создать ничего нового в душе ребенка, если не учесть все то, что уже есть в ней. Вот в чем загадка, тайна!

Ты принес из ясель новое слово — «кабада». Вымолвишь и хохочешь. Что же оно означает? Почему тебе смешно? Мама допытывается:

— Что такое «кабада»?

— Ну, кабада, — уверенно отвечаешь ты и опять тебе весело.

И мне, дружок, весело оттого, что у тебя прорезается чувство юмора. С ним легче горевать.

Не хочу, чтобы ты был просто сосудом, в который вливают поучения, пожелания, готовые знания. Не хочу, чтобы ты был только диктофоном-приемником, записывающим любые звуки. Не хочу, чтобы ты был лифтом, на котором все ездят. Не хочу, чтобы ты был ковриком, о который все вытирают ноги. Хочу, чтобы ты стал мотором и вырабатывал собственную энергию. Это и будет твоим жизненным успехом. «Топливом» для двигателя, как мне кажется, должны стать здоровье, ум и характер. Добывай все это, развивай, и ты станешь Человеком!

Твой Вова.

20.04.2008 г. (Пасха.)

А знаешь, Толик, есть семьи без фундамента. Он будто и есть, но подгнил, ветер раскачивает дом.

В вашей семье, слава Богу, и фундамент прочный, и семья держится на любви, уважении. Пойми это и цени.

Почему я начал этот разговор?

А мне бросились в глаза твои какие-то необычные поступки.

Дал тебе очки-конструктор из пластмассовых деталей. Ты разобрал их и начал разбрасывать по комнате.

— Что ты делаешь? Разве так можно?.. — сделал я замечание.

Тебе же весело и смешно.

Как появилась такая вредность? Кто научил: мама, папа, воспитатели, друзья в садике?

Зовем тебя обедать. Но ты вдруг затопал ножками:

— Не хочу!

Можно было сказать об этом спокойно. Где и от кого научился топать?

Маша произнесла тебе что-то поучительное, ты замахнулся на нее рукой. О, братец, это мне уже совсем не нравится.

Твои мелкие «выбрики» воспринимаются взрослыми с юмором. Мол, вон ты какой реактивный. А меня это насторожило. Как бы за твоей милой улыбкой, за всеобщей любовью не проморгать появления в твоей слабой душе агрессивности, эгоизма.

Может, я преувеличиваю?

Может, так и надо? Ведь ты вырабатываешь характер мужчины, бойца, защитника. Характер тоже надо тренировать, практиковать, закалять.

Ты, Толик, загадка без разгадки.

Как бы мне хотелось встретиться с тобой взрослым!

Обнимаю и люблю.

29.06.2008 г.

Добрый день, юбиляр!

Первое, что делаю, проснувшись, звоню тебе.

— Поздравляю!

— Пасиба, — отвечаешь ты, а в голосе полное понимание того, за что благодаришь меня.

Боже милостивый, ты уже отмерил нашему наследнику три года жизни!

Твоей энергии, Толик, хватает на всех. Бабушке Нине ты помогаешь поливать огород. Маме Марине — пропалывать грядку. Папе Лене — закручивать шурупы. Сестре Маше — слушать музыку. Мне — ловить карасей.

Наш дорогой мурашик, ты всех радуешь своей энергией, дружелюбием, непоседливостью, какой-то необычной лихостью. Вспомнился Лев Николаевич Толстой с его мудрой философией: «Человек живет, пока опьянен жизнью».

В свой юбилей, Толик, ты всех нас напоил, опьянил своим чудесным жизненным нектаром. Пусть его запасы буду неисчерпаемы!

Твой дедушка, Владимир Липский.

2.07.2008 г.

Год четвертый

Солнце над головой

Расскажу тебе об одной обиде.

Ехали мы с моим другом-поэтом Валентином Лукшей на дачу. Маршрутки переполнены, и мы решили добираться на перекладных. На автобусе доехали до развилки дорог. Оттуда до наших домиков пять километров. Идти по жаре и трудновато, да и лень. Начали голосовать попуткам.

И что ж ты думаешь, тридцать машин проскочили мимо, и никто не остановился. Едут порожняком, иные с сигареткой во рту, с громкой музыкой. Комфортно им, а подобрать, подвезти двух пожилых людей нет желания.

Неужели и ты таким станешь?

Не верится.

Но один фактик шрапнелью впился в мою память. Ты катался на своей машине. Приостановились, чтобы рассмотреть жука, переползавшего с травинки на травинку. Но он вдруг взлетел и исчез.

В это время к нам подошла женщина с девочкой. Девочка потянулась ручками к твоей машинке. Хотела то ли подержаться за руль, то ли погладить ее, то ли прокатиться. Но ты оттолкнул ручку девочки от своей техники и сказал, как отрезал:

— Не дам!..

— Идем отсюда, — тихо промолвила женщина и силой оттащила девочку от нас. Ее слова больно кольнули мне сердце.

Где ж ты, мой мальчик, у кого научился жадности, грубости? Почему не понял сверстницу? Почему прогнал подружку?

Я не стал при чужих людях поучать тебя. Но когда женщина с девочкой отошли, попытался объяснить, что поступил ты гадко. А ты неизменно стоял на своем:

— Моя машина!..

Вот так, Толян, дважды я ранен сегодня: равнодушными шоферами и тобой, моим любимцем.

На дороге нас с поэтом все-таки подобрал один человек. Ехал он на простенькой машине. Тормознул и приветливо пригласил к себе. Даже деньги за проезд не хотел взять.

Оставь мне, Толик, надежду, что и ты будешь добр к людям. На этой ноте и заканчиваю очередное послание к тебе.

Твой дедушка.

08.09.2008 г.

Дорогой Толя!

Твой дед-ездок недавно побывал в России. Скорый поезд вез меня до Москвы 12 часов и еще 14 часов — из Москвы в глубинку великого русского государства. Так я оказался в городе Кирове, который раньше назывался Вяткой. В эту Вятку когда-то ссылали людей. В свое время туда были высланы Герцен, Салтыков-Щедрин, многие белорусы, участники восстания Кастуся Калиновского. Среди них и отец всемирно известного писателя-романтика Александра Грина.

А я, Толик, приехал на вятскую землю, чтобы получить российскую премию имени Александра Грина. Он написал много книжек, и две особенно любимы читателями — «Алые паруса» и «Бегущая по волнам». Их я читал в юности. А недавно перечитал. И снова хмелел в волнах высокой любви, чистой духовности их героев. Признаюсь тебе, не могу поверить, что мое творчество, мой труд оценен будто самим Грином.

В дипломе отмечено, что премию я получил за свои документальные повести: «Мама. Молитва сына» и «Отец. Письма на небо». А также за многолетнее служение детской литературе и Детству. Как бы мне теперь хотелось послать телеграмму на Небо дорогим Маме и Папе. Они бы нашли для меня слова для поздравлений, слова радости.

Мой курносик, знаю, ты бесконечно любишь своих родителей. Не потеряй с годами это чувство. Пусть оно крепнет, окрыляется, чтобы тебе когда-то захотелось создать им свой памятник. И чтобы ты захотел выбить на нем слова Еврипида: «Тот достоин зависти, кто детьми прославлен был».

Пусть же под этими словами подпишутся твои дети и дети твоих детей.

С любовью — Владимир Липский.

23.10.2008 г.

Вот и еще один год взлетел на земную орбиту. Мы с тобой весело отмечаем его: подарки, вкусный обед. Собрались все близкие родственники.

А я, прагматик, думаю, как он войдет в историю твою, мою, нашу?

Очень тревожно в мире. То грузины стреляют в абхазцев, то в Ингушетии террористы взрывают город, то сомалийские пираты колошматят чужие корабли, то украинцам отключают газ...

В земном доме все не слава богу. И хочется, чтобы в наших семьях были покой, надежность, вера, любовь. Но и в отдельной «ячейке» живет тревога. Чтобы вы, внуки, не кашляли, чтобы Антон нашел себя. Чтобы Маша взялась за ум. Молю Бога, чтобы дал мне сил и время написать задуманное. А планов много. Хочу написать книгу для детей о своей малой родине — Речицком районе. Давно вынашиваю повесть о мальчике, которому скучно на Земле. Мечтаю создать роман жизни «Телец». Нужно закончить цикл рассказов «Цунами над нами». Хочу долго-долго писать тебе письма...

Теперь, Толик, пишу для детей о Новогрудчине. Это один из районов Беларуси, а сколько здесь непознанной истории! В Новогрудке короновали Миндовга, и он стал первым руководителем Великого Княжества Литовского, а Новогрудок — столицей тогдашнего нашего государства. Проявил себя и его сын Войшелк, как воин, защитник и... монах. Эта земля родила поэта-гения Адама Мицкевича, его соратников Яна Чечота, Игнатия Домейко. Этот край мог бы славиться уже одним только озером Свитязь, о котором сложены легенды, сказки.

Короче, Толик, к тому времени, когда ты начнешь читать, свет увидит мою книжку «Свитязянская русалка». Хочу, чтобы такие книжки для детей были во всех районах нашей Беларуси. Пока же я веду рубрику в «Вясёлке», которая называется «Я тут живу». Приглашаю своих читателей в путешествия по Берестовице, Лиде, Кореличам, Слониму, Ошмянам...

Новый год заманивает всех нас на свой праздник. И надо быть последним дураком, чтобы не расслышать этот зов. К сожалению, дураков на Земле хватает. Очень бы хотелось, чтобы ты не попал в их шеренги. Держись высоких орбит!

Твой доброжелатель, Владимир Липский.

03.01.2009 г.

Золотой Толик, как же я люблю твои глаза! Большие, вишневые, в мохнатых ресницах. А главное — открытые. И удивленные. Доверчиво впускают в свой космос земную явь.

Мама спрашивает у тебя:

— Откуда ты, Толик, появился?

— Из земли, — отвечаешь, не моргнув глазом.

— Как это?

— Экскаватор выкопал...

У тебя огромный интерес к машинам. Долго и с интересом разглядывал мой подарок: тридцать три почтовых открытки с разными марками тракторов. Очень понравилась фура, которую я подарил. Красная, элегантная машина везет сок в детский сад, — так я тебе объяснил. Ты же, разглядев ее и словно почитав рекламу на английском, заявил:

— Нет, дедушка, она везет пиво.

Только теперь я заметил, что на уголке фуры изображены бутылки с этикетками, но — не сока. Провокационная реклама обернулась моим обманом. Прости!

А еще я подарил тебе фотоальбом про Беларусь. В нем чудесные пейзажи нашей Родины: леса, луга, реки, озера. Ты дважды перелистал книгу,

а я глядел на тебя и не дышал. Бальзамом на душу был для меня твой интерес к красоте родной земли.

Полюби, внучек, этот уголок Божьего наследия, данный нам, белорусам. Познай все, что здесь было и есть.

Навеки твой — Владимир Липский.

28.02.2009 г.

— Толик, где живет корова?

— В лесу, — уверенно ответил ты.

— Чем питается корова?

— Лесом.

— Что она пьет?

— Молоко.

— Кто тебе дает молоко?

— Магазин.

Пусть этим интервью запомнится день 26 апреля 2009 года. Двадцать три года назад в этот день произошла Чернобыльская трагедия. Был такой же солнечный, ласковый день. Буйствовала весенняя зелень. Люди радовались теплу...

Ты сегодня крепко спал днем. Аж четыре часа. Ручка лежала под щекой, а ножка торчала из-под одеяла. Наверно, ты видел хорошие сны, спокойные сны. И пусть так будет всегда!

Хранитель твоего дневного сна.

26.04.2009 г.

Тебе вот-вот четыре!

И первое, о чем я думаю: где мои четыре годика, каким я был тогда, чем примечательно было то время в Беларуси.

Что я помню о своих четырех годах?

1944 год. Беларусь освобождена, но война продолжается. Брат Петро лежит в военном госпитале в Уфе, а в Шелковичи пришла телеграмма: «Погиб, похоронен...» Сестры Клава и Люба работают в военном госпитале в Польше. Лида замужем, у нее два сына, Миша и Шура.

Мы с братом Колей — возле родителей. Коле двенадцать, а мне четыре. Год назад вернулись из лесных землянок на пепелище. Всю деревню Шелковичи сожгли каратели. Отец соорудил временное жилище. Кажется, и сейчас вижу ту хатку. Одним окошком она глядела в лес, другим на хлевушек, где стояла наша коровка-кормительница. Ее подарили нам партизаны.

В хатке, помню, стояла печь, от нее вдоль стены — полати. На них мы спали. Справа, в углу — самодельный стол и подвесная полочка с посудой.

Как только сошел снег, мы с братом бегали на огород искать подмерзшие картофелины. Из них мама пекла оладушки. Из желудевой муки делала блинчики. Из лебеды, щавеля, крапивы варила супы.

Однажды зимой мой отец завел в хатку нашу корову, а с ней — еще мокрого теленочка, который только что родился. Отец нес его на руках. Стояли такие морозы, что наша кормительница с теленочком могли замерзнуть в хлеву.

Мама дала нам с Колей по кружке молозива. Мы хлебали тот коровий деликатес, а она глядела на нас огромными глазами и тяжело сопела. Разве забудешь такое?

К твоему четырехлетию, Толик, родители купили тебе самокат. Мы с бабушкой — палаточный домик, дядя Игорь — самосвал на колесах.

Мы все радуемся, что ты растешь сообразительным, скромным и, кажется, не лодырем. Каждому готов помочь. Обо всем тебе хочется расспросить, все знать.

Солнце стоит над твоей головой. Оно освещает твои дороги. Оно баюкает тебя в космической люльке.

Это свидетельствую я, твой летописец — Владимир Липский.

30.06.2009 г.

Год пятый

Узелки на память

Так получилось, Толян, что мы с тобой одни на даче. Тебя полностью доверили мне, и ты согласился с этим. И не без удовольствия, потому что, как кажется, мы всегда понимаем друг друга.

День провели в согласии, в играх и работе. Поздно вечером ложимся спать. Поздно — это едва не в полночь. И вдруг ты предлагаешь:

— Давай выйдем во двор.

— А что, давай.

Через несколько минут мы в черной ночи, под звездным небом. Космос сияет яркими росинками. Под этим зонтом — глухая тишина. Между звезд мигает сигнальными огоньками рейсовый самолет. Едва не зацепил лунный серп.

Ты, Толик, был ошеломлен ночным небом. Ты впервые видел такое чудо. А я в темноте видел твои глаза. Серебряными звездочками светились они. Из твоей души вырвалось одно-единственное слово:

— Обалдеть!

Надеюсь, с годами ты найдешь для неба и ночи иные, более высокие слова. А сейчас назвал то, которое знал, которое ближе сидело на языке. Наверно, перенял у мальчишек в детском саду. А может, даже у Маши?

Но произнес взволнованно, непосредственно, как оторвал от сердца. Ты был искренне удивлен своим открытием. И я благодарен тебе за это, потому что и я другими глазами поглядел на звездное небо. Как же хорошо, что ты вытащил меня на встречу с черной летней ночью!

Жизнь — это то, что происходит в определенный, конкретный момент. Все остальное — воспоминания и мечты. Давай, Толян, ловить мгновения жизни. Пусть они будут разными, как цвета радуги. Но только не болезненными, не колючими, не тревожными. Боже, пусть будет так!

Ты спишь, а я молюсь. Засыпаю с мыслями о тебе, а значит, и о своем завтрашнем дне.

Спокойной ночи!

19.07.2007 г.

Расскажу тебе, дружок, как однажды у нас родилась сказка.

Заманиваю тебя к книжке о разном зверье. На одной из страниц тебя заинтересовала обезьяна на дереве. Ты стал внимательно разглядывать фотоснимок, а я подливаю масла в огонь:

— О, сидит и думает: где добыть бананов?

Ты перелистываешь страницу, спрашиваешь меня:

— Дедушка, а где ее бананы?

И тут мы начинаем фантазировать: как обезьяна искала бананы на нашей яблоне, как ходила просить бананы в детский сад «Фонарик», как бегала в Африку к банановым деревьям. А больше всего тебе понравилась придумка о том, как обезьяна ходила в супермаркет. Записываю эту сказку на память.

Обезьяна и бананы

Приехала обезьяна из Африки в Беларусь. Залезла на елку, а там не бананы, а шишки. Залезла на дуб, а там желуди, залезла на рябину, а там красные ягоды. «Где у них растут бананы?» — задумалась обезьяна.

Идет мальчик Толик. Обезьяна спрашивает его:

— Где у вас бывают бананы?

— Где, где... В супермаркете! — ответил Толик и показал, как найти этот магазин.

Побежала туда обезьяна и спрашивает у продавца:

— У вас бананы есть?

— Сколько угодно, — ответила продавец и махнула рукой в сторону полок с разными фруктами.

Обезьяна бросилась к полкам. Один банан сразу же запихнула в рот. Другие набросала в мешок. Мешок за плечи — и ходу из магазина.

Кассирша и милиционер догнали ее.

— Гражданка, а заплатить?

— За что?

— За бананы.

— А у меня денег нет.

— Тогда положите товар на место, или мы вас арестуем.

Испугалась обезьяна, бросила мешок с бананами на асфальт, а сама вскочила на электрический столб.

Тут как раз проходили дети из «Фонарика». Увидели обезьяну на столбе и закричали:

— Обезьяна, обезьяна!

Толик сказал:

— Я знаю эту обезьяну. Она хотела бананов. «На, обезьянка, мой банан, мне его мама дала...»

И все дети достали свои бананы. Обезьяна слезла со столба села на асфальте и стала очищать и есть бананы.

Детям было весело наблюдать, как обезьяна смешно ест бананы и от удовольствия почесывает свой животик. Она хотела сказать детям спасибо, но у нее получались только невнятные звуки:

— Гу!.. Гу!.. У-у!...

Твой сказочник.

2.08.2009 г.

Жизнь, Толик, это рождение и смерть.

Я рождался несколько раз.

Первый раз в мае 1940 года, в Горвальской больнице. Позже рождался как сын, как ученик, как студент, как муж и отец, как журналист и писатель, как человек и гражданин, наконец, как белорус.

И умирал уже несколько раз.

Во время войны, когда отец ночью носил меня на руках к партизанскому хирургу. Отметину его скальпеля, а может, простого ножа, ношу в паху по сегодняшний день.

Мог погибнуть от страха и волчьих зубов, когда ночью возвращался домой из Узнажской школы.

В какое-то мгновение был уже на том свете, когда тонул в реке Уша. Вытащил напарник-рыбак и меня всю ночь спасали в Городейской больнице.

Имел шанс не вернуться из Беслана, где проходил практику после техникума и где меня без повода и причины избили осетины.

Мог быть уничтожен анонимкой «друга», если бы не вмешался сам Петр Миронович Машеров, тогдашний руководитель Беларуси.

Рождение и уход в вечность.

В промежутке между ними — то мгновение, которое называется жизнью. Ты общаешься, что-то делаешь, совершаешь важный поступок — только в эти минуты и живешь. Все остальное — минувшее и будущее, воспоминания и надежды.

Мой мальчик, научись жить сегодня, сейчас, в данную минуту, и только тогда ты получишь содержательную жизнь.

— Дедушка, что ты делаешь? — твои глаза и нос появляются над лестницей, и вот ты уже на втором этаже, возле моего стола.

— Пишу тебе письмо, — признаюсь я.

— Ай, пойдем лучше на улицу. Знаешь, что там?

— Что?

— Корова на небе летает...

Я бросаю ручку, и мы бежим под это чудесное небо.

— Где она? — спрашиваю тебя, фантазера.

— Уже нет... — Хитро улыбаешься ты, рад, что вытащил меня из дома.

Мы разглядываем облака в поднебесье. Находим похожее на корову и счастливо кричим на всю округу:

— Корова в небе!

Твое открытие и стало мгновением нашей жизни. Давай запомним его!

Твой соокрыватель

27.09.2009 г.

Гуляли в парке, где стоит вечный бронзовый Янка Купала.

Все здесь ложится на душу: и тенистые аллеи с купалинками, и широкая Свислочь с лодочной пристанью, и загадочные скульптуры. Но больше всего — Поэт с толстым кием, написавший о мальчике и летчике. Читаю тебе любимое стихотворение моего детства:

Мой мілы таварыш, мой лётчык,
Вазьмі ты з сабою мяне!
Я — ведай — вялікі ўжо хлопчык
І ўмею ўжо лётаць у сне...

Вижу, и тебе нравится стихотворение Янки Купалы. Пока я читал его, ты забрался на травяной холмик, на котором стоит Поэт, и заигрался там. Слез на дорожку, снова забрался на холмик. И так много раз.

Мне приятно, что ты заигрался возле Янки Купалы. Ты и я — такие маленькие рядом с ним. Здесь, думаю, должен побывать каждый белорус и исповедаться перед нашим духовным учителем. К сожалению, многие наши земляки скорее побегут на концерты попсы, в макдональдсы, в пивные притоны, к шашлычным бедламам.

Вдруг мы замечаем с тобой, что с полы пальто Купалы капнула капля влаги. Чудеса! Солнечный полдень. На небе ни облачка. Все млеет от жары. Откуда эта капля?

Мы вглядываемся вверх, в лицо Янки Купалы. И ты, открыватель, едва не кричишь на весь парк:

— Дедушка... Купала плачет!..

Набатным звоном звучит твой голосок. И сердце мое замирает. Конечно, мой мальчик, у Купалы есть много причин заплакать, потому что далеко не все получил белорусский мужик, пан сохи и косы, о чем мечтал поэт. Не везде и не все уважают мову тутэйшую, которую Купала поднял на всемирный уровень.

Мы с тобой, Толик, отдыхаем возле Купалы, нам здесь хорошо. Ты уже знаешь, кто такой Янка Купала. Видишь, заметил его слезу. Нагулявшись, возвращались взволнованные и возбужденные...

А через день я получил сигнальный экземпляр моей книги «Янков венок» — детям о Янке Купале. Не могу выпустить из рук книгу, она дышит какой-то особенной, влекущей аурой. Это первый, такой объемный рассказ детям о нашем классике, гении, учителе, вожде. Боже, как я счастлив, не могу скрыть свою радость.

Расти быстрее, учись читать да и впусти в душу мой «Янков венок». Наших духовных учителей, поверь, надо и знать, и идти за ними. И равняться на них.

Песняра святое имя
Навеки в сердце сохраним.

Это сказал Якуб Колас про Янку Купалу. Сказал для всех, кто называет себя белорусом.

Бывай, не забывай.

2.10.2009 г.

Толяха!

Запомни: сегодня мы с тобой были «козлами».

Я учил тебя играть в домино. Хотелось, чтобы ты усвоил цифры и легко их находил.

Игра тебе понравилась. Ты быстро понял ее нехитрые правила. Просил еще и еще разок сыграть. Очень радовался концовке, если кто-то из нас выкладывал последнюю кость и объявлял напарника «козлом». При этом ты одинаково радовался, если и меня обзывал «козлом», и если проигрывал сам.

Бежал на кухню, докладывал бабушке, кто из нас «козел», летел обратно ко мне и просил:

— Давай еще разок!..

Однако знай, братец, что обозвать человека козлом без причины — большое оскорбление. Все зависит от ситуации, характера и настроения человека, которого ты возводишь в ранг домашнего животного.

В Автюках, к примеру, где живут веселые Колоски и Калинки, был такой случай. Сосед рассердился на соседа и говорит:

— Ты козел!

— Я козел?!..

— Да ты и на козла не похож!

— Я — не похож?!..

Посмеялись, как бы стукнулись рожками, да и забыли об этом. А некоторые долго носят в сердце обиду.

Почему козел вызывает такую реакцию?

Может, потому, что это животное как бы хвастается своей бородой. Упрямое, самодовольное и немного глуповатое. Вот и пошли гулять народные

присловья: «скачет козлом», «поет, как козел», «пусти козла в огород», «с тебя пользы, как с козла — ни шерсти, ни молока».

Про козу, жену козла, есть даже страшилки: «Идет коза рогатая, забодает мальчика пузатого...» Коза восславлена в народной сказке «Коза-дереза». Вот и ходит присловье: «Отлупил, как сидорову козу».

А нам с тобой, Толик, весело. Мы «забивали козла». Это игра понравилась тебе. Оставаться «козлом» было не очень обидно. Вот только, проиграв, ты не захотел блеять по-козлиному. Почему? А потому, что это уже слишком. Вот и молодец, слушай старших, но и свой ум не теряй.

За окном лютует зима. Метельный снег гуляет в воздухе.

В Минске закончилась международная книжная ярмарка. На ней было представлено и пять книжек твоего деда: «Янков венок», «Свитязянская русалка», «Мелодия души», «Поклонись травинке», «Приключения Нолика».

А ты целый день р-радовался, дар-рил мне тр-рудный звук р-р. Ты заметно подрос, умеешь считать до десяти. Тебе купили игрушечное охотничье ружье.

Видишь, сколько радости, новостей, надежд у нас с тобой. Почему бы и не побыть веселыми «козлами»? Давай пободаемся на прощание. А для размышления задаю тебе свеженькую загадку: «На двух ногах, без бороды, ни мекает, ни бекает, а «козел».

Отгадку ищи в конце этого письма.

Твой дедушка, игрок в домино.

14.02.2010 г.

Мартовские «узелки»:

— Кем хочешь стать?

— Пожарником... Трактористом... Дворником...

— Что ты будешь делать, если случится пожар?

— Пойду в магазин, куплю машину и поеду тушить.

Перед этим интервью мы вырезали из бумаги узоры. Набралось мусора. Говорю:

— Дворник, можешь вывезти весь этот груз?

— Могу, — ответил ты. — Загудел как машина и побежал с газетным кульком к мусорке.

Хорошо, если рядом мастер на все руки.

Нарисовал новую картину: красные линии, загогульки, кружочки... Внизу человечек с редкими волосами, большими ушами и короткими ногами-лапами.

Говоришь, что это твой дед Володя. Прошу:

— Подпиши рисунок.

Ты вслух повторяешь каждую букву и выписываешь их своим, известным только тебе алфавитом. Вместо «д» — овал, «з» — прямоугольник, «у» — змеиный зигзаг... Вот какой ты у нас загадочный грамотей!

* * *

Решили собраться за пасхальным столом в родительском доме. Созваниваемся.

Ты, Толян, радуешься больше всех. Звонишь Игорю, своему дяде, а моему сыну.

— Игорь, приедешь к дедушке?

— А как же?

— Подарок мне привезешь?

Не знаю, что ответил Игорь, но твое резюме запомнил:

— Так что, только поесть приедешь?

И поехал Игорь в универмаг. Как же встретиться с Толиком без новой машины?

* * *

— Толик, когда вырастешь, будешь жениться?

— А я уже женат.

— Как это?.. С кем?

— С мамой моей!..

31.03.2010 г.

— Де-ду-шка-а!.. — кричишь ты со сцены филармонии.

Сердце мое громко стучит в конце зала. Кажется, голос твой поднялся над миром, звучит на всю Беларусь.

Меня выхватывает, освещает прожектор.

— Я тут! — отзываюсь на твой зов.

Иду к тебе, Толянчик. Звучит мое обращение к «солнечному мальчику, моему славному внуку». Мы встречаемся на сцене, искренне обнимаемся.

Так начался мой творческий юбилейный вечер. Начался встречей, выступлением артистов детского садика «Фонарик». Пел и ты мою песню, исполняя роль собачки:

Гав, гав, гав, прибежи,
На злую муху побреши...

Ох, Толик, было на моем вечере и слезно, когда артисты Мария Захаревич, Валерий Анисенко читали страницы из «Мамы» и «Отца». Было и смешно — хохот стоял, — когда на сцену вывалили живые автюковцы, а Толя Зэков прочитал пародию на меня; когда детский театр «Летуценнікі» с Любанщины показывал мои рассказы.

Меня, внук, завалили цветами, подарками, похвалами. И я, признаюсь, светился радостью. У меня столько хороших друзей. А в зале — ты, бабушка Нина, мама Марина, папа Леня, мой сын Игорь с Таней и Антоном.

На сцене тебя сменила Маша. Вместе с «Радимичами» исполнила корейскую песню.

Кажется, все поняли мою душу: и заместитель министра культуры Тадеуш Стружецкий, и писатели, и певцы Надежда Микулич, Иван Краснодубский, Иван Буслай...

Чувствовал общую любовь и уважение ко мне, к моему творчеству. Толик, дорогой, пойми, это и есть самое желанное богатство на Земле.

Мне — семьдесят лет. Я прожил на свете 25 550 дней. И мне хочется свое земное мгновение рассекретить в романе «Телец», хочу, чтобы в нем было как в жизни: горько и смешно, запутанно, закономерно, случайно. А над всем этим — Его Воля.

На том вечере, который продолжался три с половиной часа, я чувствовал себя спокойно и свободно. Почему? Да потому, что знал: я никому ничего не должен, у меня нет долгов, совесть моя чиста...

Твой на веки вечные.

14.05.2010 г.

Мой летний, зеленый внучек Толя!

Сегодня тебе пять лет.

Солнце взошло рано, в 4 часа и 43 минуты. Я не проспал восход твоего дня. Небо словно вычищенное, вымытое, чистенькое. Но вдруг его голубизна начала блекнуть от света. И на трон стало садиться его величество Солнце.

Через четыре часа, когда день вошел в силу, услышал твой голос по телефону:

— Дедушка, у меня компьютер есть! Встретимся, дам и тебе нажать на зеленую кнопочку!

— Поздравляю с юбилеем! — возвращаю тебя к главному событию дня.

— Ага, у меня день рождения. А ты что мне подаришь?

— Пока секрет.

— Не забудь взять секрет, когда будешь ехать, — советуешь ты и заканчиваешь разговор. — Все, дедушка, мне пора идти в сад.

Отрапортовал, как солдат, дескать, извини, с тобой интересно говорить, но труба зовет.

День был рабочий, пятница, и мы замотались на работе, не встретились. Зато два выходных были наши.

На зеленом лужке возле оранжевого домика собрались все твои близкие люди: мама Марина, папа Леня, дед Володя, бабушки Нина и Валя, дядя Игорь. Были и друзья твоих родителей Алла и Дима, и с ними их доченька Маришка — твоя ровесница. И ты всем хвалился: «А у меня Маришка есть!»

Мне показалось, что ты впервые так откровенно радовался девочке. Вы залезали в твой домик и разыгрывали сказку «Теремок». Меня использовали в качестве медведя.

Вы по-братски делились конфетами и не жалели друг другу любимых игрушек.

Над дачными домиками звучали ваши звонкие голоса. То и дело слышались ласковые имена: «Толик!» «Маришка!» Может быть, это и есть тот нулевой отсчет чувств, которые соединяют людей разного пола и выводят на мучительный путь любви. Может, с пяти лет это и начинается?

А ты, мой юбилярчик, был счастлив в тот день от всего: от подарков, от внимания взрослых, угощений. Купался в нашей общей доброте. Роскошный выдался денек!

Видел, как ты, именинник, вечером тихо-мирно уснул. Одна ручка лежала под щекой. Твою подушку охраняли счастливые родители. Пусть бы так было и каждый будний день!

Твой дедушка Владимир Липский.

03.07.2010 г.

Год шестой

Шестая верста

Милый внучек!

Вот ты уже и на шестой версте земного бытия. В шестой раз полетела наша планета, на которой мы с тобой шикуем, вокруг солнца. Что ожидает тебя и меня в этом путешествии? Чем особенным, примечательным станет этот год для нашей семьи, для всей Беларуси?

А сегодня мы гуляем с тобой у синеокой, ласковой Нарочи. Жарко. Твое внимание привлекают крикливые чайки, стайки мальков у берега, музыка фонтанов у спального корпуса.

Вдруг ты говоришь мне:

— Дедушка, когда ты был маленьким, как тебя звали?

— Вова... Володька...

— Теперь ты — дедушка. И я люблю тебя!..

Ты тронул меня за живое, и я спросил:

— А ты хотел бы стать дедушкой?

— Не хочу!

— Почему?

— Ты у меня дедушка. А я не хочу стареть.

Верно, Толик, не слишком веселая штука — старость. Никто ее не хочет. А она как слепень цепляется к каждому, старается побольнее ужалить.

Старость проявляется во всем.

Вот ты пробежал по тропинке и радостно закричал, увидев стрекозу, погнался за ней. Неподалеку сидел на скамейке дядька и вытаращился, злобно проговорил:

— Скажите своему, чтоб не кричал. Я здесь отдыхаю. И мне дети до фени...

Лицо загорелое, цвета красного кирпича. Плечи, живот, руки и ноги, ну, копия, — паук. В его «паутину» попал ты и твой голос, твоя радость, твой душевный полет.

«Паук» держал в руках какую-то книгу. Хотелось сказать: «Тебе, дядька, противопоказано чтение, ты глядишь в книгу, а видишь фигу...»

Я терпеливо промолчал, не ответил обидчику. Верю: тех, кто обижает детей, судит сам Бог. Рано или поздно, но почувствуют они Божий гнев.

Будем брать пример с Нарочи, которая терпеливо предлагает живительные дары всем паломникам: старым и молодым, злым и добрым.

Твой дедушка, влюбленный в Нарочь.

25.07.2010 г.

Собирались с тобой на санаторную дискотеку. Мы уже были там пару раз, и публика нас приметила. Но в этот раз у меня пропал интерес к ней, была иная забота. И ты вдруг заявил:

— Я вас не люблю...

— Шутишь?

Из телевизора набрался таких штучек или так проявился характер?

Загадок больше, чем отгадок.

Они и для тебя, и для нас, взрослых.

Наберемся терпения и выдержки для любых испытаний.

03.08.2010 г.

Полистали с тобой мою книжку «Королева белых принцесс». Сперва «прочитали» рисунки. Ты, вижу, заинтересовался. Больше всего тебя заинтересовали рассказы про Игоря, Марину, Машу, Антона.

— А про меня напишешь?

— Уже пишу, Толик.

Ты подумал и попросил:

— Напиши, дедушка, как нам хорошо на Нарочи.

— Обязательно, Толик!

В последний день нашего отдыха в «Соснах» мы подошли к санаторному аквариуму. В нем пять золотистых рыбок. Плавают, помахивают хвостиками-веерами.

— Толик, — говорю, — а если бы ты поймал в Нарочи Золотую рыбку, которая может исполнять любые желания, что бы ты попросил у нее?

Задумался.

— Я бы попросил новую машинку... Попросил бы «Скорую помощь». Ездил бы на ней и помогал больным... А еще попросил бы самолет. Хочу слетать в Африку и посмотреть, как прыгают по деревьям обезьяны.

Буду и дальше теребить тебя вопросом: «Что бы ты попросил у Золотой рыбки»? Интересно, как будут меняться с годами твои желания.

Твой дедушка.

13.08.2010 г.

— Дедушка, сегодня у меня клевый день.

— Почему?

— А потому что на небе солнышко, над цирком цветные огни, а я с тобой гуляю.

Как же ты порадовал меня таким признанием. Если б не слышал своими ушами, не поверил бы, что в пять лет и пять месяцев можно так сказать. Пусть твои шарики умно вертятся и впредь.

Дедушка.

2.10.2010 г.

Ты веришь в Деда Мороза, и я тебе завидую. Ты играешь с зеленым трехвагонным трамваем, и мне хочется играть с тобой. Возьми меня хотя бы кондуктором или смазчиком колес.

Но ты предлагаешь:

— Будь светофором.

Вот здорово, на зеленый свет буду пропускать своего друга, что в первый день нового года катается на зеленом трамвае.

За окном — метель. Снежным одеялом накрыт парк, купол цирка, наша улица. Даже на главном проспекте мало машин, людей. Все отдыхают от всенощной еды, питья, телевизионных кривляний. Скоро люди разучатся задушевно говорить друг с другом, петь песни.

Прошу тебя, моего ловкого трамвайщика, спеть. И ты, слава богу, останавливаешь трамвай, смотришь на меня ясными глазами и предлагаешь:

— Слушай, дедушка, мы эту песню в «Фонарике» пели:

Рып-рып — пад нагой,
Рыа-рып — пад другой.
Ці сняжок крычыць ад болю,
Ці жартуе ён са мною.

— Ой, спасибочки, — говорю тебе взволнованно.

— Не «спасибочки», а «дзякуй», — поправляешь меня.

Как я счастлив от твоего замечания! Ты впускаешь глубоко в душу белорусские слова, которым я учу тебя. Они нравятся тебе!

За окнами танцуют крупные снежинки. Играют, мечутся туда-сюда и направляют свои парашютики к земле. Все мы, земляне, заземлены на земле белорусской. Она наш магнит, наша кормительница, наша краса и источник силы. Будем ее беречь, Толик!

Ты подгоняешь ко мне зеленый трамвай, подарок Деда Мороза, и я, светофорщик, даю тебе зеленый свет. Поезжай, лети по своему земному маршруту. И пусть тебе будет хорошо и весело всегда!

1.01.2011 г.

— Толик, тебе нравятся девочки?

— Нравятся, — ответил немного удивленно, будто я задал глупый вопрос.

— А среди них есть одна, которую ты любишь?

— Есть. Дашей зовут.

— И что тебе в ней нравится?

— Куртка розовая. Шарфик цветной. Глаза красивые...

Ты говорил о своей подружке спокойно, без эмоций. Немного помолчал и добавил:

— А в нашем доме — моя подружка Маришка.

— А с ней почему дружишь?

— Дает свои игрушки.

Поговорили, и ты побежал строить крепость, а я почему-то погрузился в воспоминания: когда я впервые впустил в душу девичью магию?

Помню сквозь туман времени эпизоды военных лет: черный самолет над нашей хатой, болотную купину, на которой мы, мокрые, дрожали, потому что деревню сожгли каратели. Помню лесные землянки, полные воды, и сладковатый вкус подмерзшей картошки...

А о том, что есть в Шелковичах девочка-кудесница, как спелая черничка, узнал только в седьмом классе. Звали ее Сентябрина. Небольшого росточка, как и я. Курносенькая. Кудряшки над ушами. А улыбалась, как будто на лице вспыхивал солнечный зайчик. С мыслями о ней ложился спать и просыпался. Хотелось видеть ее, быть с ней, но все это таил глубоко в душе. Не дай бог узнают о моей тайне друзья, родители, учителя.

Вот будет стыд! Хлопцы станут дразниться: «Тили-тили-тесто, жених и невеста...»

Вот как, Толян, было со мной. А ты запросто рассказал о своих девченках. Молодцы они, знают, чем разжечь твои чувства: новыми игрушками, розовой курткой, цветным шарфиком, красивыми глазками...

Вот бы услышать, что ты расскажешь о девчатах через десять лет.

Твой мечтатель.

22.01.2011 г.

Толик мой ясноглазый!

Ты любишь играть в «метро». Очень четко объявляешь станции:

— Остановка «Плошча Кастрычніцкая»! — ты пшикаешь, подражая вагонной пневматике, и как бы открываешь двери: — Пассажир, выходите...

Ох, Толик!

Сегодня произошла совсем иная игра. Сегодня на этой станции произошел взрыв. Есть жертвы: погибшие и раненые. Больше полутора сотен человек. А я, мой мальчик, два раза прохожу по этой станции, когда еду в «Вясёлку» и обратно.

Мы с тобой не раз бывали там. А то, что случилось сегодня, может повториться в любое время. Так что, больше нам не кататься в подземке? А теперь давай серьезно подумаем: для чего этот кто-то заложил взрывчатку, кто он? Хотел крови невинных? Тогда он сумасшедший. Хотел напугать людей? Так пугать надо тех, кто в чем-то виноват. И они, виноватые, наказаны уже тем, что им снятся страшные сны. Грешников карает сам Бог. В это я верю. Поэтому и живу так, чтобы чистой была совесть перед самим собой, перед тобой, перед Божьей природой и землей, которая зовется Отечеством.

Чем же заменить игру в «метро»?

Давай-ка полистаем альбом «Зямля пад белымі крыламі». Вглядимся в фотоснимки и порадуемся красоте нашей земельки. Верю, тот, кто ценит красоту, никогда не нанесет болезненной раны ближнему. А тем, кто сегодня устроил мясорубку на станции метро, пусть приснится гильотина, пусть ночь их окажется бессонной и последней. Я этого им желаю, а у Бога прошу прощения за жестокость.

Толик, милый, молюсь за тебя, мой кристаллик. Пусть никто, ничто и никогда не нарушит твой сон.

Привет в этот тревожный вечер шлю тебе из поезда Минск — Москва. Еду на заседание Международной ассоциации детских фондов. Буду делать доклад о положении детей в Беларуси. Намеревался сказать, что живет в спокойном Минске мальчик Толик, которому я рассказываю веселые сказки. Но сегодня, как видишь, поведал тебе быль-страшилку. Держись!

11 апреля 2011 г.

Часто я слышу от тебя такой каприз:

— Я хочу!

И что сделаешь, иду тебе навстречу, бросаю все и исполняю просьбу.

— Я хочу на рыбалку!

— Хорошо, Толик, пойдем, но сперва помоги мне немного. Я докопаю грядку, а ты на своей тачке вывези сорную траву.

— Хорошо, дедушка.

И через полчаса мы на пруду. Доверяю тебе бамбуковую удочку, цепляю на крючок червяка, учу забрасывать. Ты счастлив, не сводишь с поплавка глаз. А когда вытаскиваешь ротана, тебе хочется рассказать об этом всем, кто на берегу.

Недавно я вычитал в одной серьезной газете, что каждый человек проходит в своей жизни через двенадцать этапов.

У тебя — первый этап, от нуля до семи лет. Чем он характерен?

В тебе бурлит энергия. Ты и такие, как ты, хотят знать обо всем и сразу. Ученые советуют давать вам больше свободы, чтобы вы, шустрики, могли сполна проявить свои способности. Девиз такого возраста: «Я хочу!» А задача взрослых не позволить развиться эгоизму и жестокости.

Так что я правильно поступил, предложив тебе поработать с пользой и тогда уже отправиться на рыбалку.

Вот только когда возвращались домой (ты с ротанами, я с карасями), ты вдруг заявил:

— Дедушка, когда умрешь, я твоей удочкой буду ловить карасей и буду помнить тебя.

Я перевел твои неожиданные слова в шутку, но на сердце опустилась темная тучка. Твоя правда, внук, все останется тебе: и удочки, и музей на чердаке, и бинокль, и книжки. А ты приобрети только самое ценное для души — память.

Вот и психологи говорят, что на твоем, первом этапе жизни важно приучить себя бережно, с уважением относиться к родителям, родственникам, к природе. И воспитывать в себе силу воли. Другого шанса и времени уже не будет.

Я же, Толик, к сожалению, уже на одиннадцатом этапе жизни. Чем он характерен для меня?

Философскими наблюдениями. Осознанием своего Я и мира вокруг. Говорят, если такого понимания нет, начинает развиваться маразм, который и приведет к физическому распаду тела. О, не дай бог такой перспективы!

Хочу, Толик, еще долго-долго быть человеколюбивым. Может, когда-нибудь ты оценишь это, когда на мою удочку в твоих руках будут цепляться большие серебристо-золотые караси.

С поклоном к тебе, твой дедушка.

5.06.2011 г.

Думаем-гадаем, Толян, отправлять тебя в школу или нет.

В сентябре, когда все дети пойдут за знаниями, тебе стукнет шесть лет и два месяца. Некоторые скороспелки, твои ровесники, наденут на худенькие плечики тяжелые ранцы с учебниками и, по воле родителей, как бурлачки, потянутся в школу.

Не хотелось бы подставлять тебя раньше времени под такой груз. Погуляй. Наберись сил. Возмужай.

Есть и еще один довод к тому, что тебе рановато жить в строгом режиме. Мы с трудом представляем, как у тебя хватит терпения высиживать уроки по сорок минут подряд. Ты такой верткий, что перемены тебе нужны каждые пять минут.

Тебя родители не очень принуждали учить и запоминать буквы, цифры. Но, кажется, ты их все знаешь. Можешь назвать дни недели и поры года. Умеешь, как умеешь, рисовать, лепить, копать лопатой, возить груз на тачке, петь и танцевать, рулить машиной и ездить на велосипеде...

Умеешь капризничать и переживать, любить и не любить, забрасывать удочку и спотыкаться на ровном месте, плакать и шутить. Но еще больше такого, чего ты не умеешь. Поэтому твои родители решили, чтобы ты еще годик поработал в садике «Фонарик». Я, дружок, поддержал их. Жаль отдавать тебя в храм знаний, где, кроме всего, дети приобретают сколиоз, теряют зрение, сжигают нервные клетки.

Погуляй, родной, но трать время с умом, потому что через годик набросят на тебя хомутик. Укрепляй мускулы тела, души и сердца. Готовься к великой битве, что называется жизнью.

Я с тобой, Толик.

Так хочется, чтобы ты воспользовался моим опытом.

Твой дедуля-бедуля.

19.06.2011 г.

День за днем, и все ближе к твоему очередному юбилею. Боже мой, тебе исполнится уже шесть лет! Подожди, а помню ли я свои шесть лет?

1946 год, послевоенный.

Кое-как перезимовали. Было холодно и снежно. Белые сугробы аж до окон. Выйдешь из хаты — не пройти ни за хлев, ни на улицу. А может, это я был так мал, что снега запомнились глубокими?

Весной, когда сошел снег, мы ходили по картофлянику, выкапывали подмерзшие клубни, и мама умудрялась печь из них какие-то оладьи.

Отец за бочечку и ушат выменял кусок сала у какого-то богатея, мама пожарила его на черной сковороде, и мы макали хлеб в жир. О, вкуснота!

Курица закудахтала, снесла яйцо, и мама, счастливая, дала мне пощупать его, тепленькое, сказала:

— Сейчас угощу тебя яйцом не золотым, а простым, от рябки-курки нашей...

Той весной мне доверили пасти корову. Она почему-то не слушалась меня, лезла в чужие огороды. Я бегал за ней, устал, а мама меня похвалила, когда вернулся домой:

— Спасибо тебе, пастушок. Вот и дождались подмоги...

Я понял, что уже вырос.

Летом у меня были такие забавы: в лесу грибы, ягоды, птичьи гнезда, а в огороде сорняки — рви, помогай маме. А вечером над Шелковичами зажигались звезды, всходила луна. И я думал, что только для нашей деревни сияет небо.

Весело было в Шелковичах!

А мы с тобой и Машей собираемся искать удовольствий на Нарочи, в «Соснах». Берем с собой удочки, хорошее настроение, будем наслаждаться уголком чудесной природы.

Я в детстве все лето проводил среди живой природы. А теперь мы едем туда только на две недели. За большие деньги. Когда-нибудь поймешь, о чем я пишу в этом письме. Ты, внучек, только частичка природы, и должен жить в гармонии с тем миром, который сотворил Бог!

Едем на Нарочь! Это мой подарок тебе на шестые твои именины. Пусть запомнится каждый миг у чудесного озера. Пусть зацепится на твой крючок Золотая рыбка. И пусть захочется тебе попросить у нее долголетия для всех нас. В слово «долголетие» я вкладываю не только долгие годы жизни в этом мире, но и крепкую память о каждом. Давай жить так, чтобы о нас осталась добрая память!

30.06.2011 г.

Год седьмой

Перед школой

В библиотеке ты облюбовал мою книжку «Наша Маша». Принес в комнату, просишь:

— Почитай.

Толик, золотой! Как же ты порадовал меня, писателя. От твоей просьбы в моей душе звучит музыка.

Усаживаемся в кресла. Я начинаю читать и вижу, чувствую, что тебя очень заинтересовало, как Маша впервые произнесла слово «мама», как каталась на конике-понике и как она однажды испугалась лягушки.

— Может, хватит? — спрашиваю. — Дочитаем в другой раз.

— Читай! — настойчиво просишь ты.

И я с радостью перечитываю то, что написал когда-то.

Какая радость, предлагать своему дорогому читателю страницы своей книги. А главное, видеть, как он, будто чистый воздух, глотает твои слова.

«Нашу Машу» мы читали не торопясь. Ты просил перечитывать некоторые рассказы, и я делал это с удовольствием. И тем самым мы как бы подключались к республиканской акции «Читаем вместе, читаем по-белорусски». И ты по собственному желанию поддержал меня. Так низкий тебе поклон за это!

Твой верный летописец.

14.07.2011 г.

— Толик, что такое любовь?

Я имел ввиду и любовь ко всем, ко всему, и любовь как интимное, загадочное чувство.

Ты приостановился, смотришь на меня удивленно и тут же выдаешь ответ, будто давно носил в себе.

— Дедушка, любовь — это же кино.

Я оторопел.

Устами мальчишки говорила истина: любовь — это кино, с завязкой, апогеем, развязкой. Порой односерийное, порой — сериал.

Всем хочется любви, как в кино, романе, поэме. А в жизни она у каждого своя — будничная и возвышенная, сладкая и мучительная, гладкая и шершавая. И — вечная! Как вечна жизнь людей на Земле!

Толик, ты — философ.

Произнес свой афоризм и катаешься себе на велосипеде. А я сижу на скамейке среди цветов и размышляю о любви.

Твой влюбленный в жизнь дедушка.

15.08.2011 г.

Вот, Толик, мы и догулялись, допрыгались, докатились до беды.

На даче ты был моим верным помощником, как и осеннее солнце, которое согревало нас, помогало в работе.

Мы пересаживали с тобой абрикосы с одного места на другое. Говорят, надо пять раз менять им прописку, чтобы не дичали. Лопатами, я — большой, ты — маленькой, выкапывали ямы для деревцев, возили в них компост из цементированной ямы. Возили на тачке с широкими колесами и пластмассовым коробом. В один порожний рейс ты залез в короб: чего гонять «машину» пустой? Я дал газу, фыркнул, как тяжело груженый самосвал, и покатил тебя по дороге. Тачка мягко подпрыгивала по травянистой дорожке, ты заливисто смеялся, радовался такому необычному рейсу. Подъехали к водопроводной трубе, что немного возвышалась над травой, начали преодолевать препятствие.

Вдруг одно колесо вскочило на трубу, а второе не успело. Короб наклонился, и ты вместе с ним упал на скошенную траву.

Боже милостивый! Я подхватил тебя, а ты — тихо, сдержанно заплакал. Стал показывать на плечо.

Мужественный мой мальчик, ты по-мужски перенес аварию на нашем пути. Скоро перестал плакать. Мы поймали осеннюю стрекозу, мы с аппетитом ели драники. В хорошем настроении красили скамейку для летней столовой. Но время от времени ты показывал на плечо и признавался: «Болит».

Боже, никто из нас и предположить не мог, что у тебя перелом ключицы. Этот приговор медики вынесли только в понедельник.

Толик, Толян, душа моя рыдает. Не уберег тебя. Прости, дружок, если можешь. Простите, Марина, Леня. Я, старый воробей, устроил такую беду. Плачу, тоскую. Корю себя. Нечем мне оправдаться. Разве только тем, что я никогда не умел водить машину, не имею к этому охоты и навыков. Вот и не справился даже с огородной тачкой на двух колесах.

Тебе, Толик, папа уже доверяет руль своего автомобиля, и ты везешь нас по полевой дороге от шоссе к даче. Ты сидишь на папиных коленях, рулишь, и глаза твои блестят и светятся космическим светом.

Некоторое время ты, Толик, не сможешь управлять папиным автомобилем. Прости, прости, Толик, за мой бестолковый рейс. Еще раз я намотал на ус житейскую мудрость: живи и помни, взрослый человек, вокруг тебя дети, они очень нежные, хрупкие существа. Ты за них в ответе! И сегодня, и завтра, и в каждое мгновение твоего земного пути.

В эту минуту, Толик, я плачу.

Пусть же мои соленые слезы успокоят тебя и помогут поверить, что все будет хорошо. Твоя жизнь — впереди!

Твой дед солопека, на тачке ездить неумека.

3.10.2011 г.

Мальчик мой!

Твоей сестричке Маше — семнадцать лет. А кажется, только вчера она начала ходить, говорить, только вчера пошла в школу, а вот уже штурмует одиннадцатый класс.

И ты растешь быстро. Уже точно знаешь: пройдет осень, наступит зима, за ней весна, лето, а там уже тебе в школу.

— Хочешь учиться? — спрашиваю.

— Ага, на машиниста метро.

Ты как бы пропускаешь все школьные классы, «Букварь» и таблицу умножения. Тебе сразу давай профессию машиниста.

Ты уже правишь отцовской машиной. Так что к твоей мечте один шаг.

Леня доверяет тебе ключи от машины, и лучшей забавы на даче нет, как открывать двери авто, садиться на водительское сиденье, держаться за баранку и воображать, что ты шофер.

Мой дорогой шофер, машинист метро, хочу дождаться, когда ты без отцовской помощи завезешь меня на дачу, по грибы, на рыбалку. А еще я попросил бы тебя заглянуть в мои Шелковичи. Душа моя там и днюет, и ночует. Были бы деньги — построил бы роскошный коттедж. А вот, нате вам, на зло всем, кто привел к гибели, к умиранию мою родную деревню.

Работничек мой, всем помогаешь. Хочется тебе всюду всунуть свой курносый нос. Глаза твои ясные все замечают, оценивают. Но пока тебе нужно сдерживать энергию. Плечики твои все еще соединены марлевой повязкой, и руки как бы свисают. Но это не мешает тебе, непоседе, играть с машинками, собирать со мной опавшие листья, жечь костер, выгонять из кухни ос.

Видишь, Толян, начинаются твои жизненные испытания. Брали у тебя когда-то анализ крови — ты не вздрогнул. Пломбировали зуб — выдержал. Сломал ключицу — считай, не плакал. Терпеливый мой мужичок, это и есть закалка характера. Жернова земного бытия вовлекли тебя в свою круговерть. Будь готов к жестокости, битвам, сжиганию нервов. А пока что купайся в любви, что дарят тебе самые близкие, родные люди.

Ты, словно услышав мои размышления, подбежал, прислонился:

— Дедушка, я тебя люблю... Буду любить всегда.

Растроганный таким признанием, спрашиваю:

— А за что ты меня любишь?

Задумался. Затем ответил:

— А помнишь, мы ходили с тобой в парк? Ты тогда купил мне автобусики...

— Еще за что любишь?

— Потому что ты взял меня на Нарочь, и мы там ловили плоток.

— Еще?

— Ты играешь со мной в шашки. Не заставляешь есть и спать днем...

— А я, Толик, ждал, что ты любишь меня за что-то другое.

— За что?

— Не скажу. Вырастешь, поймешь.

А пока — бывай.

Твой дед-добродей.

13.10.2011 г.

Мой уважаемый доктор!

Есть фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это комедийная игра для взрослых. А мы с тобой освоили новую: ты — доктор.

Я стал рассказывать, какие бывают специальности у докторов. И вдруг ты оживился:

— О, дедушка, я буду доктором по зубам. Я уже два моих молочника вырвал...

Но скоро ты склонился к хлопотам терапевта. Он первым приходит на помощь к человеку. Вот и фонендоскоп нашелся в нашей квартире! Без него терапевту никак.

Первый пациент у доктора, конечно, я.

— Подымите, Владимир Степанович, майку, будем слушать ваше сердце, — приказываешь мне.

Приставляешь к моей груди прибор. Глаза твои сразу расширились, забегали, почти кричишь:

— Слышу!.. Стучит!..

Но лицо твое сразу же посерьезнело. Взял листок бумаги, черкнул на ней рецепт. Объясняешь:

— Вам, Владимир Степанович, нужно до обеда съедать два яблока. Неделю не пить кофе. Месяц не пить вина. Каждый день делать зарядку.

Подписался под рецептом — «Толя». С полной серьезностью произнес:

— Будьте здоровы, Владимир Степанович. Пойду уже. Меня ожидают другие больные.

Через минуту слышу из зала твой голос:

— А доктора покрывала не подают!

Это ты отбрил Машу, обратившейся к тебе с неподходящей для доктора просьбой.

Послушал бабу Нину, приходишь ко мне и жалуешься:

— А почему женщины не поднимают майки?

— Спроси маму, она все знает, — уклонился я от ответа, а про себя заметил: растет, поднимается мальчик, границы интересов с каждым днем становятся все менее предсказуемыми. Держитесь, дорогие воспитатели!

На этом заканчиваю письмо к тебе, чтобы не напороться на новый неожиданный вопрос.

28.12.2011 г.

Анатоль!

Участвовал в передаче общенационального телевидения (ОНТ). Вел передачу известный киноактер, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Человек-эпоха, мужик от земли.

С его разрешения я пригласил из царства небесного на торжество моих святых Мать и Отца. Прочитал о них несколько строк из своих повестей. Услышал от самого Владимира Васильевича восклицание — браво! И я, Толян, снова поверил, что слова, сказанные от души, — наивысшая награда.

А тебе вот что посоветую. Живи так, чтобы каждый день кто-то за что-то говорил тебе спасибо. А если через годы таких благодарностей наберется целый мешок, то его обязательно развяжут. И захочется какому-нибудь доброму и прозорливому человеку «переплавить» полученные тобой «спасибо» в признание: статуэтку или орден, почетное звание или премию.

Однако ты, Толик, никогда-никогда не думай о наградах, не жди их, не требуй. Твоя задача жить так, чтобы ты сам был удовлетворен каждым днем, чтобы благодарили тебя простыми человеческими словами свояки и соседи, знакомые и незнакомые люди.

Как сегодня.

Ты приехал к нам с синим детским шуфелем. Шли от метро мимо танка, освободителя Минска, и ты время от времени очищал ступеньки. Взглянул на верхушки каштанов. Увидел гнезда ворон, занесенные снегом, посочувствовал им:

— Вот бы туда забраться, я бы и там убрал снег...

Дома играли в доктора. Поработали электриками, уборщиками, побыли художниками, читателями. Ты трогал рукой мою награду — хрустальную статуэтку и говорил:

— Красивая!.. Вот бы мне такую!

Спасибо, Анатоль Леонидович, что все тебе интересно и нужно.

Твой дедушка.

29.01.2012 г.

Мой неподражаемый артист, Толик!

Ты — на сцене большого зала Национальной библиотеки Беларуси. Я — в зале среди высокого начальства. Среди друзей-писателей и читателей «Вясёлки», съехавшихся из всех областей нашей республики.

Ваш «Фонарик» поет песню о «Вясёлке», поздравляет любимую юбилярку — журналу 55 лет. Ты — запевала, ты артист, чтец, хорист. Вдруг ты поднимаешь руку и машешь. Это мне знак, это мне особенное внимание и уважение. Сердце мое радостно встрепенулось от столь неожиданного подарка.

Этот день — один из самых замечательных в моей жизни. «Вясёлку», которой я служу тридцать четвертый год, поздравили Президент, Совет Министров, министры образования, культуры, информации и сам владыка Филарет. На сцене было много артистов — и взрослых, и юных. Все они — наши друзья.

Толик, как же хорошо чувствуешь себя, если ты нужен кому-то, если ты полезен, если ты кому-то интересен. Сегодня у меня праздник души. И начался он с твоего поздравления со сцены. Знай, только настоящий друг радуется, если тебе хорошо, и тревожится, если тебе плохо. Ты — настоящий, мой дорогой «фонарик»!

Природа безумствует от весны.

«Вясёлка» отмечает звездный год.

А мы с тобой в этом чудесном хороводе крепим дружбу.

Так почему же не признать, что у небесной вясёлки-радуги семь цветов, а у нашей, земной — пятьдесят пять. И мы с тобой их подсчитали. Знайте, какая «Вясёлка» у белорусских деток: содержательная, скромная, мудрая, веселая, всезнающая, загадочная, улыбчивая, серьезная, историческая, сказочная, поэтическая, дружеская, белорусская, словолюбивая, театральная, познавательная, захватывающая, товарищеская, фантастическая, душевная, юбилейная и т. д. и т. д...

Толик, пусть «Вясёлка» будет в наследство тебе, твоим детям и внукам!

Твой Вясёлковец.

17.04.2012 г.

В китайском лимоннике поселилась Жизнь. Она прилетела из Африки. Не знаю, через какие страны она отмахала крыльями, где отдыхала, чем кормилась. Наш густой лимонник она выбрала для строительства собственного дворца. Между деревянных перекладин устроила гнездышко. Выстлала дно паутинками волос, нитками стебельков, перышками листьев.

Уютный получился домик!

На радостях Жизнь взлетела на верхушку яблони и прощебетала в космос: «Я жив-живу!»

В последующие дни Жизнь положила пять голубых яичек и послала сигнал в космос, чтобы он оберегал их от молнии, дождя, вороны, кошки, человека.

Яйца были небесной, майской голубизны, и Жизнь терпеливо согревала их. И день сидела на них, и два, и неделю...

А когда мама подсадила Толика, чтобы заглянул в гнездышко, он не удержался от восклицания:

— Там — желторотики!.. Детки голые!.. Мама, я их видел!..

Детки повидались, сообразились. Они и есть жизнь мира. Их сегодняшний день становится нашим завтрашним.

Живи, Жизнь!

В лимоннике и на деревьях. В хатках и дворцах. В юртах и норах...

Живи, Жизнь на Земле!

Иначе кто будет наслаждаться Млечным Путем?

Для кого будет жать небо лунный серп?

Кому понадобится Африка и китайский лимонник под Минском?

Толик, милый!

Не спотыкайся без причины. Не разбивай об асфальт коленки и локти. Не хнычь, когда тебя кормят курятиной с молодой картошкой. Не отказывайся поспать днем.

Толик!

Выдержи все испытания, которые приготовила тебе судьба.

Ты — Жизнь!

Живи!

Твой дед-добродей, что выбился в люди из лаптей.

19.05.2012 г.

Анатоль!

Вот ты и отмахал детство в объеме семилетки.

Идем с удочками к своему, считай, домашнему пруду. Я вполне серьезно спрашиваю:

— Что ты попросишь у Золотой рыбки, если поймаем?

Ты с верой, что такое может случиться, бросаешь на траву удочку и начинаешь лихорадочно думать.

— Помни, она может исполнить только три твоих желания.

— Я попросил бы, чтобы помогла мне учиться на десятки.

Я обрадован. И думаю, не для моего удовольствия ты озвучил свою просьбу. Хочется верить, что всерьез подходишь к своей школьной жизни.

— Ну, а вторая просьба?

— Вторая такая... Пусть Золотая рыбка сделает так, чтобы после школы я поступил учиться на машиниста.

Я и это твое желание одобряю. Хочется парню рулить. Что ж, неплохо.

Радуюсь тому, что первые семь лет оказались для тебя успешными. Пошел в жизнь крепкий росток.

Третье твое желание оказалось самым неожиданным.

— Хочу, Золотая рыбка, чтобы у меня был зеленый квадроцикл. С педалями и батарейками. Я бы на нем ездил в школу!

Бог мой! На машине в первый класс. А еще — с компьютером, космическим телефоном, калькулятором, футбольным мячом, грушей и боксерскими перчатками.

Вот экипировка ученика начальной школы!

Мне стало ясно: ты хочешь в школу и уже волнуешься.
Мы забрасываем удочки.
Я вытаскиваю крупного серебристого карася.
Ты подкарауливаешь верткого, жадного ротана.
А вот Золотую рыбку не поймали.
Но в твоих будущих днях много возможностей подцепить желанную удачу.
Надейся, верь и жди!
Смело иди навстречу всему, что подготовлено тебе.
Помни, никогда не забывай тех, кто семь лет был рядом с тобой.
Пусть сам Бог помогает тебе в океане жизненных волн!

Твой Владимир Липский.

02.07.2012 г.

Перевод с белорусского Олега ЖДАНА.



ЗМИТРОК МОРОЗОВ

Таинство

* * *

Сад забытый. Ветвей паутина.
Ни души...
Хоть бы кто-то забрел.
Каркнет вечером ворон былинный —
Смачно шлепнется штрифель на дол.
Словно колокол, вздрогнет планета,
Небеса колыхнутся, звеня...
Слезы яблонь — антоны, ранеты...
Тут их некому больше поднять.
«Где ж вы, люди!» — в пространство взываю.
Все напрасно. Ни звука в ответ.
На антоновку я наступаю,
Как на мину...
Меня больше нет.

* * *

Старушка с иконкой
На грязном асфальте...
Родимые люди,
Болезной подайте.
Согнулась без века
Она от работы.
Снуют по проспекту
«фиаты», «тойоты»,
Летят «мерседесы»,
Куда — ей неважно...
Подайте болезной
Хоть рублик бумажный.
С иконки Мария
К прохожим внимает:
Подайте, родные, —
За вас ведь страдает.
...Но время мгновенья
В минуты верстает,
И души пустые,
И миска — пустая.

Таинство
(из цикла триолетов)

1

Кому он нужен, райский сад,
В котором плод не зреет летом?..
Когда в огонь летит планета,
Кому он нужен, райский сад?

Цветут деревья мертвым цветом,
Сочат с ветвей незримый яд...
Кому он нужен, райский сад,
В котором плод не зреет летом?

2

Загадки годовых колец
Я прочитал на пне сосновом —
Но как облечь в людское слово
Загадки годовых колец?

А может, люди не готовы
Открыть таинственный ларец?
Загадки годовых колец
Я прочитал на пне сосновом.

3

От звезд, что на небе горят,
Случается, слепнут поэты...
Теплей не становится лето
От звезд, что на небе горят.

Как душу ни грей триолетом,
Костер горячее стократ...
От звезд, что на небе горят,
Случается, слепнут поэты!

* * *

Не домогаюсь у природы
Спасенья от житейских бед...
Как без неволи нет свободы,
Так без страданий жизни нет.

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.



ЮЗЕФ ИГНАЦЫ КРАШЕВСКИЙ

Последняя из слуцких князей. Хроника времен Сигизмунда III

Повесть

Назавтра лишь только начало смеркаться, Тамила принес Янушу новый наряд. Гордый юноша с отвращением смотрел на лохмотья.

— Вот бы, наверное, смеялись мои враги, — бормотал он, — если бы увидели меня в этой хламиде. Но можно смело поспорить, что не с их умом догадаться!

Князь надел грязное платье, на свои черные волосы накинул платок, черную бородку также прикрыл куском какой-то залатанной ткани. Потом Тамила подал ему палку и научил, как надо идти, как горбиться, каким голосом говорить. Еще раз повторил советы, как лучше прокрасться в комнату княжны:

— В такую пору она всегда одна в своей комнате, потому что пани экономка молится вместе с женщинами. А София молится отдельно и в другое время, потому что она православной веры. Вы знаете, где дверь комнаты княжны, но наберитесь терпения и помолитесь перед ней, не идите, пока не убедитесь, что в коридоре никого нет. Комната экономки здесь же, сбоку. Поэтому не советую говорить громко. Страж у ворот не любит пускать нищих во дворец. Меня он всегда без жалости прогонял. Вам нужно улучить момент и протиснуться через дверь тогда, когда он засмотрится и не будет вас видеть. И не задерживайтесь там долго, а когда пойдете назад, попросите княжну, чтобы она приказала слуге проводить вас к воротам, иначе вас могут обыскать, опасаясь, что нищая что-нибудь украла. И все может раскрыться.

Когда Тамила кончил, князь уже нацепил торбу, подвесил к поясу горшочек для подаяний и пошел к двери.

— Подождите, пане, — крикнул Тамила, — сначала нужно поглядеть, нет ли кого во дворе, а то еще попадется кто-нибудь на глаза, да и узнает вас в этом отрепье.

Он выбежал, посмотрел, вернулся.

— Теперь идите, пане, и дай вам Бог счастья!

Князь выскользнул из комнаты и сбежал по лестнице. Тамила глянул ему вслед, догнал и дал еще один совет:

— Ради всего святого, пане, не идите так быстро, да еще выпрямившись! Так все узнают, что вы не тот, за кого выдаете себя. Идти нужно медленно, сгорбившись, опустив глаза и голову.

Князь Януш так и сделал. Он вышел на улицу. Но тут же обо всем забыл и пошел быстрее. Когда его зацепил кто-то из прохожих, он чуть не выдал себя, заметив осуждающий взгляд, но своевременно опомнился и побрел ко дворцу Ходкевичей медленно, смиренно.

На улице быстро темнело, сторож вновь повторял молитву «Ангел Божий». В окне бледно светилось лицо княжны. Мнимая нищенка подняла глаза вверх

Окончание. Начало в № 11, 2013 г.

и двинулась к воротам. Страж был занят молитвой и не заметил, как скрипнули ворота и князь проскользнул во двор. Там было тихо. Все в доме в это время разошлись по комнатам, никого не было и на лестнице. Князь оглянулся и пошел к хорошо знакомой ему комнате. Его помимо воли охватывала тревога, всякий звук, всякий скрип дверей откликались в нем, заставляя сильнее биться сердце. Он подошел к двери, остановился и начал бормотать что-то под нос, будто молясь.

Постоял минутку, но ему никто не открывал. Он начал молиться громче, заглянул в комнату. Княжна все еще стояла у окна. Чтобы обратить на себя внимание, Януш промолвил:

— Подайте, Христа ради, шелег несчастной.

София стремительно повернулась, оглядела комнату и пошла к дверям.

— Зачем ты пришел? — сказала она, думая, что это Тамила Тамилович. — Уходи! Иди назад, иначе тебя поймают и узнают! Уходи!

Тут Януш открыл свое лицо, которое до этого старательно прикрывал платком. Хотя в комнате уже было сумеречно, княжна узнала, а скорее почувствовала, кто он, закрыла лицо руками и отступила на несколько шагов назад.

— Вот как вы меня встречаете! — тихо проговорил князь Януш.

— Уходи! Уходи! — заговорила София. — За мной следят, выведывают, увидят тебя, и ты натворишь беды себе и мне. Уходи, князь, уходи!

— Я так просто не уйду, — ответил он, — и не за тем я пришел, чтобы уйти ни с чем. Я хочу поговорить с тобой, княжна, потому что твои письма все более тревожат меня. Неужели наши враги так напугали и настроили тебя против нас, что ты отрекаешься от меня?

— Сейчас не время и не место для разговора, — ответила София, — да и некогда объяснять. Я дала слово каштеляну, что не буду видеться с тобой. Уходи, князь, заклинаю тебя, уходи скорей!

— Я не уйду, — ответил Януш, — а останусь здесь, пусть себе Ходкевичи даже прикажут вышвырнуть меня за ворота. Мне нужно поговорить с тобой, София. Я так давно не видел тебя, хочу убедиться, что ты обо мне еще не забыла, не забыла свои прежние обещания.

— О, я все помню! — воскликнула княжна. — Но ради Господа милостивого, ради Святой Троицы, ради всего святого, заклинаю тебя, уходи отсюда, уходи! Узнают тебя, и тогда, ты только подумай, князь, что будут говорить о тебе, обо мне, как только увидят тебя здесь. Тогда быть мне самой разнесчастной, потому что меня заточат в монастыре, окружат стражей, я стану невольницей. Сжалься надо мной, иди, иди отсюда!

Князь не отступался.

— Одно только слово. И я уйду, — сказал он. — Будешь ли ты моей, как раньше была, София, или нет?

— Душой я всегда твоя, — ответила княжна, — но твоей я никогда не буду.

— Как это? Что это значит?

— Я дала клятву и буду верна слову, данному моему дяде, каштеляну, что не буду думать о тебе и надеяться. Не вини меня, князь, не ругай меня, потому что это не моя вина. Это сделали другие, и не ты, князь, а твой отец.

— Мой отец? Тебя, княжна, уже приучили смотреть на нас как на врагов, но в чем же, ради всего святого, виновен мой отец? В том, что напомнил Ходкевичам о данном ими слове, что позвал их в суд, когда не захотели сдержать его? Есть ли большая провинность, чем нежелание держать слово, нарушение обещаний? Они позорно разорвали договор.

— Ничего не говори о них, князь, — упрашивала София, — я не буду этого слушать, потому что я должна их отблагодарить. Уходи! Уходи!

Господь нам поможет. Если так случится, если все придут к соглашению, ты найдешь меня такой, какой я была тогда, когда мы в детстве играли с тобой в Бресте!

При этих словах княжной овладели воспоминания о давних детских годах, она невольно задумалась и умолкла, так живо они встали перед глазами.

— И это все, что ты можешь мне сказать, София?

— Только это я и могу сказать, потому что я не принадлежу себе, не могу сделать то, чего хочу сама, могу только плакать и терпеть. Зачем было сердить их, зачем было доводить до последней грани терпения?

— Не могли же мы унижаться перед ними. Мы! Радзивиллы! — кипятился Януш.

— Разве нельзя было это сделать ради меня?

— Ни для кого, ни за что и никогда!

Княжна отступила несколько шагов назад.

— Иди, — волновалась она, — ты и так стоишь здесь очень долго; сейчас окончится молебен, люди пойдут по коридорам, могут повстречаться с тобой. Иди, иди, Богом прошу!

— Еще одно слово, только слово, — промолвил Януш, — мне так непривычно говорить с тобой украдкой. София, я вынужден добиваться тебя с помощью оружия, войной, знай это! Вспомни о нашем детстве, обо всем прежнем. Когда тебя спросят, хочешь ли ты выйти за меня замуж, ты не промолчишь, не оттолкнешь меня? Я могу надеяться на это? София!

Князь ждал ответа. София молча смотрела на него.

— Недавно меня об этом спрашивал каштелян, он задавал те же вопросы, и я сказала ему, что я твоя, что никогда не отрекусь от тебя, но и пообещала ему, что никогда не буду твоей без его позволения. Он не допустит, чтобы я стала между вами.

— Спасибо тебе за эти слова! — воскликнул Януш. — Ты дала мне новые силы для борьбы за тебя! Если так, то я вынужден настаивать на своем, я добьюсь того, что ты решишь все сама, ты будешь моей! Да, да, — уверил Януш, — будь спокойна, напрасно Ходкевичи упираются, они уступят нам, им не по силам равняться с нами. Если бы даже довелось разрушить весь город и добыть тебя, мы разрушили бы его, превратили в руины, разнесли по кирпичику! Ничего не бойся, София, не теряй надежды, если ты за меня, мы добьемся своего! Ты будешь моей!

Едва князь договорил, как София повернулась и дала ему знак уходить, но тут неожиданно послышался скрип дверей и еле успел князь закрыть лицо, как показалась экономка во всем своем пестром убранстве. Она в удивлении застыла на пороге.

— Что такое? Кто это? Кто посмел сюда войти?

Княжна быстро подбежала к ней.

— Дорогая пани Влодская, не кричите, не ругайте меня. Я хотела передать этой бедной женщине подаяние и позвала ее сюда с улицы. Что в этом плохого?

— Что плохого? — возмутилась экономка. — Да это же неслыханно! Что хорошего в том, что вы якшаетесь с какими-то нищенками? Что сказал бы на это пан каштелян, если бы увидел? Все знают, что все нищенки — воровки.

— Но она же всегда молится в нашей церкви, я несколько раз видела ее там, — ответила княжна.

— Она разносит по городу заразу и болезни, — резко запротестовала экономка, — еще, упаси Господи, и тебя заразит какой-нибудь гадостью! Прочь! Прочь! Я ее проучу, в следующий раз поостережется таскаться по дворцам!

— Ради всего святого, пани Влодская, не делайте этого, не делайте! — закричала княжна. — Это нехорошо, мне будет стыдно, потому что я сама попросила ее зайти, и вы обидите ее, это падет на мою совесть, дорогая пани. Не трогайте ее!

Потом она повернулась к князю:

— Ступай с миром, добрая женщина. Иди, Господь с тобой, чего стоишь?

Князь пошел к дверям, а София схватила экономку за руку и снова начала ее уговаривать. Та пробовала вырваться, хотела позвать слуг, чтобы они сбросили нищенку с лестницы. Тем временем князь сбежал по ступенькам и поспешил к воротам, но неожиданно ему навстречу попалось несколько слуг, которые разговаривали со сторожем. Они преграждали ему путь. Князь хотел протиснуться между ними, но побоялся рисковать, поэтому повернул назад и затаился в темном углу. Тьма уже почти совсем окутала дворец. Слуги поговорили и начали расходиться. Князь Януш подался к воротам, но тут сторож подстерег его и попробовал задержать.

— Ты почему здесь одна? Зачем приходила? Воровка! — закричал он. — Эй! Есть тут кто-нибудь? Тебя нужно задержать и хорошенько отлупить! Как ты сюда попала? Как? — орал сторож, а на его крик уже бежали люди. Князь Януш почувствовал, что может попасться, вырвался от сторожа и побежал к другим воротам, надеясь, что их еще не закрыли. Но они уже были замкнуты и на засове. Оттуда он побежал вдоль стены к конюшне, увидел там какое-то сено, спрятался в нем и затаился.

А сторож все кричал: «Воры! Воры!»

На его крик сбежались люди.

— Что случилось? Где вор? — спрашивали они.

— Вот здесь, здесь он был, я уже поймал его, — кричал сторож, — но он вырвался и побежал вон в ту сторону! Несите фонари! Фонари!

Побежали за фонарями. Все это князь Януш слышал и не знал, что ему делать. Он нащупал под лохмотьями кинжал и в тревоге ожидал, что будет дальше. Во дворце началась суета, его искали. Заглядывали во все углы, открывали двери, исходили весь двор. Голоса приближались и к конюшне, но почему-то искать здесь никому не пришло в голову... Так прошел томительный час. Наконец, сторож запер ворота и сказал:

— Вот наступит день, тогда мы его и найдем. Через стены он не перескочит, если же где и спрятался, то я подкараулю, когда буду утром открывать ворота.

Пока все не разошлись, князь Януш ожидал в сене на конюшне. Наконец все утихло. По времени, по крикам ночных стражей можно было предположить, что приближалась полночь. Князь не задумывался над тем, как ему выйти, потому что у него был с собой ключ из оттиска на воске, который по его приказу изготовил Тамила. Вот только Януш запамятовал, от какой двери тот ключ. Он вышел из конюшни и пошел вдоль стены к двери на улицу Савич, вытащил засов, но ключ не подходил.

Нужно было пробраться через весь двор, чтобы найти другую дверь. К счастью, князь прошел через двор незамеченным. Как только он приблизился к нужной ему двери, нащупывая ее в темноте, услышал, что кто-то идет за ним. Он остановился. Да, кто-то шел, как и он, к этой же двери. А князь тем временем уже отомкнул ее и собирался выйти.

— Кто там? — послышалось из темноты.

Князь Януш вспомнил, каким способом Тамила Тамилович раздобыл этот ключ, и ответил:

— Свой, иду за вином для пана Барбье.

— Что? — воскликнул подошедший мужчина. — И вы? А кто вам дал ключ?

— Кто? А вам какое дело?

— Очень даже такое, — сказал, приблизившись к нему, пан Брожак (это был он), — потому что и у меня есть ключ от этой двери, мне его дал пан Бурчак, и я тоже иду за вином для пана Барбье.

Пока Брожак говорил это, князь уже исчез в темноте и торопливо зашагал в сторону своего дворца. Там у ворот Януша поджидал встревоженный Тамила Тамилович, он беспокоился, почему князя так долго нет. И уже не знал, что делать, боялся гнева воеводы, опасался, как бы тот не прознал обо всем.

— Это вы! — вскричал он. — Слава богу! Я уже несколько часов трясусь от страха.

— Я же говорил, что ты трус, Тамила Тамилович! — откликнулся князь. — Если бы ты побывал на моем месте и в моей шкуре, когда меня пытались поймать как вора, то, небось, помер бы со страху.

— Как вора! — воскликнул Тамила. — И кого — вас!

— Это счастье, что у меня с собой был твой ключ, иначе мне бы там несдобровать! — рассказывал Януш, входя во дворец. — А так я выскользнул из их рук.

И со смехом добавил:

— А твой знакомый пьяница снова пошел за вином, я как раз встретил его с кувшином возле двери. Когда он спросил меня, кто я такой, я ответил, что иду за вином для пана Барбье. Там будут очень удивлены.

— Это ничего, — успокоился Тамила. — Хорошо, что вас там никто не узнал, а что уж они будут думать — не наша забота!

Острая брама

Невдалеке от монастыря и церкви Святого Духа с одной стороны, а с другой — от гостиного двора русских купцов, на Остром конце, возвышается одна из пяти городских брам, построенных сто лет назад, когда страх перед нападением татар заставил задуматься короля, воеводу и епископа Войцеха об укреплении города и его защите. Эта брама была надточена зубцами и двумя башнями, в которых, если присмотреться, можно заметить две пустые черные бойницы. Ушли в прошлое годы страха, и орудия снова лежали и ржавели в городском цейхгаузе. Тяжелые дубовые, обитые железными гвоздями ворота держались на мощных осях, сверху опускались густые железные решетки, чтобы закрывать вход. Вблизи не было никаких жилых построек, только со стороны города в деревянной каплице в неглубокой нише можно было увидеть икону Остробрамской Божьей Матери, защищенную окрашенными ставнями. Перед ней слабым огоньком теплилась лампада. По обе стороны ниши была устроена небольшая галерея, к которой верующие могли подниматься по узкой лестнице, примыкавшей к внутренней стене. Уже в те времена икона Остробрамской Божьей Матери была в большом почете у православных и католиков, которые каждый день молились перед ней, шли к ней со своими бедами и горем. Но перед иконой не было алтаря, и в нише горела только одна лампада, зажженная стараниями верующих, а узкая галерея, ведущая к иконе, могла уместить только несколько человек. Если недоставало пожертвований, магистрат зажигал лампаду перед иконой за свой счет — так он стал опекуном и охранителем Остробрамской Матери Божьей, кроткое обличье которой со скрещенными на груди руками возвышалось над головами горожан. Казалось, что она влекла к себе обиженных и плакала над ними. Проходя под брамой, горожане и приезжие по неписанной традиции в знак почтения снимали перед иконой шапки и капюшоны, а русские купцы, стоя в дверях гостиного двора, гоняли евреев, проходящих под Острой брамой,

не снимая шапок. Вот почему евреи редко, разве что ночью, отваживались там ходить.

При браме состояли сторож и городской стражник. Они брали у приезжавших на рынок крестьян деньги с каждого воза, а также камни, которые когда-то тоже давали право въезда в город. Их использовали потом при постройке домов и стен.

Недалеко от брамы сидело несколько торговок. Одни продавали то, что покупают верующие: крестики, образки, колечки; другие торговали пряниками и коврижками. Временами они еще разносили по городу сладости и овощи в корзинах. Первые из них были преимущественно убогие женщины, которые стеснялись нищенствовать и таким способом зарабатывали себе на хлеб насущный. Те, кто продавал сладости или овощи, были чаще жителями предместья, они ходили со своим товаром по городу либо сидели на скамейках за деревянными столами, на которых раскладывались по мискам и тарелкам сладости, пряники, маковые головки и овощи.

В этот вечер они уже собирались расходиться, складывали свой товар; уже и городской стражник топтался у ворот, ожидая минуты, когда можно будет с чистой совестью закрыть их и пойти греться в свой теплый уголок. Но вдруг со стороны города, издали, на улице послышались быстрые шаги по мостовой — это высокий молодой мужчина с пустым кувшином в руке почти бегом спешил к браме. Он был будто немного не в себе, какой-то очень разволнованный, и все с удивлением смотрели на него. Он поставил кувшин, взошел на галерею и, не обращая ни на кого внимания, начал горячо молиться, даже плакал, давясь слезами. Лампада светилась перед иконой, а он плакал и молился.

— Гляньте, — повернулась торговка Марыся к брамному сторожу, — какой-то бедный юноша молится перед нашей Матерью Божьей и плачет! Видимо, что-то сильно его гложет!

Стражник вышел из ворот, глянул вверх, покачал головой и сказал:

— Он так горячо молится, словно за ним гнались черти.

Старая торговка Иванова с Лукишек также повернулась, важно вытерла нос, потом промолвила:

— Не иначе как из богатых, прилично одет. Может, боится кары за какой-то проступок и просит Матерь Божью заступиться.

А на галерее, стоя на коленях и плача, молился пан Брожак (это снова был он).

— Чудотворная Матерь Божья! — взывал он, протягивая к иконе руки. — Что же я такого натворил, что мне нужно умирать? Разве же мне пора умирать?

— Говорит о смерти! — шепнула Иванова Марысе. — Наверное, где-то набедокурил!

— О смерти? — заинтересовался стражник. — Значит, надо доложить в ратушу, может, это какой-то разбойник, еще, чего доброго, наложит на себя руки. Взять бы его да посадить в тюрьму, допросить.

— Как бы он и в самом деле чего-нибудь не натворил! — добавила Иванова.

А пан Брожак молился:

— Чудотворная Матерь Божья, спаси меня от смерти! Сжалься над моей молодостью! Я стану жить по-другому, уйду в монастырь!

Стражник прислушался к молитве Брожака.

— Не иначе, как беглый преступник, — прошептал он, — его надо поймать, он, видимо, сбежал из тюрьмы и теперь хочет укрыться в монастыре.

Пока пан Брожак молился, а стражник терялся в догадках, с другой стороны от Острого предместья по Медницкому тракту к Острой браме

подъехало несколько всадников. Стражник повернулся к ним, пригляделся. Было их человек пятнадцать, они ехали рысью на крепких выездных конях и очень торопились, опасаясь, как бы перед ними не закрыли ворота. Как только увидели стражника, еще издали начали кричать:

— Эй, стражник! Не затворяй ворота!

— А что такое? — стражник поднес руку к шапке, полагая, что всадники из свиты важного господина.

— Сейчас вслед за нами проедут послы его королевского величества! Сенаторы из Варшавы!

Стражник поклонился. Всадники проехали под Острой брамой, сняли шапки перед иконой и остановились, озираясь по сторонам.

Стражник тотчас подошел к ним:

— А нельзя ли узнать у вас, панове, что это за паны сенаторы?

— А что тебе с того, что узнаешь? — спросил один из них.

— Понятно, ему надо разнести новость по городу, — улыбнулся второй.

— А что же, простому человеку нельзя ничем и поинтересоваться? — сказал стражник с льстивой улыбкой. — Каждому хочется знать немного больше, чем знают другие. Если бы я принес эту новость в ратушу, мог бы что-нибудь получить от панов радцев.

Всадники ничего не ответили, все они раз за разом поглядывали за ворота. А тем временем к ним подошла торговка Марыся с корзинкой и стала предлагать им пряники, до которых приехавшие оказались большими охотниками.

Благодарная горожанка, улыбаясь сенаторским придворным, начала осторожно расспрашивать их. Если спрашивает мужчина — одно, а если женщина — совсем иное. Да если женщина еще и молода, красива — ну как тут не развязать языки! Так оно и случилось. Торговка, поправив свою черную челку и взглянув на них голубыми глазами, спросила:

— И много их, этих послов? Куда они едут?

— Сюда едут! — ответил красивой белоголовой ближайший к ней всадник, пряча коврижки в карман кафтана. — Едут в Вильно, специально к вам, к пану воеводе и пану каштеляну, чтобы примирить и не допустить войны между ними.

— Ну, слава тебе, Господи! — воскликнула горожанка. — Значит, войны не будет?

— Скорее всего, не будет, — успокоил ее второй.

— И в городе станет спокойно! Хвала тебе, Господи! — обрадовался стражник. — И кто же к нам едет?

— Ксендз епископ жмудский, — сказал один из всадников, — мой господин.

— Литовский маршалок, — отозвался второй.

— Витебский воевода, — добавил третий.

— И пан подскарбий, — завершил первый. — Но — тихо! Прочь с дороги! Они уже едут!

Только он промолвил это, как на улице предместья показался длинный кортеж, который направлялся к Острой браме. Все расступились и молча смотрели. Мимо проехали раззолоченные кареты, всадники, среди них свита и слуги, а сзади ехали большие возы, накрытые шкурами — на них везли поклажу и продовольствие. Два сенатора ехали верхом. Их можно было узнать по богатому убранству и важным лицам; двое ехали в каретах. Кортеж проехал через браму, миновал ратушу и направился в сторону древнего замка.

Пока все это происходило, пан Брожак молился на галерее, затем поднял свой кувшин и в глубокой задумчивости побрел назад. Он видел, как

проехали сенаторы, а потому хотел вернуться домой с важной новостью. Молитва немного успокоила юношу, поэтому он сначала наполнил кувшин у Мальхера, а потом, спрятав его под полой, подался во дворец Ходкевичей. Прошел по двору, взбежал по лестнице, а там его уже поджидали Барбье, Станислав, Бурчак и еще несколько панов.

— Где ты так долго бродил, пане Брожак? — спросил француз, забирая из его рук кувшин. — Мы тебя не так далеко посылали. Тебя, как здесь говорят, только за смертью посылать, а не за вином.

— Как раз смерть я себе и выходил, — сказал Брожак невесело.

— Что? — испугался Барбье. — Что ты сказал? Какая смерть? Ты со вчерашнего дня ходишь как в воду опущенный.

— Это вчера и стряслось, — подтвердил Брожак.

— И что же вчера стряслось? — начали расспрашивать его.

— Зачем вам знать?

— Нет, ты все же расскажи нам, в чем дело, — настаивал француз, — а то я заметил еще вчера, что ты вернулся будто с креста снятый и никому ничего не сказал. Что с тобой случилось? Может, это все же не тайна? Что это ты заладил про смерть?

— Мне пора умирать... — мрачно промолвил Брожак.

— С чего бы это? Что с тобой? Да рассказывай скорее! — накинулись на него остальные. — Что случилось? Тебе кто-то угрожал, или что еще?

— Если бы только угрожал! Тут иное...

— Но что?

— Было все так, — наконец начал неохотно рассказывать Брожак. — Вчера вы послали меня за вином, было поздно, думаю, что за полночь, а это самая пора для духов и привидений.

— И что же тебе привиделось? — спросил француз. — Где ты углядел привидение?

— Я подошел к двери в стене, чтобы отпереть ее, как вдруг увидел...

— Что увидел?

— Другого такого же гонца, как и я. Тоже с кувшином. Он шел впереди меня. Я спросил: «Кто там?» А он мне таким сильным голосом отвечает: «Я иду за вином для пана Барбье». Я не успел еще испугаться и говорю: «Так это же я иду за вином». «И я», — ответил дух и открыл дверь.

— Дверь! Открыл! Боже милостивый! — вскричал пан Бурчак. — Чем же он ее отпер, если ключ был у васпана?

— Это был дух, — отвечал Брожак. — Я сам видел: отпер дверь, вышел и — исчез!

Все слушавшие застыли в молчании.

— Может, это тебе приснилось? — спросил Барбье.

— Если бы так! — чуть не плача ответил Брожак. — Но это святая правда, могу подтвердить под присягой! Еще вчера я специально ради этого ходил расспрашивать сведущих людей и старых женщин; они сказали мне, что это был дух, который предрекает мне смерть, причем ее не избежать, разве что пойти в монастырь.

— Брехня! — отрезал Барбье. — Все это тебе показалось. Такого не может быть.

— Если говорю, значит было, — не отступал от своего Брожак. — Я же не слепой, там было открыто, потом я сам замкнул дверь, хотя и не отмыкал. Было темно, однако я рассмотрел, что это был в точности *alter ego* — второй я, — ну просто вылитый я!

— Сдается мне, что ему шибануло в голову вино, — заключил Барбье. — Давайте выпьем!

Он наполнил кубки, а потом обратился к Брожаку:

— Скажи мне, разве ты тогда не был пьян?

— Клянусь Святой Троицей, даже и не нюхал! — заверил Брожак, молитвенно сложив руки. — Был я так же трезв, как и сейчас, видел все своими глазами.

— Страное дело, — прервал его пан Бурчак. — Но самое удивительное, как дух открыл дверь без ключа? Ключ был только у вас.

— Право же, как на исповеди говорю, так и было: открыл и на моих глазах вышел.

Все замолчали.

— А сегодня ты где так долго таскался? — спросил Барбье.

— Ходил молиться, — ответил грустно Бурчак. — Молился Матери Божьей на Острой браме, просил защитить меня. И как раз увидел там, как приехали сенаторы.

— Какие сенаторы?

— Посланные от короля к воеводе и каштеляну, чтобы помирить их.

— Приехали? — воскликнул Барбье.

— Только что.

— Что ж ты молчал? Надо бежать сказать каштеляну, — решил Барбье. Он поставил кувшин, схватил плащ и шпагу.

— Дай мне ключ, — сказал Бурчаку. — Я скоро вернусь.

И почти бегом заторопился в каштелянию.

Отцы иезуиты

Сенаторы, посланные королем, приехали в Вильно 30 января 1600 года. Незадолго до этого разошлись из уст в уста слухи о том, что войско Радзвиллов большими отрядами подтягивается к городу, движется со всех сторон, собирается вместе. Сторонники воеводы не утаивали ни его количества, ни того, кто их прислал. Да и католики рассказывали любопытствующим, что Ян Кароль, жмудский староста, идет с несколькими тысячами войска и с десятком орудий в Вильно, дня через четыре уже будет в городе. Обе стороны в молчании и внешне безразлично готовились встретиться и решить дело силой оружия. Обе стороны повторяли: «Мы еще посмотрим!»

Тем временем слух о приезде сенаторов уже разнесся по городу. Все считали, что это важное событие, от которого многое будет зависеть. Каждый по-своему объяснял причину появления этого посольства; некоторые считали, что приказом короля война вообще будет запрещена, а врагов заставят примириться. Другие же, подальновиднее, видели в сенаторах только советчиков, не имеющих полномочий и власти, чтобы завершить это дело. Все с нетерпением ожидали, что же будет дальше, на сенаторов надеялись, об их роли гадали во всем государстве. Что бы ни случилось, а всегда интересно поглядеть, как будет воспринято посредничество короля, к каким результатам оно приведет. Шептали один одному на ухо: «Сенаторы приехали!» Один другому пересказывали, как приняли послов, самые смелые делали далеко идущие выводы, остальные видели в этом знак будущего согласия, весть о примирении.

Как только сенаторы проехали через Острую браму и разъехались по городу, по домам и дворцам своих родных или друзей, а также по гостиным дворам, как вскоре о них уже все знали. Пан Барбье побежал рассказать о новости каштеляну, Тамила Тамилович сообщил воеводе, иезуитский братчик осторожно вошел с докладом в келью ректора, где отец Гарсиа Алабянус тихо беседовал о чем-то с ксендзом Яном Брандтом.

Они умолкли, когда услышали шаги, повернулись к братчику. Тот молитвенно сложил руки на груди, опустил голову и глаза, трижды поклонился, поцеловал руку ректору и только тогда тихо проговорил:

— Прибыли сенаторы от короля.

— Когда?

— Только что.

— Хорошо, — отозвался отец Гарсиа и знаком приказал братчику выйти. Тот снова трижды поклонился, отступил на несколько шагов, повернулся и вышел. Как только закрылась дверь, отец Гарсиа встал и, разглядывая стены кельи, обратился к Яну Брандту:

— А теперь к делу, отче. Я уже говорил вам, повторять не нужно, что мир еретиков с нашими — это смерть для нас. Лучше было бы выбрать войну, в ней мы, по нашим расчетам, можем надеяться на погибель иноверцев. Надо учитывать и то, что война распалит злобу, заставит ненавидеть тех, кто даже связан кровным родством, одинаковым положением, дружескими отношениями. Если же они помирятся, если Ходкевичи подадут руку Радзивиллам и еретикам, то они подначалят себе и всех нас, а значит, трудно станет нам самим. Здесь понадобится сделать все, причем изо всех сил — с помощью религии, нашего ордена, чтобы сенаторы их не примирили. Нам выгоднее, чтобы продолжалась и расширялась вражда.

— В этом нет никакого сомнения, — согласился Брандт. — Я могу засвидетельствовать, что Ходкевичи далеки от того, чтобы мириться.

— Далеки! Вы так думаете, отче? — спросил ректор. — А я вот думаю иначе. Я побаиваюсь силы писем короля, его приказа, боюсь, что Ходкевичи, учитывая все усилия еретиков, их мощь, побоятся воевать, пойдут на примирение.

— Никого они не боятся, я знаю это. Особенно Ян Кароль, — доказывал Брандт. — Он рассчитывает только на отпор и не согласен ни на что иное.

— Наша задача теперь, — развивал свою мысль ректор, — поддерживать их вражду, раздувать пожар, потому что мир между ними (я об этом уже говорил и снова повторю) нашлет войну на нас самих, лишит нас сильных союзников, мир принесет спокойствие в их помыслы. А для нас спокойствие опасно, поэтому нужно поддерживать в них ненависть к еретикам. Нам нельзя доводить дело как до мира, так и до столкновения. Кто знает, на чьей стороне окажется победа и не возбудит ли она в победителе ощущение собственной силы? Да и вообще могут быть самые нежелательные последствия. Поэтому надо делать так, чтобы не дать им помириться и не допустить столкновения. Вы согласны со мной, отче?

— Полностью, — ответил Брандт. — Я думаю так же, как и вы.

— Постарайтесь сначала достичь первого, — советовал ректор, — а ради этого попробуйте подготовить панов Ходкевичей к тому, чтобы они не принимали предложений о примирении, считали их оскорбительными. Скажите им, что король не имеет права вмешиваться в частные споры, что Радзивиллы жаждут мира, а они покажут свою слабость, если первыми протянут руку дружбы. Пусть смело стоят на своем и будут уверены, что мы поможем им, потому что все католики с ними и с нами.

— Я все это скажу им, — заверил Брандт, — а еще добавлю вот что. Я знаю Ходкевичей, им неприятно, что Радзивиллы сильнее, но они недооценивают их. Я попробую подогреть эти мысли, попробую доказать им, что примирение унизит их, что войны нечего бояться. Вот как раз князь воевода недавно посылал к ним канцлера Сапегу и других панов с посольством. А это значит — скажу я им, — что их боятся. Еще я рассчитываю на большую обиду каштеляна за тот декрет, который затронул его за живое.

— Было бы неплохо, — сказал ректор, — как-то встретиться с сенаторами, которые приехали. Я не раз видел, что тот, кто не рассчитывает достигнуть какого-то результата, теряет надежду на успех. Было бы хорошо, если

бы сенаторы сразу почувствовали, что и у них тоже мало надежды что-либо изменить в этой прискорбной ситуации. Они меньше старались бы, не принимали бы эту историю близко к сердцу.

— Надо, прежде всего, проведать жмудского епископа. Мне кажется, он — самое слабое звено, к нему легче всего будет подступиться. А потом было бы неплохо через кого-нибудь познакомиться и с панами Завишами, — предложил Брандт.

— Найдем через кого и успеем вовремя, — прервал его ректор. — Я возьму на себя жмудского епископа и других, попробую найти тропу к ним, а ты, отче, думай, прежде всего, о Ходкевичах, не дай им пойти на соглашение.

— Я так и сделаю,— ответил Брандт.

— У меня есть человек, — неспешно продолжал ректор, — который заранее подогреет также и гордость Радзивиллов, чтобы они не отступались от своих намерений, потому что, повторяю, мир для нас страшнее, он пагубен для нашей веры. В конце концов, не так уж страшно, если они начнут воевать: войной мы немного прижмем еретиков, войной и добьем их. Они могут кричать, создавать конфедерации, но что им поможет, если каждый из них, как *exul* — нарыв — в стране, чужд ей.

— Одно меня пугает, — тихо откликнулся Брандт, — это положение каштеляна, который во всем зависит от Радзивилла из-за этого неправедного суда...

Ректор не дал ему договорить:

— А зачем же тогда Ян Кароль и Александр? Они не позволят ему примириться. Вы только постарайтесь убедить, что ему будут угрожать, если он надумает мириться, и что согласие с еретиками — невозможное и вредное дело, что брак Януша по законам не только государственным, но и религиозным невозможен...

— Обо всем этом каштелян знает, я уже ему уши прожужжал, на примирение он не пойдет. Но у любого человека может случиться поворот в мыслях...

— Если вы почувствуете, что такой поворот близко, будет самое время напомнить о том, сколько он перенес и натерпелся от Радзивиллов, и наконец...

— Наконец?

— В самом конце, — тихо сказал иезуит, наклонившись к Брандту, — можно намекнуть о том, что он найдет друзей, которые помогут ему выйти из положения так, что его честь не будет затронута.

— А что мне сказать? — спросил Брандт. — Ведь на это нужны большие деньги.

— Поймите же вы, — тихо зашептал ректор, — раз и навсегда поймите: если орден будет уверен в согласии и окончательном успехе, но понадобится некое пожертвование, то каштелян может *indirecte* — тайно — взять деньги и дать расписку. Кроме всего, такой шаг может произвести впечатление и на других.

— Понимаю, — промолвил Брандт.

— Это такое дело, о котором не следовало бы знать всем, отче. В конце, на завершение, да и то издалека, осторожно (потому что не надо опережать события) можно сказать, от кого это исходит. Нужно попытаться все сделать чужими руками.

Брандт встал с кресла и покачал головой.

— Хватит, хватит, — сказал он, — я так думаю, что в этом не будет необходимости.

— И я хочу того же самого, и надеюсь, что обойдется без значительных пожертвований.

— Сейчас же иду к каштеляну, — добавил Брандт.

— Да поможет вам Бог, — промолвил отец Гарсиа, провожая его к двери. — Когда проведаете его, зайдите ко мне и расскажите о том, что вам удалось.

С тем и удалился отец-иезуит Ян Брандт из ректорской кельи. Он прошел по коридору и зашагал по улице мимо костела Святого Яна.

Иезуит уверенно шел вперед, вышел на Замковую улицу и наконец добрался до жилья каштеляна.

Но Ян Брандт заглянул к каштеляну не вовремя. Как раз пришла пора вечерней молитвы. Набожный старик молился, вышагивая по большой комнате с четками в руках и книгой, оправленной в кожу, с большими серебряными застежками. Иезуит долго стучался, пока его не впустили. Каштелян перестал молиться, перекрестился, положил четки и книгу, приказал подать ксендзу кресло и сам сел напротив него.

— Что слышно, отче? — спросил он. — Наверное, ничего нового?

— Не совсем так, — ответил Брандт. — Есть новость, очень важная.

— Что такое? И кого это касается?

— Вас, пане каштелян, более, чем кого другого, — тихо проговорил иезуит.

— Почему? Что такое?

— Приехали сенаторы, посланные королем, для того, чтобы установить здесь мир.

— Приехали... — с заметным беспокойством проговорил каштелян.

— Да, только что. Час назад. Вы, наверное, уже слышали об этом.

— Да, я знаю об их приезде и даже догадываюсь о том, чего хочет от нас его величество король, — ответил каштелян.

— Благодаренье Богу! Их визит может принести долгожданное примирение.

Каштелян как-то подозрительно посмотрел в глаза иезуиту и ничего не ответил.

— Согласие — всегда желанная вещь, — добавил отец Ян, — а тем более между жителями одной страны, известными людьми, недоразумения между которыми могут очень тяжело сказаться на всех.

— Наверное, так, — ответил каштелян, — но я вам искренне скажу, отче, что я не очень-то верю в примирение.

— Но почему? — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул иезуит. — Вы не верите, что оно состоится?

— Я сильно сомневаюсь в этом.

— Вот оно что! — снова, будто на сцене, разыграл изумление иезуит.

— Об этом можно было бы говорить долго, — продолжал каштелян, — но это ни к чему, вы же все знаете и знаете, что нас оскорбили, что...

— Я знаю, что вас оскорбили, — прервал его иезуит. — Они и теперь еще ежедневно усугубляют это оскорбление словами и угрозами.

— А потом, — добавил каштелян, — даже если Радзивилл согласится с *нашими* условиями, мы от своего не отступим.

Иезуит с любопытством заглянул в глаза каштеляну, как будто хотел о чем-то спросить, но нашел в них только подтверждение сказанному и успокоился.

— Видимо, так и будет, — согласился он. — Я сам не очень надеялся, что из этого будет толк. Мир с еретиками может быть даже опасным.

— В самом деле, — откликнулся каштелян, — ведь я мог бы ради согласия вспомнить о дружеских связях, но как католик я их боюсь, потому что прокаженный больной может заразить других.

— Святая правда, — подтвердил иезуит и набожно поднял глаза вверх. — Однако уважение к королю, уговоры сенаторов также могут нечто

значить, — добавил он, желая еще раз убедиться в твердости намерений каштеляна.

— Ничего у них не выйдет! — живо откликнулся каштелян. — С нами у них ничего не выйдет. Мы уважаем его королевское величество, но то, что относится к семейным отношениям и чести рода, нельзя решить приказом. Это не ссора между детьми, которым родители приказывают поцеловаться и помириться. Это неслыханное оскорбление, как стрела, глубоко застряло в наших сердцах.

— Действительно, тяжко слушать о таком и жить в такое время! — сказал иезуит. — А началось все из-за одной большой ошибки Сигизмунда Августа: он дал волю людям разных вероисповеданий и разным верам. Вот они и угнездились в нашей стране. Ему, Августу, надо бы, как некогда Ягайло, держать их в страхе. Вот он — итог одной минуты потакания...

— Вы правы, отче, — задумчиво проговорил каштелян, — все пошло от того, что мы не одной веры. Паны Радзивиллы не решились бы на этот брак, не могли бы сделать того, что сделали, если бы нас объединяла одна вера. И согласие было бы, и лучшее понимание с их стороны. А теперь вся страна разделилась, и шляхта, и панство, а разве это хорошо? Разве можно радоваться тому, что у нас теперь две партии в одной стране и вражда между братьями?

— Что тут скажешь? — поддержал его иезуит. — Разве с еретиками можно жить дружно? Да никогда! Во всяком случае, до тех пор, пока они не перейдут в нашу веру. Братья-то они братья, это так, но ведь в темноте живут и к темноте влекутся. Можно ли ожидать от них добрых дел?

Оба помолчали.

— Пошлю я, пожалуй, к панам сенаторам моего придворного с поклоном от меня, — сказал каштелян.

Он взял колокольчик и позвонил. Вошел старший слуга, получил приказание, и тут же один из придворных поехал к сенаторам.

— Только не подумайте, что это означает подготовку к примирению, — обратился каштелян к иезуиту, продолжая разговор. — Так диктует вежливость, а что диктует честь и совесть, вы еще увидите.

Они беседовали еще около часа, и только поздняя пора заставила Брандта попрощаться, к тому же ворота костела должны были вот-вот закрыть.

Вернувшись в монастырь, он сразу же пошел к келье ректора.

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки вечные! Что слышно?

— Каштелян даже не помышляет о каком-то мире.

— Прекрасно! А я утром встречаюсь со жмудским епископом. Спокойной ночи, отче! Зайдите ко мне завтра утром, нам нужно посоветоваться.

Послы его величества короля

А теперь вернемся к королевским послам и познакомимся с ними поближе: кто они такие, почему они имели столь значительное влияние в те мрачные времена?

Возглавлял посольство ксендз Мельхиор Гедройц, жмудский епископ, сведущий человек, добрый по натуре и спокойный, он также, как и Лев Сапега, хорошо подходил на роль посредника. Он уже не раз принимал участие в подобных делах и всегда выходил победителем из сложных ситуаций. После смерти Сигизмунда Августа в 1572 году он был еще и виленским кафедральным кустошем — скарбником — ездил в составе посольства во Францию к королю Генриху. Французский король предложил его кандидатуру папе на жмудский епископат, и Гедройц был назначен

епископом, благожелательно принят благодаря посланному папой письму. У него был соперник: некий ксендз Герановский, также заручившийся определенной поддержкой, хотел занять эту должность, но он был не местным, опирался только на приобретенное хитростью заступничество королевского посла. Однако соперник потерял надежду на повышение, а ксендз Гедройц, наоборот, утвердился на этой должности. Позже епископ неоднократно исполнял различные поручения, в 1580 году принимал участие в виленском фискальном Трибунале. Набожный Гедройц весьма симпатизировал ордену иезуитов. Легко понять, какую роль он должен был сыграть здесь и кому благоприятствовал.

Великий литовский маршалок Дорогостайский, потомок Монвидов, перед тем стольник, надворный маршалок, волковысский, мстибовский, шарашовский староста, был храбрым воином, знаменитым фехтовальщиком и знатоком коневодства; состоял в родстве с Радзивиллами и Ходкевичами. Видимо, поэтому он и был послан королем для посредничества между ними. Дорогостайский был женат на Софие, дочери новогрудского воеводы Николая Радзивилла, вдове кравчего Великого княжества Литовского Юрия Ходкевича. Это давало ему возможность в качестве родственника бывать в обоих домах. Но, по правде говоря, роль посредника — не его роль, потому что он был по натуре скорее солдат, чем дипломат. Открытый, задиристый, увлеченный военным делом и лошадьми, книгами и охотой, он чувствовал себя свободнее там, где требовались отвага и мужество, а не там, где предпочтение отдавалось рассудительности и хитрости. А в роли посредника он оказался, как мы уже упоминали, благодаря своим семейным связям, которые сближали его с обеими сторонами. В религиозных и философских материях он и вовсе не разбирался, однако был в душе сторонником реформаторов.

Ян Завиша ранее был мстиславским, потом витебским воеводой и старостой сурожским. Ревностный католик, дошлый и опытный человек, всю жизнь он исполнял различные важные поручения: то определял пограничье Курляндии и Бречиславльской земли, то выбирал подходящие места для пограничных крепостей, то выступал в роли посла...

Он прекрасно знал людей и жизнь, мог определить, как надо действовать в том или ином случае, умел использовать человеческие слабости.

Его брат, земский подскарбий Великого княжества Литовского, Андрей был не менее ревностным католиком, таким же изворотливым и опытным. На них двоих и возлагалась особая надежда, именно они должны были добиться успешного завершения посольства. Дорогостайский был дан им только для сопровождения, Гедройц — для солидности. Тем более, что ни первый, ни второй не могли как следует содействовать этому делу, они просто были не в состоянии это сделать. Все зависело от братьев, а епископ и маршалок хотя и приехали, но пользы от них ожидалось немного.

Жмудский епископ остановился в своем дворце возле замка; Дорогостайский занял помещение в кардиналии — оно было заранее подготовлено для него; а Завиши поселились в собственных каменных домах на улице Бакшта.

С самого утра от послов и к послам сновали пешие и конные посетители, по улице туда-сюда двигались экипажи, проходили процессии. Шли поприветствовать, поздравить, посоветоваться. Но о главном деле никто речи не заводил.

Первым проник к епископу отец Гарсиа Алабянус, он спешил опередить всех других. Ректор хотел, чтобы его никто не увидел, хотя любопытному он мог бы легко объяснить свой визит известной склонностью епископа к делам их ордена и теми проблемами, которые иезуиты хотели бы с ним обсудить.

Но ректор не застал епископа дома: набожный старец рано утром ушел на молебен в кафедральный костел, который был недалеко от его дворца. Ректор поспешил туда, желая первым поприветствовать епископа, и встретил его на пороге костела.

Хотя епископу уже было под восемьдесят, годы не придавили его тяжким грузом, правда, лицо было в морщинах и фигура несколько сутуловатой. Он был еще довольно подвижный, краснощекий — здоровый румянец выделялся в обрамлении седых волос. Серые глаза из-под нависших бровей еще пылали огнем неистраченной молодости, румяные губы ласково улыбались; на лице читались только благорасположение и доброта души. Епископ уже возвращался из храма, его вели под руки два жмудских каноника, сзади викарий нес требник и служебник. Ректор поздоровался с ними, потом молча прошел с епископом к его дому.

Только тогда, когда ксендз сел в кресло, а провожатые вышли, завязалась искренняя беседа.

— Святой отец, — начал ректор, — вы прибыли сюда во главе христианской миссии, с посредническим посольством, с оливковой ветвью. О, как она нужна всем нам, измученным предчувствием войны, как горячо мы вас приветствуем!

— Кто не хотел бы мира и согласия, — ответил епископ. — Лишь бы только мы к нему пришли!

Он взглянул на ректора; отец Гарсиа покачал головой и опустил глаза.

— Как вы думаете, отче, удастся нам что-нибудь сделать?

— К королевским письмам у всех большое уважение, на избранных посредниках отражается свет личности его королевского величества. Разве можно было выбрать лучшего предводителя миссии, чем вы, святой отец? Но...

— Есть какое-то «но»?

— Как и во всех людских делах.

— Трудности? Мало надежды?

— Трудности, надо сказать, действительно большие, а надежда всегда в руках Бога!

— Как вы думаете, чья сторона больше склонна к примирению?

— Они все очень разгневаны, и те и другие прямо пылают ненавистью! Если кто из них дальше от желания мириться, то это Ходкевичи! Виленский каштелян тронут за живое, оскорблен. Ян Кароль, жмудский староста, очень горд, он не прощает никогда и никому. Кроме того, он весьма набожный, очень уважает христианскую веру и не склонен к миру.

— Ну, а Радзивиллы? — спросил епископ.

— Воеводу все знают: несокрушимая душа, чрезвычайная гордыня; не очень жалует короля и королевскую власть. Чувствует себя сильным, но внешне ради приличия поддерживает короля. Самый большой враг католиков, запальчивый, несговорчивый. Можно ли такого человека склонить к согласию, можно ли поверить, что он побратается с Ходкевичами, если недавно наперекор им и всему католичеству записался в конфедераты?

— Это правда, — сказал епископ, — но какая невеселая правда! И все же, что делать, не будем же мы угождать им; выходит, действительно мало надежд на успешный исход, у нас есть только добрые пожелания и королевский приказ — запрет неправедной войны между своими, позорного кровопролития, худшего, чем между братьями! Пусть бы это дело рассматривали сейм и король!

— А вы, святой отец, знаете о подготовке к войне?

— Слышал. И очень боюсь этого, — ответил епископ.

— *Horrenda!* — Ужас! Почти шесть тысяч войска собрали только ради того, чтобы разрешить спор, в то время как для защиты страны и половину этого количества трудно было бы выпросить даже с помощью универсалов.

— Да и у Ходкевичей довольно много хороших воинов. Они сумеют оборониться.

— Лучше бы этого не потребовалось. Я все же надеюсь, что, несмотря на грозные заявления обеих сторон, до столкновения не дойдет. Радзивилл понимает всю мерзость нападения, мерзость, которой еще не было, и задумается над тем, насколько неприязненно восприняли бы во всей стране весть об этой междоусобице.

— Но ведь со всех сторон уже движутся войска!

— Это еще ничего не означает, отче, — рассуждал епископ. — За несколько дней все может перемениться. Будем надеяться на Бога, на то, что у нас такого еще не было, что не пойдет брат на брата, что дрогнет все же что-то в их сердцах, как у Каина. Перед самым началом может размягчиться сердце и хватит решимости остановиться. Надо надеяться до последнего.

— Надеяться на мир? — переспросил Гарсиа. — На мир с еретиками?

— Положительный исход этого дела и прекращение его *ad decisionem Regiam* — решится властью, — ответил епископ. — Что же касается согласия с еретиками, то тут совсем другое дело.

— Здесь все дела так перемешались, что трудно разобраться, — заметил ректор. — На стороне воеводы вся конфедерация, Ходкевичей же поддерживают католики. Дело вовсе не в Софие Слуцкой, а в свободе совести.

— Этого, отче, не сумел бы распутать и привести к порядку и сам король, если бы он сюда приехал. К сожалению, дрянное семя очень глубоко вросло, глубоко пустило корни, его так скоро не выполоть. Доверимся в этом деле Богу! Представители разных вероисповеданий еще долго будут воевать за свободу совести, как они ее называют, или за дело улучшения людских нравов. Наша задача — не дать перерасти распре в кровавую бойню.

— Решить бы хотя этот спор, и то хорошо, — вздохнул ректор. — Когда вы думаете начинать свою миссию?

— Постараемся как можно скорей. Нам самим не терпится, на нас лежит святой долг. Но мне кажется, пока не приедет жмудский староста Ян Кароль, мы не сможем ступить ни одного шага вперед. Он — правая рука каштеляна, поэтому все, что будет сделано без него, может пойти прахом. Я даже сомневаюсь, начал ли бы каштелян переговоры, будучи связанным договором с родней, если бы это делалось без них. А мы тем временем осмотримся, прислушаемся, подумаем.

Отец Гарсиа глянул в окно. Увидел, что солнце уже высоко поднялось и распрощался с епископом, а тот взял в руки четки и стал молиться.

Все это происходило во дворце жмудского епископа в замке, а в это время литовский маршалок Дорогостайский завтракал в кардиналии наедине с воеводой.

Перед ними стоял серебряный кувшин с подогретым вином и позолоченные кубки. Сидели они в креслах, один против другого; воевода задумчиво морщил лоб, маршалок вел себя так, как и всегда в жизни: вольно, весело, раскованно. Сама его фигура выдавала в нем воина, который иначе не понимает и не представляет себе жизнь, как только неизменное движение, действие, деятельность. Высокий, крепкий, слегка лысоватый, румяный, с голубыми глазами, римским носом, широковатыми усами, высоким лбом, Дорогостайский имел все привычки солдата, с его лица не сходило выражение несокрушимой отваги.

— Вы приехали, чтобы помирить нас насильственно? — спросил Радзивилл после того, как уже о многом было переговорено.

— Насильственно или нет, но помирить обязательно, — ответил Дорогостайский, приглаживая чуб на макушке, — ведь какого черта надо проливать христианскую кровь братьям, сыновьям одной матери, если сейчас надо как раз дать доброго пинка неверным, да и соседям нашим! Это же весь свет будет тыкать в нас пальцами, смотреть как на дураков, простите, да и наших врагов может подогреть драка между своими! Они не стали бы ждать конца этой внутренней войны, пока вы таскали бы здесь друг друга за чубы из-за княжны, а захватили бы ваши владения. Если бы они на вас навалились, то забрали бы и ваш Слуцк, и Копыль, и Биржи, а затем и Копысь, из-за которого все заварилось. Не давайте чужим повода шутить над вами, только хлопните в ладоши, и все само собой утрясется. Пусть себе вы евангелисты, они — католики, у вас своя дорога, у них своя, если же придется воевать с настоящим врагом, то будем делать это вместе, скопом.

— Складно говорите, — откликнулся воевода, — только вот жаль, что все это — несбыточные мечты. Как же вложить все это в их головы, чтобы паписты оставались папистами, а мы смогли жить по-своему? Так нет же, им хочется выглядеть идиотами! И до того доходит, что не видят собственной слепоты. Я не такой уж несговорчивый и упрямый, каким меня считают недоброжелатели. Ходкевичи сотворили мне уже немало зла, но все же, если будут приемлемые предложения мира с их стороны, я подам им руку, пусть только сделают то, что я хочу!

— Ну, это штука простая! На такие условия, пан воевода, любой согласится! Кто бы хотел ни в чем не уступить и все же помириться?

Маршалок захохотал во все горло.

— Я не могу ни в чем поступиться! — вставил Радзивилл.

— Так, княже, ничего сделать не удастся. Немного с одной стороны, чуть-чуть с другой, тут отнять, там притачать, только так надо искать согласия! Требовать же, чтобы кто-то поступился всем, а князь воевода ничем — это слишком. Но лучше поговорить об этом в другой раз. Теперь же я у вас не как посол короля, а как ваш добрый друг и гость, так плевать пока на эти ссоры! Вам надо помириться! Ссориться хорошо только с врагом, а со своим — хоть кости полны злости, а разойтись надо по-хорошему. И нужно, очень нужно. И так оно случится.

— Из вас, барон, получится хороший пророк.

— А вот вы, князь, не верите в добро. Но надо верить. Тогда все и пойдет по-доброму. Ведь вы хотите заполучить не табун лошадей? А? Вам нужна сама княжна София или все же ее княжества? Наверное, из хорошего табуна эта княжна, раз вы тут собираетесь расшибить друг другу лбы, хватаетесь за сабли, сзываете столько войска, словно хотите завоевать целую провинцию! Простите! Но я, черт меня побери, не понимаю, стоит ли воевать не за новое княжество, не за древнюю корону, а за клочок земли и еще за одну белоголовую, каких, простите, на белом свете тысячи, да при этом лить кровь, устраивать такой кавардак? Нет, не стоит!

— Как же вы, пане маршалок, низко нас ставите!

— Простите, княже, старого вояку, я в вашей политике ни ухом, ни рылом! У меня что в голове, то и на языке, чистая правда! Как я подставляю грудь врагу на войне, так и открываю душу другу. Да и зачем нам приукрашивать то, что само по себе красиво? Вы только, княже, на меня не обижайтесь.

— Нет у меня обиды ни в голове, ни в сердце, — заверил воевода, — но мне все же не по себе, что вы так легко разрешаете наш спор. Но воля ваша — каждый видит по-своему.

— И вы сами, княже, — добавил маршалок, — увидите все иначе, когда все оцените холодным умом. Клянусь, вам станет ясно, что драться нет причины!

Воевода умолк. А маршалок подошел к окну. Пару минут он смотрел на улицу, а потом удивленно воскликнул:

— Чистейшей турецкой крови! Самый что ни на есть подлинный турок!

— Что такое? Что вы там увидели?

— Я тут разглядел турка, коня. Он привязан возле ваших ворот, хотелось бы узнать, чей он?

Воевода тоже выглянул в окно.

— Так это же ваш собственный конь!

— Может, ваш, воевода?

— Нет, ваш, пане маршалок!

— Мой? У меня такого нет! Поверьте мне, такого нет ни здесь, ни в моей дорогостайской конюшне, ни в табуне! Он другой масти и другой крови!

— Но это ваш конь, — стоял на своем воевода.

— Простите меня, я лучше знаю. Уверяю вас, это не мой, — упирался маршалок.

— Нет, это ваш собственный!

— Шутки шутите, пан воевода!

— Он в самом деле ваш. Потому что я дарю его вам. Разве не примете?

Маршалок задумался.

— Когда настанет мир или согласие, а я не буду больше послом короля к вам, то приму такой чудесный подарок. А теперь дураки станут болтать по всем углам, что вы меня подкупили.

— Одним конем! — рассмеялся воевода. — Прикажите отвести его на вашу конюшню. Такая мелочь никому не кинется в глаза! А мне приятно подарить такому знатоку коней настоящего турка!

Дорогостайский взял шапку и направился к дверям.

— Сердечно благодарю! Позвольте мне сейчас же ощупать его, мне прямо свербит поглядеть на этого сивку, нет никаких сил терпеть.

Воевода позвал конюшего и маршалок вместе с ним пошел к лестнице, забыв обо всем в эту минуту: о королевских письмах, своем посольстве, ссоре Ходкевичей и Радзивиллов.

А мы заглянем еще к панам Завишам, посмотрим, что делается у них во дворце на Бакште.

Их дом был каменный, небольшой, стоял впритык к высокой горе, с двух сторон его окружали дома горожан, а выглядел он как постоялый двор. Перед ним стояли телеги, одни груженые, другие пустые, около них сновала прислуга, которой было столько, что двор казался тесным. Все кони не уместились в конюшне, стояли, накрытые попонами, возле яслей и забора, за телегами. Поодаль во дворе был даже разведен костер, около него сидели и лежали возницы и слуги.

Четыре самые лучшие верхние комнаты занимали братья, Андрей и Ян Завиши. Жили они здесь скромно, хотя по шляхетскому обычаю возили все с собой, поэтому у них было чем и пол застлать, и стены увешать.

Гобелены с золотыми и серебряными узорами развесили по еще влажным стенам, на пол, выложенный кирпичом, легли твердые турецкие и персидские ковры. Небольшие пестрые ковры покрывали и простые, сбитые местными столярами лавы, сосновые столы застелили вышитыми скатертями, спадающими до самого низа. Теперь покои, еще недавно голые, выглядели довольно уютно, и только потолок напоминал, как они выглядели еще вчера. В угловых комнатах каждому из братьев приготовили постели. С правой стороны — старшему Яну, с левой — Андрею. Оба спали на позолоченных кроватях, которые были устланы сеном и накрыты медвежьими шкурами. Под головой — подушки, также из шкур, а сверху — меховое покрывало.

В каминах и печах пылал огонь, прогревая настывшие стены. Две средние комнаты предназначались для обедов и приема гостей. Одну из них украсили более старательно.

Когда солнце осветило дома на Бакште, воевода с подскарбием уже были на ногах. Они сосредоточенно молились, по давнишней привычке начиная день с утренних молитв и псалмов. Некоторые из старших слуг в нижних комнатах также с четками в руках посвящали Богу первые минуты нового дня. Только слуги уже на скорую руку помолились и трудились в доме и во дворе. Когда истекло время молитвы, подскарбий зашел к брату, потом они оба отправились завтракать, а затем собирались сходить на молебен в костел бернардинцев. За едой немного поговорили о делах.

— Дорогой брат, как ты думаешь, получится у нас что-нибудь или нет?

— Может, и нет, хотя нас послал сам король. Что ж, будем делать все, что можем, остальное — в руке Божьей, — сказал старший брат, витебский воевода. — К нам вчера забегал наш общий знакомый — иезуит, отец Бризий. Ты уже спал или закрыл дверь и молился. Было поздно, и я принял его сам.

— Что он рассказал?

— Много страшного, а главное, если ему верить, то нет никакой надежды на то, что мы чем-либо поможем. У всех столько злобы, что вот-вот вспыхнет война.

Андрей покачал головой. Тут вошел придворный и сказал, что пришел брестский воевода Криштоф Зенович.

— Так рано! — воскликнул Андрей и вышел встретить гостя.

Вскоре в комнату ввалился и сам гость, толстый, румяный, сопя, опираясь на трость с позолоченной макушкой.

Зенович, человек разговорчивый, подвижный, деятельный, но сегодня у него на лице отражалась неуверенность, и это портило его привычное выражение. Он и в самом деле был таким, как мы его описали. Всему причиной был и ранний визит, и мысль о том, как его примут и встретят (а его знали как большого приверженца Радзивиллов), поэтому на этот раз воевода был в столь непривычном для него замешательстве.

Но едва только Зенович показался в дверях и произнес первые слова, как по своей природной доверчивости забыл о тревогах и заговорил весело, вольно и непринужденно.

— Приветствую послов мира и согласия! Приветствую желанных гостей в нашей столице! Сердцем и душой принимаем вас, мы ожидали вашего приезда, как птица чибис дождя! Приветствую вас, пан воевода витебский, и вас, пан подскарбий! Как доехали, как спалось? — соловьем заливался Зенович.

— Прекрасно! — ответили братья.

— Мне очень необходимо было поприветствовать вас, поэтому я, хотя на часах еще, видимо, только восемь и не настало время для встреч, поспешил увидеть дорогих гостей.

— Мы очень рады вам. Садитесь, пан воевода!

— Сел бы, даже если бы вы не пригласили, потому что задыхаюсь. Еле взбежал по ступенькам. Что там нового в Варшаве, как король?

— Хвала Богу, здоров.

— А как поживает пан Матиевский, *in partibus* — в будущем виленский епископ?

— Он уже отрекся от виленского епископата.

— В надежде на краковский?

— Возможно.

— Хорошая замена! Ну, а будет ли у нас мир?

— Надеемся. Письма короля...

— Все их уважают, но мало кто слушается, — перебил его Зенович. — Вот в чем беда! Больше надежд на уговоры, на дружеское посредничество. Ходкевичи совсем с ума посходили! Как они только отваживаются бороться с Радзивиллами? Не те силы, не то богатство! Изничтожат их, зальют кровью страну, а все это подаст пример несчастный, ужасный!

— Но не они же заварили всю эту кашу?

— А зачем было нарушать договор?

— Так, может, тот договор несправедлив?

— Справедливость можно понимать по-разному. Такое часто бывает, но зачем было обещать, если знали, что договор несправедлив?

— Они виноваты в этом, но и Радзивиллы тоже: зачем рассердили их той судебной тяжбой, довели до крайности?

— Теперь уже нет иного выхода, кроме доброго исхода, потому что войны допустить нельзя. Война окончательно погубит страну! — воскликнул Зенович. — Помирятся они или нет, лишь бы только не воевали!

— Мне кажется, до этого не дойдет, — сказал витебский воевода. — Ради того мы и приехали, чтобы не допустить худшего. И мы надеемся, что хотя они и далеко зашли в своих спорах, но все же одумаются, поймут, что они доведут страну до внутренней войны. Может, их охладят письма короля и уговоры друзей.

— Дай Боже! — промолвил Зенович и вздохнул, однако вздох можно было объяснить и чувствами, и высокой лестницей в доме на Бакште.

Военные приготовления. Княжна

Первого февраля Вильно и его околицы напоминали военный лагерь. Если бы кто-нибудь приехал издалека, не зная, в чем дело, то решил бы, что столько войска собрали, чтобы отбить нападение неверных язычников или соседей с Руси. В предместье толпами стекались все новые отряды, развевались стяги, гарцевали горячие кони, проходили солдаты из Курляндии, Подолии, Литвы, Польши — все они были по-разному одеты и говорили на разных языках.

В самом городе, пожалуй, все постоялые дворы занимали военачальники: ротмистры, полковники, их окружение. Звенели сабли, грохотали барабаны, слышались военные песни, которые должны были поднять боевой дух. Однако на этот раз певцы должны были совершать чудеса, чтобы подстроиться под обстоятельства, потому что в песнях тех лет или проклинали турок, или ругали московитов, но не было сочинено ни одной, которая звала бы на бой за Ходкевичей, или, наоборот, за их врагов. Дух войск из других стран поддерживали двухстрочные оскорбительные припевки о жмудинах, ляхах, мазурах, русских и других. И сам вид этих войск, которые располагались преимущественно на Лукишках, а также по околицам и предместьям, был удивительный! Народ как на подбор, но все были из разных краев, каждый одет по-своему, у каждого свое оружие, даже свой дух. Взять хотя бы то, что в войске Радзивиллов было немало католиков. Они шли тихо, опустив головы, сами не зная, как совместить совесть с собственными интересами, когда товарищи по военному походу брали их с собой, и те были обязаны подчиняться; но они считали эту войну выгодной конфедерации и воспринимали ее как месть католикам за притеснения иноверцев.

Войско Радзивиллов состояло из разнообразных отрядов, главная часть их была из Руси. Около четырех тысяч солдат прислали Острожские; они располагались по околицам, предместью, стекались под Вильно не все вместе, а по частям и в разное время: от последних дней января до

первых февральских. Город наполнился пестрыми толпами людей, ожил, но только самые смелые горожане осмеливались показываться на улицах и на шумных базарах, остальные в тревоге и страхе попрятались по домам. Магистрат и рада после неудачного посольства к воеводе не предпринимали повторных попыток. Они позволили войску занимать постоялые дворы и больше ни во что не вмешивались. Однако надо отметить, что кроме случайных происшествий, никаких неприятностей горожанам это не доставляло; воевода хорошо кормил всю прорву войск и наказал солдатам обходиться с жителями достойно и вежливо. Но мало кто верил его обещаниям о неприкосновенности их жилищ и собственности: купцы, преимущественно католики, позакрывали склады и магазины, попрятали товары, заложили двери тяжелыми засовами и надеялись на приверженцев Ходкевичей как на избавителей. Пока тех не было, они ожидались в городе со дня на день. Для них даже были заранее подготовлены, заказаны места постоя в самом городе, вблизи дворца жмудского старосты. Жители Вильно охотно уступали свои дома, потому что солдаты-католики казались надежной защитой от страшных для многих горожан еретиков.

В твердыне Ходкевичей подготовка к войне была уже окончена: бойницы пробиты, ворота укреплены, слабые стены удвоены, окна забиты, места, определенные для орудий, подготовлены, очищены площадки для солдат, которых собирались разместить преимущественно в крепости. Подумали даже о том, чтобы закупить запасы живности, но о запасах воды на случай осады не позаботились, потому что даже на штурм из-за узких улиц не рассчитывали. Пан Барбье все это осмотрел, прикинул, надолго ли хватит запасов оружия, чтобы отразить нападение, и с улыбкой сказал, что со стен такой крепости он орудиями сметет всех протестантов, пусть только сунутся.

Но вся эта подготовка даже в глазах тех, кто ею занимался, кто уже свыкся с мыслью о неизбежности войны, выглядела удивительной, а рассудительным людям она вообще напоминала кошмарный сон. Это было не просто событие, а большое диво, многие до сих пор не верили в возможность войны. Даже для виленского простонародья, которое уже не однажды видело стычки, малую войну в городе, такой большой наплыв войск был необычайным, ему не было примеров в прошлом, да к тому же и не было достаточно важной причины. А поэтому, несмотря на такую большую подготовку, на очевидную угрозу длительной, упорной битвы двух лагерей, многие еще не верили и не хотели верить в гражданскую войну.

— Можно ссориться, ведь от века к веку, до самого конца света распри не окончатся, но чтобы воевать, такого не может быть! — говорили недоверчивые.

Третьего февраля виленскому каштеляну стало известно, что Ян Кароль с орудиями и войском через день будет в Вильно. Эту весть принес маршалок двора Миколай Хамец, приехавший вместе с любимым придворным Яна Кароля Томашем. Каштелян отдал свой дом под постой солдатам, которые вот-вот должны были прибыть, а сам перебрался во дворец Ходкевичей на Замковой улице. Здесь теперь жил и брат Яна Кароля Александр. Самое лучшее помещение отдали сандомирскому воеводе Иосифу Мнишку, его пригласили Ходкевичи, и он не отказался, приехал, правда, почти без свиты, в сопровождении всего нескольких придворных.

Княжну Софию ради безопасности перевели в комнаты в глубине дома, оттуда она уже ничего не могла видеть, только слышала о большой суете в доме. Она знала о подготовке к войне и очень беспокоилась. Поэтому легко понять, что чувствовала княжна: она толком не знала о том, что делается, что за события происходят, была полна мрачных мыслей и предположений. При ней и возле нее все молчало, все побаивались ее, смотрели

на девушку как на причину всех неприятностей. Даже сами Ходкевичи в душе помимо воли чувствовали настороженность к сироте, опека над которой оказалась такой тяжелой. Самой близкой к княжне была экономка пани Влодская, женщина твердого характера, холодная, неприступная, она чаще всего только приказывала; от нее никто не слышал ласкового слова. Экономка послушно выполняла свои обязанности, была суровой, строгой, старалась ни на волосок не отступить от своих полномочий, очень дорожила своим местом, боялась его потерять. Служанки панны были молодые, пугливые, они даже не пытались стать ей подругами. Полудитя, она оставалась наедине со своими мыслями, страхами, терпением, без радостей, без друга, без известий о событиях за стенами дворца, жила замкнутой жизнью, которая при иных обстоятельствах могла бы быть счастливой, а на самом деле оказалась мучением.

С утра — молитвы, потом невеселая прогулка по комнатам, короткие разговоры с пани Влодской, обед, работа за кроснами, снова молитва — и долгий вечер, и долгая бессонная ночь.

А над всем этим — тень войны, убийств. Это не давало покоя сердцу сироты, ведь из-за нее могла начаться война, которая с каждым днем приближалась, и началом ее мог стать день рождения княжны! Софие казалось, что каждый стук в ворота, каждый шорох бруска по сабле, каждое бряцание оружием, громкий звук приближают эту ужасную войну. Когда она видела во дворе солдат, смотрела на подготовку к обороне, укрепление дворца, то сразу переполнялась страхом, гневом и тревогой, а из окон нового жилища больше ей ничего не было видно. Часто девушка просыпалась среди ночи, разбуженная топотом солдат, голосами стражей, ее сердце начинало биться чаще, она прижимала к груди крест своей матери и часами ожидала, что вот-вот прозвучит выстрел — ей, бедной, казалось, что он обязательно должен прозвучать.

В такой вот неопределенности и страхе жила княжна; когда же ей удавалось подарком или ласковым словом упросить экономку рассказать ей, что творится за стенами дворца, то чаще всего слышала о разных ужасах, которые сердили ее. София не могла им верить, потому что, несомненно, они были выдуманы и рассчитаны на то, чтобы погасить в ее сердце известную всем привязанность к князю Янушу.

Виленский каштелян редко показывался на глаза княжне; после того памятного ей разговора заглядывал, может быть, пару раз, да и то ненадолго. А третьего февраля он пообещал вечером проведать ее.

Как ждала она этой минуты, молилась в душе и гадала, что же скажут!

Прошло полчаса в долгом нетерпеливом ожидании, наконец каштелян пришел. У него было доброе лицо, никакого напряжения, будто назавтра ожидался праздник, а не начало войны. Он ласково поздоровался с ней, с тревогой спросил о здоровье, потому что вид у нее был неважный.

София держалась смело и мужественно.

— Дядя, не спрашивайте меня о здоровье, скажите лучше, стоит ли мне жить?

— Как это? Что ты говоришь? Ты еще так мало пожила!

— Но мне так тяжело, так тяжело! Подумайте, каково что ни день, что ни час под надзором, когда чужой глаз проникает, кажется, даже в мысли. Кругом война, оружие, ужас! Куда ни глянь — солдаты, войска, орудия, доносятся жуткие слухи! Скажите мне, дядя, как же я могу быть счастливой, спокойной, какое тут может быть здоровье? А еще как подумаю, что это я — причина всей этой суматохи! Ох, дядя, пережить это совершенно нет сил!

— Княжна, не нужно так пугаться. С вами ничего не случится.

— Да разве же я за себя беспокоюсь? — ответила София. — Но ведь это же война, война!

— Она еще не началась, и мы не будем начинать ее.

— Зачем же вы так вооружились?

— На всякий случай, — ответил каштелян, — ради обороны. Мы видим, что Вильно окружают войска Радзивиллов, как нам в таком случае не подумать о себе?

Княжна умолкла, провела рукой по лбу и опустила глаза.

— Вы помните наш последний разговор? — спросил каштелян.

— Да. Если хотите, то можем продолжить его, — ответила княжна.

— Мне больше не о чем спрашивать у вас и просить, нет нужды заставлять что-то делать, я хочу только в ваших же интересах кое-что пояснить еще раз, а вы поступайте так, как вам подскажет ваша совесть. Я уже не интересуюсь, что вы ответите и, если вас придут спросить, каким будет ваше слово. На то ваша воля, княжна, вы уже не дитя, вот-вот станете совершеннолетней, вы живете своим умом. Делайте то, что вам нравится. И все же, пока что еще я ваш опекун, а первая забота опекуна — совесть, первая мысль — остеречь от греха. Поэтому я хочу вас предупредить. Брак ваш с князем Янушем, о котором было договорено, без специального соизволения главы католического костела папы римского, а также без его благословения (слушайте меня внимательно) будет греховным, он запрещен религиозными законами, а нашим литовским правом признается как незаконный. Вы, наверняка, слышали об этом. Мой долг еще раз напомнить. Я ничего не приказываю, ни о чем не спрашиваю, но захочешь ли ты сама, без разрешения папы, согласиться на такой брак, если дойдет до разговоров о нем, до необходимости решать?

Княжна не замедлила с ответом:

— Без дозволения — никогда! Однако же, — добавила она, — его можно получить.

Каштелян невольно покачал головой.

— Разрешение, но не благословение.

Княжна опустила голову. Кто-то постучался в дверь.

— Это наш святой отец, архимандрит монастыря Святой Троицы Вельямин Руцкий, он вам все подробно объяснит и подтвердит то, что сказал я.

Княжна глянула в сторону приоткрытой двери. Тотчас вошел бледнолицый монах в сутане ордена Святого Базыля. Это и был достославный Вельямин Руцкий.

— Я позвал вас, — отче, — чтобы вы подтвердили перед княжной мои слова. Я объяснил ей, что брак ее с князем Янушем будет незаконным согласно костельного и государственного права, которое не признает браков между родственниками.

— В самом деле так, — ответил священник. — А тот, кто заключает такой брак, попадает под суровое осуждение костела, даже если венчать вас будет особа самого высокого духовного звания.

— Но... — начала княжна, не осмеливаясь прекословить.

— Но в определенных случаях, — угадав ее мысль, продолжил за нее отец Руцкий, — папа римский разрешает такие браки, хотя и не благословляет их.

— Не благословляет, — повторила за ним княжна и опустила глаза.

Каштелян и священник поясняли ей еще что-то, но София больше не поднимала глаз, не смотрела на них, не вымолвила ни слова, она вся была в своих невеселых мыслях; молча поцеловала руку дяде, поклонилась Руцкому и попрощалась с ними.

Как только за ними закрылась дверь, она упала в кресло и залилась слезами.

— Никогда нам не быть вместе, не быть счастливыми! Даже если бы нас и свела судьба, соединила, наша любовь не была бы угодна Богу, каж-

дая минута нашей жизни будет отравлена этим! Вот так: осталась сиротой, мне позволили полюбить того, кого пообещали в мужья с детства, а теперь говорят, что эта любовь — грешная, брак — святотатство...

Она упала на колени и начала горячо молиться. Потом встала с сухими глазами, спокойным лицом и тихо проговорила:

— Так хотел Господь, пусть будет благословенно Имя Его. Недолго мне осталось терпеть, пойду к тебе, мамочка, хоть я тебя и не знала, и к тебе, папочка, хоть я тебя не видела, пойду к вам!

Жмудский староста в Вильно

Четвертого февраля новый гонец прибыл в Вильно с вестью о том, что войско под руководством Яна Кароля остановилось на ночлег в миле от города и должно завтра войти в город. Новость мгновенно разнеслась жителями, и толпа любопытствующих горожан собралась на Медницком тракте, по которому намеревался вступить в город Ян Кароль. Были среди них и люди Радзивилла. Они влились в толпу, чтобы проследить, что за войско идет на подмогу Ходкевичам. Сколько его будет, много ли у него орудий и мортир, чтобы потом с точностью сообщить обо всем князю воеводе. С самого полудня в городе было чрезвычайное оживление: самые любопытные взобрались на крыши каменных домов, на башни и стены, лишь бы только получше рассмотреть войско. На всех галереях ратуши было полно народа. Даже на звонницах храмов торчали головы, повернутые в сторону Медницкого тракта. Острое предместье также было усеяно людьми, они толкались там с самого рассвета. Стоял погожий зимний день, был легкий морозец, солнце светило в чистом небе, искрилось в снегах, в воздухе разлилась тишина.

После полудня на тракте вдали что-то показалось. Да, это двигалось войско. Толпа засуетилась: одни протискивались вперед, чтобы лучше рассмотреть, другие забирались повыше, третьи еще только подбегали. И все повторяли: «Идут! Уже идут!»

Тем временем рать подошла к городу. Над ней развевались хоругви, бухали бубны, тонкими голосами звучали пищалки. Все ближе и ближе подступало войско. Наконец, первый отряд вошел в город, и весь люд затих, вглядываясь, полный любопытства. Впереди медленно, спокойно двигалась конница. Во главе ее с несколькими военачальниками ехал сам Ян Кароль, жмудский староста, на вороном коне, оседланном по-турецки, в красивой сбруе; сам он был в бархатной кармазинной (ярко-красной) шубе, подбитой соболями, с золотистыми петлями; на голове — соболиная шапка, украшенная пером цапли. Из-под шубы выглядывала оправленная в серебро сабля в ножнах из шагреневой кожи. На лице Яна Кароля не было даже и следа озабоченности, только бравый вид войскового начальника во главе большого отряда, да и гордо сжатые губы, подкрученные усы. Одной рукой он слегка правил резвым конем, другая — уперлась в бок. Сзади ехали несколько ротмистров, а дальше остальные всадники, все как на подбор — один к одному, все на сильных приземистых лошадях. Над головами у них развевались знамена и блестели наконечники копий. Ехали они вольно, по пять человек в ряд, спокойно, молча.

Сразу же за всадниками везли мортиры и пушки, их было довольно много. Любопытные насчитали двадцать четыре орудия. За ними снова конные, по-разному одетые и вооруженные, но, опять-таки, все как на подбор.

Здесь не было видно таких воинов, как в войске Радзивиллов: карлика рядом с гигантом, грузного немца рядом с худощавым солда-

том-литвином; все — будто одной крови, одного рода, одних лет, одной силы. Это сразу бросилось в глаза тем, кто наблюдал, как проходило войско.

Казалось, даже самым любопытным не сосчитать, сколько же войска прибыло: оно все шло и шло, а на шляху до самых гор все еще не заканчивалась, вилась длинная цепь. Уже темнело, когда вся кавалерия вошла в город, а потом начала входить пехота. Она шла до самой ночи.

Уставшие и пораженные, расходились по домам горожане. Многим любопытным не хватило терпения, к тому же ночью трудно было что-то рассмотреть. В пересказах силы Ходкевичей преувеличивались, по крайней мере, втрое и казались неисчислимыми.

Войско все еще шло, а Ян Кароль уже давно был в крепости, подготовленной к его возвращению. Там стали размещаться вновь прибывшие отряды. Одни, не слезая с лошадей, завозили внутрь пушки, другие остановились под стенами дворца. Часть отрядов так и осталась на улицах под стенами, как стража, других же размещал за стенами пан Барбье, который со своей неизменной шпагой, при шляпе, зычно распоряжался, где кому устроиться на постой. Большие и меньшие орудия и мортиры заняли предназначенные им места и воинственно разевали свои черные пасти в бойницах с четырех сторон твердыни. Тут же, возле них, уже лежали ядра и все нужное для стрельбы.

Ян Кароль не слез с коня пока не разместил всех своих солдат. Обоз он поставил во дворе, солдаты поставили лошадей вдоль стен к заранее подготовленным коновязям с яслями. Запылали костры. Гам, смех, лай собак, ржание, шум и гул, крики разносились по всему двору непрестанно. Одни шли поглядеть на определенное им для боя место на стене, другие помогали затаскивать на стены пушки, третьи снимали с возов и расставляли оружие там, где им было указано. Военачальник стремился поспеть всюду: там посмотреть, тут что-то приказать, а где и просто молча проехать. Он распорядился об охране, поручил ее маршалку двора Миколаю Хомцу, а сам спешился и пошел к каштеляну.

Здесь его уже давно ждали. Воевода Мнишек, борисовский староста, каштелян и еще несколько человек из числа сторонников католиков собрались в комнате, окна которой выходили во двор. В камине пылал огонь, на столе остывал нетронутый ужин.

Все встали и приветствовали жмудского старосту.

— Приветствуем нашего героя! — воскликнул Мнишек. — Приветствуем вас! Наконец вы завершили свои дела, отдали все приказы!

— После трудного дня хоть немного отдохну, — сказал Ян Кароль, снимая тяжелую шубу. — Нелегко управлять этим нашим неугомонным и пестрым войском, ох, нелегко! Может, даст бог, когда-нибудь мы заведем и свое. А то не подумают ли Радзивиллы, что против их множества воинов мы не можем выставить и десятка солдат. Наших хотя и мало, но эти немногие стоят тысячи других. Я хорошо знаю своих солдат. Они не подведут меня, если тут что-либо начнется.

Говоря это, Ян Кароль обходил собравшихся и здоровался с каждым за руку.

— Все ли у нас готово? — спросил каштелян.

— Все, — ответил жмудский староста. — Княжна здесь, договор на столе, войска и пушки установлены со всех сторон, срок приближается. Осталось ждать панов Радзивиллов.

— А вы знаете, что приехали послы от его величества короля? — спросил Александр Ходкевич.

— Еще вчера прочел вашу бумагу. Но, панове, послы ведь приехали к Радзивиллам, а не к нам, мы ведь первыми войну не начнем.

— Это так, — ответил каштелян. — Но, если нас тронут, мы будем вынуждены обороняться.

— Сколько войска у Радзивиллов? — спросил Ян Кароль. — И что думают делать?

— Разное толкуют, — ответил Александр. — Самые точные сведения нам доставили люди из числа придворных князя воеводы: у них около шести тысяч войска. Это если не считать мелких групп шляхты и отдельных лиц, а также придворных солдат воеводы. Три князя Острожских дали по шестьсот всадников и семьсот гайдуков, пятьдесят всадников привел Абрамович, Нарушевич — сто всадников, а также еще сто гайдуков, Замойский с Подолья — двести всадников под началом ротмистра Петра Збаримского. Двести рейтаров дал князь курляндский, они для устрашения стоят во дворе кардиналии, а еще две сотни мозырского старосты. Вот и все. С такой силой можно было бы завоевать целое княжество.

— И что они собираются делать с таким воинством? — сказал Ян Кароль, улыбнувшись. — Достаточно глянуть по сторонам, чтобы понять, что даже третья часть их войск будет давиться, как сельди в бочке, если помыслят начать осаду моей крепости, да и та не уместится, а то еще и попадет под огонь орудий, который сметет их как мух! В поле они нас не выманят, пойти на штурм не рискнут, разве что начнут разрушать окрестные дома, но в это трудно поверить. Так зачем им все это, ради чего? Чтобы показать, на что способны Радзивиллы?

— Пане староста, вы так уверены в своей цитадели? — спросил Мнишек.

— Тут не нужно очень уж разбираться в военном деле и много думать, — ответил Ян Кароль, — чтобы укрепить наш дворец, который и так очень выгодно расположен. Подступы к нему со всех сторон заграждены другими домами, близлежащие улицы тесные. Самая широкая из них, та, что перед Замковой, уже наполовину занята нашими отрядами и стражей. С какой стороны им подступиться? Где они поставят войска, и по ком будут стрелять? Наши спрячутся за стенами, специально укрепленными, сверху они могут почти беспрестанно стрелять из ручного оружия, гаковниц и мортир, будут спокойно сидеть и ничего не бояться. Как у Бога за пазухой, если говорить коротко. А что, королевские письма передали уже? — спросил он, минуту помолчав.

— Еще нет, — ответил каштелян. — Наверное, ожидали вас, чтобы вручить всем сразу.

— Сенаторам дали строгий наказ от его величества короля не допустить войны и столкновения, — оповестил Мнишек.

— Я сомневаюсь, что приказы могут как-то подействовать на конфедератов, — ответил Ян Кароль. — Но поживем, увидим. А что делает княжна?

— Вчера я проведывал ее, — промолвил каштелян. — Она боится, тревожится, как всякая женщина.

— Вы узнали, о чем она думает?

— Все о том же!

— Она хотела бы стать на их сторону? Быть того не может! — запальчиво воскликнул Ян Кароль.

— После недавней беседы с ней я думаю иначе, — спокойно ответил каштелян. — Я приходил с отцом Руцким, и он убедительно разъяснил ей, каким грешным и незаконным будет их брак.

— И она согласилась?

— Я не сомневаюсь в этом. Она по-прежнему любит князя Януша, но набожность будет усмирять ее чувства. Действительно, даже если бы ее и отдали замуж за князя, все равно пришлось бы испрашивать разрешения в Риме.

Ян Кароль задумался, что-то насторожило его. В эту минуту слуга пришел с известием, что просят принять их князь Мельхиор Гедройц, маршалок Дорогостайский и оба Завиши.

Ян Кароль пошел встречать их к лестнице, каштелян стал у дверей комнаты. Первым вошел епископ, на его добродушном лице светилась улыбка; за ним шли остальные послы. После обычных приветствий и общих слов они подали письма от короля. Жмудский епископ, вручая письма Ходкевичам, от имени короля и государства просил и уговаривал их не начинать войны.

— Это был бы первый и просто ужасный случай у нас, кто может предсказать его итоги? Тяжкий груз ляжет на совесть того, кто ради мелкого спора поднимет оружие на брата.

— С этим вам нужно обращаться не к нам, — нетерпеливо перебил епископа Ян Кароль. — Мы не начинаем войны, сожалеем из-за печального недоразумения, но что же нам, сдаться не защищаясь?

— А вы первыми подайте пример подчинения его королевскому величеству, соглашайтесь на мир!

— На мир! — воскликнул жмудский староста. — Это было бы для нас наибольшим позором — первыми подать им руку!

— Ну, ну! Труднее всего надеяться на ангельскую добродетель людей из плоти и крови! — промолвил Дорогостайский, который с самого начала не верил, что жмудский староста поддастся на уговоры.

— Можем мы хотя бы изложить вам наши условия? — спросил Гедройц.

— Мы с почтением примем их, если они исходят от короля, с благодарностью — от вас, но подумайте сначала, не унизят ли они нас. Это был бы большой позор, если бы нас заподозрили в том, что мы колеблемся или очень уж спешим мириться.

— Чего же вы, пане староста, и вы, пане каштелян, хотите?

— Конечно же, справедливости, что тут долго объяснять, — ответил Ян Кароль. — Что же касается условия насчет выдачи княжны замуж, то пусть она сама решает, хочет она выйти замуж за князя Януша или нет. Мы ни заставлять, ни уговаривать не будем. Она уже взрослая, ее воля решать. Но даже если она и согласится выйти замуж, их брак все равно будет считаться незаконным и не сможет состояться без специального дозволения. Что же касается нас, то вы сами видите, до чего довели нас паны Радзивиллы. До залога отцовских имений, долгов, до найма большого войска, бесчисленных расходов, до этой войны.

Все суды и сам трибунал в руках воеводы, всюду нас судят, как хотят — не ради справедливости, а ради своей нужды, взыскивают с нас какие-то долги, громадные суммы, хотят отобрать наши имения, угрожают банницией. Какой же тут может быть мир после этого? Можем ли мы во всем уступить им и даже слова не сказать?

— Вы правы, — промолвил Ян Завиша, — никто и не требует от вас, чтобы вы поступились своими интересами, но разве нельзя через посредников поставить условия, которые Радзивиллы могли бы принять и которые удовлетворили бы вас?

— Сначала мы посмотрим, чего от нас хотят князь воевода с сыном.

— А вы подайте пример, — прервал епископ, — покажите им, что вы, прежде всего, думаете о спокойствии страны, а потом уже о собственных интересах. А каковы ваши условия?

— Наши условия не могут быть ничем иным, как только ответом на их требования, — заметил Ян Кароль. — Мы им уже не раз повторяли то, что рассказали вам. О судьбе княжны: она должна решить ее своей волей. А с нами пусть прекратят все судейские тяжбы, снимут претензии, отменят

преследования, заплатят за понесенные траты, и тогда спор мы разрешим полюбовно. Так думаю, — проговорил Дорогостайский, — паны Радзивиллы прежде всего захотят убедиться, что вы отдадите княжну Софию за князя Януша, а тогда уж, наверняка, согласятся и на ваши условия. Вот в чем должна быть полная ясность.

— Если княжна захочет сама, а папа позволит, то пожалуйста! — сказал каштелян и глянул на Яна Кароля.

— Вот тогда ее можно будет выдать замуж, — добавил жмудский староста.

— Князь воевода, тем не менее, хотел бы, чтобы брак был заключен в срок, определенный вашим договором, — снова заговорил Дорогостайский. — Религиозные установления их не интересуют.

— А законы государства?

— Его королевское величество сделает исключение для панов Радзивиллов и даст специальное разрешение.

— Но ведь его еще нет?

Дорогостайский ничего не ответил.

— А пока придется ждать разрешения из Рима, вы позволите князю Янушу бывать у княжны Софии? — осторожно спросил епископ.

— Насчет этого они уже присылали целое посольство, — напомнил каштелян. — Мы сказали тогда и повторяем теперь, отложим до совершеннолетия и до конца этого дела. Посмотрим: дойдет до брака, так дойдет, а теперь — зачем это? Больше вреда, чем толку.

— Воевода очень сомневается, как бы этот случай не стал причиной для того, чтобы отложить бракосочетание, но он, как и ранее, будет обязательно требовать позволения для Януша проведывать Софию, я с ним недавно разговаривал об этом, — пояснил Дорогостайский.

Ходкевичи молчали, поглядывая один на одного. Сандомирский воевода подошел к каштеляну и зашептал ему на ухо:

— Что вам мешает позволить, если они будут встречаться в присутствии кого-нибудь из вас? Если вы не соглашаетесь даже на это, будьте уверены, они не примут ваших условий. Позвольте им эту малость. С вашей стороны это не будет унижением, а для мира — хорошая основа.

— Я не боюсь и войны, — откликнулся каштелян.

— А зачем она вам нужна? — спросил Мнишек. — Скорее всего, не нужна. Так сделайте то, что позволяет вам ваше достоинство, и никто вас за это не упрекнет.

Пока сандомирский воевода уговаривал каштеляна, подобными же словами и аргументами старались убедить Яна Кароля седой епископ вместе с Яном Завишей.

Потом послы совещались между собой, а каштелян пошептался с Яном Каролем.

Через какую-то минуту они приняли условия.

— Мы согласны, — сказал жмудский староста. — Мы даем согласие на то, чтобы князь Януш посещал княжну в нашем присутствии и с нашего ведома. Надеемся, что большей уступки вы от нас не потребуете. А наши условия таковы: воевода вернет нам все расписки и закладные, упразднит их по закону и откажется от них, не будет судиться, не потребует от нас никаких выплат, прекратит тяжбу за Копысь, заплатит нам за причиненный урон. Князь Януш может навещать княжну в нашем присутствии, когда же будет получено разрешение от папы римского и княжна сама согласится на брак, тогда мы отдадим ее за князя Януша.

Пока Ян Кароль перечислял условия, Завиша старательно записывал. Послы более ни о чем не заговаривали и через минуту ушли. Стоял поздний вечер, когда за ними затворились ворота дворца Ходкевичей.

Пятое февраля

Рано утром епископ с братьями Завишами и маршалком Дорогостайским направился к Радзивиллу. Он принял их с надлежащим почетом, но и ощутимым холодком. Переданные ему письма короля тут же прочел и обратился к епископу:

— Его королевское величество в его великой доброте хочет помочь нам, хочет, чтобы мы пришли к согласию; однако, это не то дело, которое можно решить приказом, мы лучше всех знаем, как его завершить. Чужая рана никому не болит, хотя так и хочется приказать, чтобы больной не стонал. Но разве этим можно его исцелить?

— Князь воевода, — степенно и учтиво отвечал епископ, — его величество король знает о ваших ранах. И он пока что не приказывает, а просит вас сделать все возможное для того, чтобы в стране из-за личного дела не разгорелась гражданская война. На вас мы особенно надеемся, потому что вы, пане воевода, первый начали собирать войска, подав дурной пример.

Воевода прервал его:

— Это мое дело, и я не позволю вмешиваться в него, — почти категорично заявил он. — Советы его величества короля я принимаю с благодарностью, но что делать дальше мне продиктует моя оскорбленная честь, только ее и послушаюсь.

— Послушайте все же и тех, кто хочет вам добра, — промолвил Дорогостайский. — Дело вовсе не в том, чтобы кого-то унизить, об этом никто и думать не думает. То, что предпринимается, делается только ради того, чтобы, как говорится, были и козы целы, и волки сыты. Можно же, в конце концов, найти такое решение, которое удовлетворило бы и вас, и Ходкевичей. Позвольте нам хотя бы попробовать. Вы от этого ничего не потеряете.

— В самом деле, вас никто ни к чему не принуждает и никуда вас силой не тащит, — добавил Завиша. — То, что вам предлагают, вы должны принять только по доброй воле. Однако вы, пане воевода, даже не хотите попытаться найти путь к согласию.

— Я всей душой желаю этого! — воскликнул Радзивилл. — Я сам желаю того же, что и вы, но соглашусь на тех условиях, которые предложу сам, если же их не примут, то вы, панове, ничего не добьетесь.

— Позвольте же узнать, — спросил епископ, — каковы ваши условия?

— Нет смысла раскрывать их, — гордо отвечал воевода, — потому что Ходкевичи их не примут. Это они, только они одни дальше всех стоят от согласия и мира; только они одни ищут повод для войны. Даже если мы им в чем-то уступим, они не обрадуются этому и все равно заставят нас ввязаться в эту несчастную войну! Да, да! Иначе почему же они отказывают нам во всем? Почему даже моя последняя просьба, когда я попросил двенадцать панов сенаторов быть посредниками между нами, чтобы Ходкевичи прислушались к нашим предложениям и просьбам, ничего не дала? Они пренебрежительно оттолкнули протянутую им руку. Не уговаривайте меня повторить эту попытку, я не сделаю более ни единого шага навстречу им.

— А если бы теперь они сделали какие-то шаги навстречу вам, князь воевода? — спросил Ян Завиша.

— Они не сделают их! — заверил князь Януш.

— Вы их, не иначе, все-таки плохо знаете, — рассудительно промолвил епископ. — Мы как раз и принесли предложения от них, предложения дельные и приемлемые, на них нельзя не согласиться — они вас не унизят, не обидят, если вы захотите их принять.

Воевода переглянулся с сыном, они оба не могли поверить словам епископа, на их лицах читалось удивление с оттенком презрения. Они молча ждали, пока обещанные предложения положат на стол.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

— Что бы это могло значить — Ходкевичи пошли нам навстречу! — с пренебрежением в голосе произнес воевода, глядя на посланцев короля.

Ян Завиша достал бумагу и подал ему. Тот жадно схватил ее, начал читать, князь Януш стоял сзади и тоже пробегал глазами написанное. По их лицам было легко понять, как они воспринимают сделанное им предложение помириться. Воевода шевелил бровями, прижмуривал глаза, дергал плечом, у него даже задрожали губы. Отец пробежал бумагу глазами и передал сыну, сказав с улыбкой:

— Возьми, взгляни на этот трактат Ходкевичей! В самом деле, удивительные вещи! Но какой от этого толк, где здесь предложения, где что-нибудь заслуживающее внимания? Только то, что они милостиво разрешают князю Янушу видеться с княжной Софией, еще недавно мы этого не могли допроситься. Ну пусть, мы рады и этому. Но ведь все остальное — одна насмешка! Отдать им расписки и договоры, прекратить процесс, передать дело обществу, поверить в их добрые намерения, положить голову под меч, если мы и сами в состоянии добиться справедливости! Да еще ждать позволения папы римского! Для меня ваш папа ничего не значит, мне его позволения не нужны, простите, пане ксендз!

Гедройц стоял молча. Опустив голову, казалось, он мысленно просит Бога вразумить неразумных. Только Ян Завиша подал голос:

— Передать дело обществу, нам кажется, вовсе не так страшно и удивительно. Что же касается справедливости, которую вы хотите установить сами, то, поверьте мне, еще не было на земле такого ангела, который вопреки своей совести смог быть судьей самому себе. Я говорю это вам, пан воевода, потому что желаю вам добра.

Воевода поморщился.

— А поскольку я желаю вам добра, — не обращая внимание на гримасу воеводы, продолжал Завиша, — я и сам себе не желал бы оказаться судьей в гневе, будучи не в ладу со своими недругами. Тем более, когда рассудить призваны меч и война.

— Вы все время попрекаете нас этой войной, — прервал его Радзивилл, — но нас же к ней подталкивают, а начнем ли мы ее, неизвестно. Ни себе, ни Литве я бы ее не желал.

— Так подтвердите свои слова делом, — промолвил епископ, — докажите хотя бы то, что можно достигнуть соглашения, покажите тропинку к нему.

— Пусть Ходкевич выполнит то, что содержится в его расписках и договорах, и тут же настанет мир и согласие, — сказал воевода. — Мы тут же перестанем судиться с ними, вот и конец всему.

— А что, если они не могут пойти против своей совести, чтобы выполнить эти договоры, потому что считают их несправедливыми? — спросил Ян Завиша.

— Тогда зачем жмудский староста и каштелян писали их? — возразил князь Януш. — Все делалось по доброму согласию.

Помолчали. Потом заговорил Гедройц.

— Значит, вы никоим образом не приемлете этих предложений, князь воевода?

— Но ведь это насмешка, а не предложения! — сразу же ответил Радзивилл. — Когда они все это предлагали, то заранее знали, что нам это не подойдет. Мы видим здесь только позволение для князя Януша видеться с княжной Софией, на которое они хотят нас поймать, как на приманку. Все остальное мог бы принять побежденный, а не тот, у кого есть надежда победить.

— Тогда пошлите им свой ультиматум, — предложил Завиша и подошел к князю.

— Какой толк от него? — усомнился воевода.

— А вы все же попытайтесь, — поддержал Завишу Дорогостайский.

— Ради блага страны и спокойствия в ней сделайте это, мы просим вас, — промолвил епископ. — Продиктуйте свои предложения. Вас это ни к чему не обяжет, вы первый получили от Ходкевичей их условия, теперь вы можете поставить свои.

Радзивиллы переглянулись, потом воевода вышел, чтобы посоветоваться с сыном и воеводой Зеновичем. К ним присоединились также смоленский воевода и Лев Сапега. Послы в это время ожидали.

Лев Сапега, как всегда склонный к примирению и согласию, горячо убеждал тестя дать свои дельные предложения, не отказываться от мира, если его еще можно было сохранить. Наконец, воевода вышел к послам короля со своими предложениями и сказал им:

— Вот вам мой ультиматум, раз уж вы хотели его получить. Если вы как следует поразмыслите над ним, то поневоле согласитесь, что в моих предложениях больше толка и желания достигнуть согласия. Со всем достойным внимания соглашаюсь, все возможное выполню, даже если это будет мне во вред. Верьте мне, панове, я хочу мира, а не войны, но мира без унижения, мира без вреда! Вот они, мои предложения:

— «Если каштелян чувствует и считает, что я оскорбил его, если так считают и наши общие друзья, то я готов в самой торжественной обстановке, с сохранением достоинства своего рода и своего собственного, охотно признать это. Что касается того урона и затрат, которые потерпели Ходкевичи, нанимая солдат, участвуя в судебном процессе, то могу по справедливости оплатить их, сделаю все, что в моих силах, чтобы это дело было прекращено. Если же моего слова и обещания будет недостаточно, я прошу ради большей определенности поручиться за меня своего тестя — князя воеводу киевского — и швагра — князя каштеляна краковского — в том, что я сдержу свое слово».

— Если они согласятся на эти предложения, то пусть не тянут со свадьбой! — прибавил он и взглянул на епископа, который выслушал его спокойно и без удивления.

— Благодарим вас, пане, за вашу рассудительность, за то, что вы сделали так, как мы просили, — сказал епископ. — Мы отнесем ваши предложения Ходкевичам и приложим все наши усилия к тому, чтобы они их приняли. Не будем скрывать, что мы не вполне уверены в успехе. Но пока что еще раз благодарим пана воеводу.

Радзивилл при этих словах склонил голову.

— Неужели с меня еще и этого мало? — спросил он. — Вдумайтесь в то, на что я иду, в мое положение, ведь я уверен в своей правоте. Тогда вы поймете, что я сделал для примирения очень много.

Видя, что разговор заходит в тупик, Завиша заявил:

— Чтобы сблизить вашу княжескую милость с Ходкевичами, мало мыслей и предложений, поданных с двух сторон. Никто из вас не желает уступить и, хотя вы на словах высказываете рассудительность, но все равно настаиваете на своем. Позвольте нам, выступающим здесь от имени его королевского величества, подать также и наши предложения, которые будут поддержаны королем. О них еще не знают паны Ходкевичи, мы их не показывали им, мы хотим, чтобы вы, пане воевода, первым ознакомились с ними и поразмышляли над тем, можете ли вы их принять. Мы делаем эти предложения вам первому как послы по предоставленному нам праву, делаем их вам не от Ходкевичей, не от себя, а от имени его величества короля.

— От его величества короля! — повторил Радзивилл и добавил: — Это то же самое, что и от Ходкевичей, ведь мы же знаем, что его сердце принадлежит им.

— Также, как и всем остальным, — промолвил епископ. — В глазах и в сердце короля все его подданные равны между собой.

— Равны! — снова повторил Радзивилл. — Если бы так! Вся беда в том, что они не равны. Его королевское величество хочет, чтобы все его подданные одинаково молились, чтили пятницу и субботу!

— А что в этом плохого или необычного? — возразил Ян Завиша. — Каждый считает свою веру самой лучшей, без этого бы никто ни во что не верил. А коль он так считает, то в искреннем стремлении хочет и всех остальных направить на путь истинный.

Воевода улыбнулся. На его лице отразились какое-то недоверие и холодная язвительность.

— Читайте же свое послание, — снисходительно произнес он.

Завиша прочел: «Это дело должно быть завершено на сейме. На сейме должны быть определены день и место, назначено определенное количество лиц от общества с тем, чтобы они выслушали все взаимные претензии, обиды, спорные вопросы и хотя бы на время примирили обе стороны. Если же сейм не сможет временно примирить их, тогда его величество король как высший арбитр сам решит дело в их присутствии. При этом обе стороны должны предстать перед королем, а до того сложить оружие и спокойно разойтись, не пытаясь начать войну. Однако сейм не будет решать, кому каштелян должен отдать руку княжны, никому не пообещает ее, что касается князя Януша, то ему будет позволено навещать ее».

— С некоторыми пунктами, да, только с некоторыми, я мог бы согласиться, — сразу же заявил воевода, — но не со всеми. Особенно вот с этим: чтобы я свои дела отдал на рассмотрение всего общества или короля. Короля, который всем сердцем и душой на стороне Ходкевичей и станет судить с пользой для них! Общества, которое не пережило того, что пережил я, которому примирение кажется легким, потому что ему не больно так, как мне! Никогда! Никогда я на это не пойду! Лучше уж на что-нибудь иное, чем на такие условия, которые связали бы мне руки, вырвали бы из них меч и отдали беззащитного на неминуемую расправу и уничтожение.

Присутствующие не осмеливались ничего сказать; а воевода только потрясал бумагой с предложениями послов и повторял: «Никогда! Никогда!»

Послы поняли, что толка от разговоров не будет, и вышли. Они взяли с собой документ с предложениями воеводы и снова пошли к Ходкевичам.

Ксендз Гедройц не позволял себе ни минуты отдыха, пока еще оставалась надежда сохранить мир и своим посредничеством хотя бы предотвратить начало междоусобицы. Он спешил, потому что видел: Радзивиллы уже завтра могут начать войну, которую потом ничем не удастся остановить, а урон всей стране может быть причинен очень большой.

И как не волноваться, если достаточно было заглянуть во двор к Радзивиллам, чтобы понять, там все дышит войной, все бряцает оружием: кардиналия была вся переполнена солдатами, ротмистрами, полковниками, двор был завален штабелями разного оружия и военного снаряжения. В каждом углу дворца шептались и советовались. Время от времени пытались разведывать: подкрадывались к крепости Ходкевичей, наблюдали, вызнавали, возвращались назад, чтобы рассказать, что там делается.

А вот у Ходкевичей наоборот: как только разместили пушки и войско, все смолкло и притихло. Ворота весь день были на запоре, защитники дворца спокойно отдыхали. Только изредка какой-то шум или крик долетал до улицы. Все, кто проходил возле твердыни, удивлялись такому спокойствию накануне войны, о которой здесь ничто не напоминало, разве что несколько орудий, стоящих на улице у ворот, возле которых топтались солдаты-охранники.

Послы вышли из кардиналии и снова вернулись к Ходкевичам. Они несли им двойные предложения: Радзивиллов и свои. Их приняли и провели к каштеляну, у которого в это время были жмудский и борисовский старосты и воевода Мнишек.

Ответ Радзивиллов они восприняли с прохладцей.

— Мы знали, что так оно и будет, — сказал каштелян. — Не желаем мы такого мира, пусть на все будет воля Божья.

— Воля Божья на то, чтобы не воевать, — заметил епископ. — Ради всего святого, сжальтесь над страной, постарайтесь не допустить войны. Подумайте, может, все же примите предложения Радзивиллов? Неужто они кажутся вам настолько неприемлемыми?

— Мы не можем их принять, — решительно заявил Ян Кароль, — никак не можем.

— Почему? — спросил Дорогостайский. — Воевода ведь обещает возместить все издержки. Если его слова для вас мало, то он выставляет залог.

— Он знал, что мы ему не поверим! — добавил каштелян. — Но все это без толку. Пусть отдаст расписки и договоры, прекратит судебное дело, оплатит расходы.

— Все это не делается так скоро, — попробовал убедить Дорогостайский.

— Еще как делается! — не соглашался каштелян. — Лишь бы только воевода захотел быть искренним. Но ведь все это только для вида. Радзивиллы жаждут войны, ради нее они привели в город столько войска; им хочется смуты, хочется сразу решить и свои дела и дела конфедерации. Это же ясно, как день.

— Тогда тем более необходимо избежать войны, — доказывал епископ. — У нас есть предложение послов короля. С ними уже ознакомился воевода Радзивилл. Прочитайте и вы.

После того, как Ходкевичи ознакомились с предложениями посредников, Ян Кароль сказал:

— Мы охотно положились бы на суд его королевского величества, но ведь наши враги сразу же заявят, что мы специально обратились к судье, который благоволит нам больше, чем нашим противникам. Что касается суда избранных от общества лиц, то вряд ли они сумеют нас рассудить: они не знают и не могут знать, что нас разделяет, чем мы недовольны. Мы не хотим и не будем говорить с ними о своих обидах, о своем долготерпении. Пусть нас рассудит меч, как это бывало в старину. Это будет самый лучший Божий суд!

Напрасно послы несколько часов уговаривали, настаивали, просили, напрасно пробовали убедить каждого из Ходкевичей вместе и врозь. Они твердо стояли на своем, ничем не хотели поступиться, а Ян Кароль все повторял:

— Если они хотят войны, то пусть войну и начинают, кровь падет на их души, мы за нее отвечать перед Богом не будем. Мы обижены неправедным судом, привлечены к трибуналу, нас вынуждают выплатить штраф, нам угрожают банницией. Бог видит, что мы перетерпели, Бог непременно будет за нас.

— Но князь воевода хочет примириться с вами, предлагает оплатить ваши издержки!

— А как примириться? — воскликнул Ян Кароль. — Сказать нам: «Простите»? Кивнет головой — и все на том? Он должен просить у нас прощения на коленях!

— Пан староста, надо по-христиански прощать виноватого.

— Я прощаю его перед Богом, но не прощаю перед людьми. Что бы стало на земле, если бы один раз было позволено холодным поклоном

покончить со всеми провинностями? Что осталось бы от нашей чести? Это же оскорбление наших родов и имен! Наши дети стыдились бы носить имя, оскверненное таким унижением! Настал бы час, и о нас сказали бы, что мы приняли то, что нам бросили из милости, потому что мы испугались. Но нет же, никого, кроме Бога, мы не боимся! Хотят войны, ну так и мы не будем трепетать, отплатим господам конфедератам как следует!

До поздней ночи длились тщетные уговоры. Послы короля напрасно старались добиться мира перед определенным в договоре сроком, напрасно пробовали использовать самые разные способы — каштелян и Ян Кароль оставались неумолимыми.

Епископ Гедройц покидал дворец Ходкевичей не в самом лучшем настроении.

— Мы сделали все, что могли, — сказал он Яну Завише, — но все напрасно. Завтра может быть страшный день, и наше место — возле воеводы, чтобы не дать ему поднять меч. Если будет нужно — грудью станем перед их пушками, и пусть стреляют, если хотят! Разве же мы можем позволить начать такую смуту в стране, подать такой губительный пример?

— Не должны позволить, — ответил Завиша, — но я сомневаюсь, что они нас послушают.

— Об этом лучше не думать, — остановил его епископ. — Пойдем завтра утром к воеводе и будем у него весь день, шагу без нас не дадим ступить. Именем короля запретим ему браться за оружие, ни на шаг не отойдем от него, может, тогда его проймет спасительный стыд.

— Дай-то бог! — согласился Завиша. — И те, и другие настолько разъярились, что нам уже не на что больше надеяться. Но что будет, то будет!

С этим они и разошлись.

В корчме Мальхера

Как раз напротив дворца Ходкевичей стояла корчма пана Мальхера, одна из самых посещаемых в городе. В ней продавали медовуху и вино. Мы навестим его в тот вечер, когда это заведение было заполнено самой пестрой публикой. Необычайная теснота, все переполнено, за всеми столами сидят, лавки, стулья, скамейки заняты; сквозь толпу почти невозможно пробраться, голоса почти невозможно разобрать в сплошном шуме и гаме. В одном месте почти дошло до драки, уже тащат из ножен сабли, сдвинули набекрень шапки, подкрутили усы и подбоченились. А неподалеку видишь проявление величайшей дружбы: горячие объятья, прочувствованные слезы над кувшином вина. По углам о чем-то таинственно шушукаются; отовсюду слышны возгласы:

— Пан Мальхер, бутыль ковенского меда сюда!

— Подайте нам вина!

— Два кубка нам!

— Бутылку настойки сюда!

— Кто наступил мне на полу?

— Не «тыкайте» мне, вельможный пане!

— Убирайся отсюда или получишь по лбу!

И так далее...

Посреди самого большого зала в камине пылал огонь, вокруг него расположилась солдатня, пьют, веселятся, идет игра в кости. Немного дальше играют в карты в окружении зевак, в углу слушают какого-то балагура.

В темном углу пристроился пан Брожак. Он склонился над кубком кисленького винца и тяжко вздыхал, все никак не мог забыть того «духа», который предрекал ему смерть. Свой страх Брожак пытался утопить в вине.

— Почему я должен умереть, зачем мне умирать? — бормотал он. — Неужели я так плохо жил, неужели столько зла сотворил, столько нагрешил? Как будто нет. И кому я так нужен на том свете, и неужели никому уже не нужен на этом? Хоть убей, не пойму.

По мере того, как вина в кубке убавлялось, смелости у него прибывало, он находил себе утешение.

— Быть того не может, чтобы я умер! Я еще хочу пожить! Я здоровый и сильный. Этот дух мог быть вовсе и не вестником смерти. Может, он хотел всего лишь остеречь меня от беды. А может, мне все это показалось. Ведь кому ни расскажу, все смеются, говорят, что это бред, никто не хочет верить. Но я-то помню, что видел духа, я не был пьян, это точно.

В то время, когда он таким образом рассуждал и размышлял, в корчму вошел Тамила. Пан Брожак с дружеской улыбкой встал со скамейки и поспешил ему навстречу.

— Привет! А я вас ждал!

— Видит бог, и мне вы очень нужны! Я как раз спешил увидеть вас и поговорить. У меня есть к вам дело.

— Какое? — спросил пан Брожак. — Если хотите позаимствовать у меня денег, то сразу скажу — даже шелега за душой у меня нет. Последний талер недавно отдал в костеле, а жалованья мне пока не платят, потому что деньги идут на оплату наемников, а придворные вынуждены ждать.

— Нет, речь вовсе не о том! — воскликнул Тамила. — Вот только я не знаю, как вам все объяснить...

— Да что там такое? О каких хитроумных вещах вы хотите толковать?

Тамила помолчал, потом сказал:

— Нет, сначала мы это дело запьем. Вино развяжет мне язык, а вам распахнет сердце.

— Да ну? — удивился Брожак. — Так в этом деле не обойдется без сердца?

— А как же, — улыбнулся Тамила и подозвал хозяина. — Пане Мальхер, кварту хорошего вина!

— Иду, иду! Сейчас будет вино.

Через минуту вино подали, и Тамила, подпоив Брожака, начал рассказывать ему о своем деле.

— Вот что, пане, хотите заработать несколько червоных венгерских злотых?

— Очень хочу! — воскликнул Брожак. — Карманы мои пусты, даже локти кафтана повытерлись. Но я соглашусь, если заработаю честно, не идя против совести.

— К совести это не имеет ни малейшего отношения! — заверил Тамила. — Дело в том...

— Не тяните, говорите скорей!

— Дело вот в чем: мне нужно, чтобы вы провели меня в ваш дворец, а потом вывели.

— Что? Что? — вслушиваясь во все более тихий шепот Тамилы, переспросил Брожак. — Зачем? Для чего вам это?

— Не скажу, потому что вам нет нужды знать об этом. Так согласны или нет?

Брожак задумался так, что даже забыл о початом кубке.

— Так, так. А не пахнет ли здесь изменой? — спросил он после минуты молчания. — А скажите мне, пане, кто вы такой? До сих пор я не спрашивал, думал, ну вот — хороший человек, и все тут. Но теперь я все же прошу, скажите, кто вы есть, зачем вам нужно попасть в наш дворец?

— Вам так уж хочется это знать? — спросил Тамила.

— Но мне надо знать, — стоял на своем Брожак.

— Ну, выпьем еще, и тогда я вам расскажу.

— В самом деле, выпьем.

— Так и быть, расскажу все, как есть. Только следите, чтобы нас кто-нибудь не подслушал. — За вас, пане Брожак!

— Ваше здоровье!

— Ну, так вот, слушайте. Я небогатый родственник пана канцлера.

— Да что вы говорите? В самом деле?

— Истинная правда! — заверил Тамила и продолжал. — При его дворе у меня довольно солидное положение.

— Ваш пан канцлер против нас, — прервал его пан Брожак, покачав головой, — он зять воеводы!

— Но католик!

— Да, католик, что правда, то правда. Ну и зачем же вам надо попасть во дворец?

— Придется мне все вам открыть.

— Этого я и жду.

— За вас, пане Брожак.

— Ваше здоровье, пане. Кстати, как вас зовут?

— Меня?

— Вас.

— Зовут меня... Да вы пейте, пейте, вы не выпили еще.

— Вы еще себе ни разу не доливали. А я дважды. Так как вас все же зовут?

— Как зовут? — Тамила подыскивал подходящее имя. — Гречина.

— Гречина — это фамилия. А имя?

— Ян (пусть будет Ян), — подумал Тамила и тихо добавил, — только не называйте его в корчме.

— Ну, что ж, хорошо, пане Гречина. Так что же вас заинтересовало в нашем дворце?

Тамила прошептал ему на ухо:

— Черные очи!

— Что, что? Не понимаю.

— Я влюбился. Там у вас среди придворных княжны Софии есть одна девушка, я хотел бы ее увидеть.

— Скажите только какая, — усмехнулся в усы пан Брожак. — Я их всех хорошо знаю. Они часто посылают меня за чем-нибудь в город. Как ее зовут?

— Как зовут? — подхватил Тамила, почесывая голову. — Вы совсем не пьете, пан Брожак. За вас!

— За ваше здоровье, пане Гречина!

— Тише! Я же просил вас...

— Забыл! Так как ее зовут?

— А вы угадайте!

— Как же, попробуй, угадай, их же там много. Этих паненок, и каждая как куколка. Кто знает, которая полонила ваше сердце.

— А все же попробуйте!

— Может, панна Малгожата, высокая брюнетка? Бледненькая такая.

— Нет, не она.

— Веселая Ульяна?

— ?

— Пухленькая, невысокая блондиночка.

— Угадали!

— Точно?

— Зачем мне врать? Вот я и хочу уговорить вас отвести меня к ней, хочу пусть даже издалека увидеть ее. Вот для чего мне надо пробраться во дворец Ходкевичей.

— Но вам не попасть к ней, там такая экономка! Охраняет их, как цепной пес.

— Я, по крайней мере, разузнал бы, где теперь княжна живет с ними, — продолжал Тамила, — ведь их всех перевели куда-то внутрь.

— Но провести вас мне не удастся, сторож у ворот всегда спрашивает, кто идет, — после некоторого размышления ответил Брожак.

— А вас сторож знает?

— Конечно. Да если бы и не знал, то по придворной одежде определил, что идет свой, и пропустил бы.

— А знаете что? Дайте мне свою одежду, я на минутку схожу туда и вернусь, — предложил Тамила.

— А если с вами заговорит кто-нибудь из придворных что вы скажете? Попадетесь вы, и я с вами.

— За это можете быть спокойным, — ответил Тамила, — я сумею выкрутиться. Теперь темно, вряд ли кто мне встретится, а если и заговорит кто, что же, у меня нет головы на плечах?

— Я все же опасаюсь, как бы чего не случилось.

— Ваш кубок полон! — напомнил Тамила. — Что-то вы сегодня почти не пьете!

— Да вот почему-то кружится голова...

— За вас, пане Брожак! Ну, так дадите одежду на полчасика?

— Страшновато, просто голова идет кругом!

— А чего вам-то бояться, ведь пойду я, а не вы? Обещаю, что за полчаса управлюсь.

— Как вас тянет к этой Ульяне! Может статься, что вы ее и не увидите.

— Пойдемте в коморку и поменяемся одеждой, а потом я поставлю вам еще кварту и дам пять червоных злотых.

Пан Брожак чувствовал, несмотря на выпитое и на головокружение, что он совершает нечто нехорошее, но не мог воспротивиться настойчивым просьбам, пошел с Тамилой в каморку и поменялся с ним одеждой. Потом снова сел с кубком в одной руке, другая ощупывала злотые в кармане.

Тамила пошел было из корчмы, но тут же вернулся.

— У вас там, небось, имеется пароль? — спросил он у Брожака. — Скажите его мне, чтобы я смог пройти через ворота.

— Белая церковь, — шепнул ему на ухо подвыпивший Брожак и приложил палец к губам.

Расслышав пароль, придворный тут же заторопился, вышел, пересек улицу и без происшествий проник во двор крепости. Он шел так смело и уверенно, что стража у орудий без слов пропустила его, узнав по одежде своего. Но сторож у ворот спросил пароль.

— Белая церковь, — ответил Тамила и ступил во двор. Здесь он осмотрелся и пошел вдоль стены, осматривая все, не оставляя без внимания даже мелочей. Дерзко и бестрепетно пробирался он среди стоящих и лежащих солдат, лошадей, сваленного в кучи оружия. Никто его не остановил, и он ни с кем не заговаривал. Так он обошел обе площадки перед дворцом, определил, где установлены орудия, где подготовлены места на стенах для солдат, мимо которых только что прошел, а потом вернулся к двери на Замковой улице. На этот раз Тамила шел напрямик, поглядывая на стены, на солдат, не пропуская ничего, достойного внимания. Вышел он так же, как и вошел, повторив уже известный ему пароль. Выскочив на улицу, он поспешил к корчме Мальхера к пану Брожаку, который сидел перед почти опустевшим кувшином, боясь допивать, чтобы совсем не потерять головы.

— Так скоро вернулись? — воскликнул он, увидев Тамилу. — Видели ее?

— Видел! — ответил тот, — Увидел все, что хотел, а теперь бери назад свои манатки и бывай здоров!

— Уже уходите? Почему так скоро?

— Потому что мне очень некогда!

Переодевшись в свое, Тамила накинул на плечи епанчу и побежал к князю Янушу, который и посылал его.

Молодой князь сидел в своей комнате и держал совет с полковниками и ротмистрами, паном Зборимским и другими о предстоящем штурме крепости. Тамила постучал в дверь и вошел.

— Что нового узнал? — спросил его князь. — Слышал что-нибудь?

— Нового не слышал, но был во дворце Ходкевичей.

— Как тебе удалось туда проникнуть?

— Не столь важно как, главное, что был и все, что смог, осмотрел. Я прошел через обе площади, видел, где стоят орудия, где во время штурма будут стоять солдаты.

— Ну и молодец же ты, Тамила! Этой твоей услуги я никогда не забуду! — воскликнул князь. — А теперь расскажи обо всем, что видел, подробно, нам это очень важно знать.

— Солдат в крепости как сельдей в бочке, — рассказывал Тамила, — я еле продрался между людьми, пушками, грудами сложенного оружия. На стены втащили орудия и нацелили их на прилегающие улицы, их меньше со стороны церкви, там, кажется, стоят всего три орудия; а самая мощная оборона со стороны улиц Замковой и Савич. Хорошие укрепления со стороны площади и домов князей Острожских. Проделаны скрытые площадки для стрелков, а также бойницы, да такие, что взять их можно только если обвалится стена, а они могут безнаказанно стрелять в нас. Около ворот натянуты крепкие цепи, лежат железные решетки для того, чтобы защищать ворота даже в том случае, если они будут разбиты. Во дворе и на стенах кроме ядер и пороха лежат груды камней. Думаю, что неспроста во дворах стоят большие котлы: не иначе как на наши головы собираются лить кипяток.

Князь Януш переглянулся с присутствующими.

— Если бы их удалось выманить в поле, — сказал Зборимский, — там бы мы с ними справились, пусть бы они только вышли за Вилию. А из этой лисьей норы их не выкурить!

— В самом деле, выкурить их оттуда будет непросто, — согласился Тамила.

— Ничего страшного! — успокоил их князь. — Разнесем по камушку все дома, сделаем пролом в стене и ворвемся через него!

— Прошу простить, что вмешиваюсь, — заговорил Тамила, — но очень уж непросто будет делать там пролом. Я не такой уж вояка и знаток военного дела, но все же понимаю, что там негде подступиться к стенам, чтобы сделать пролом. На улицах тесно, как в глотке, когда выпиваешь. Даже если и проделаем дыру, мы не прорвемся внутрь, потому что и оттуда, и сверху на нас нападут защитники.

— Разложим костры и выкурим их дымом! — воскликнул князь Януш и стукнул кулаком по столу.

— Они и огня не испугаются! — возразил Тамила. — У них есть чем погасить его. Да и не возьмет их огонь. А сидеть там они могут долго.

Князь поморщился.

— Подождем до утра, — сказал он. — А там будет видно. Я схожу к князю воеводе. А вас прошу, ради всего святого, стоять наготове со своими полками и охраной, пусть каждый будет на своем месте и ждет приказа. Вам всем вовремя скажут, что нужно делать. Солдат в город не отпускать. Я знаю, что им приходится несладко, но пусть потерпят и, главное, не

обижают горожан, потому что и так теперь на нашей совести будет любая жалоба жителей, им тоже тяжело.

Князь Януш кивнул головой на прощанье и заторопился к отцу.

Воевода тоже советовался с некоторыми из своих соратников о том, что делать. Разговор был бурный, князя пытались убедить, что лучше мир, чем война. Воевода сердился и нервничал. По всему было видно, что в душе он не только не хотел решать этот спор силой оружия, но, доведенный до отчаяния, втягивался в войну против своей воли, а потому был зол на самого себя и был всем недоволен. Он боялся потерпеть поражение уже с первых шагов. В душе спорил сам с собой, боялся опозориться, не хотел войны, не знал с чего начать. Но на словах выступал за войну и угрожал ею.

Князь Януш вошел к отцу как раз тогда, когда тот отвечал Дорогостайскому:

— Если вы хотите мира, то укажите мне путь к нему! Уговорите Ходкевичей...

— Даже и не думайте об этом! — с порога возразил ему Януш. — Я только что получил оттуда свежие вести. Они укрепились так, будто на них собираются напасть татары. Со всех сторон поставили орудия, наносили под стены камней, перегородили ворота цепями, собираются лить на нас кипяток! И народу там у них, как мака!

Воевода недовольно слушал рассказ сына. Ему хотелось легкой победы, сама мысль о долгом сопротивлении, затяжной войне выводила его из равновесия. Он весь встрепенулся, пожал плечами и воскликнул:

— Мы еще посмотрим, сколько им удастся продержаться! Завтра увидим! Вы отдали приказ людям? Они будут готовы?

— Им сказано ждать приказа, который поступит утром.

— Еще раз напомните всем, чтобы не бродили где попало. А собрались на Лукишках и по приказу все вместе выступили в город. Раз уж они подготовились, то и мы не будем спать в шапку, — добавил он, все более распаляясь. — Если же начнется война, если она разгорится, то берегитесь, паны Ходкевичи, потому что пощады не будет никому, не будет прощения, и горе вам, если проиграете!

Шестое февраля

Ранним утром (еще даже не рассвело) по всему городу зажглись огни в окнах, и началось необычное движение. Тут и там по улицам шли большие отряды солдат, слышался грохот молота, это где-то в спешке закрывали ворота. В домах, стоящих недалеко от возможных военных действий, были даже заколочены нижние окна, в более отдаленных домах их заложили досками изнутри. Из каменных домов, стоящих вблизи дворца Ходкевичей, некоторые жители даже выселились.

Когда рассвело, улицы оказались пустыми. Все молчало. Никто не выходил из домов, никто не выказывал никаких примет жизни, только в церквях и костелах, как обычно, перекликались колокола, но в этот раз они напрасно звали к молитве. Двери костелов стояли открытые, но никто не приходил, скамейки пустовали, и ксендзы отправляли молебен только для нищих с паперти.

Что творилось внутри каменных и деревянных домов — описать трудно; ночь прошла без сна, день начинался в страхе и тревоге. Жители опасливо всматривались сквозь щели заложенных досками окон, пытаясь разглядеть, что делается на улицах, прислушивались, не донесется ли выстрел, возвещающий о начале войны. Но с самого утра было тихо, ничего необычного не происходило, только в девять часов, рано для зим-

ней поры, войско Радзивиллов вступило в город и заняло Сенаторскую и Святодуховскую улицу, небольшую площадь перед церковью Богородицы, а также территории около костела Святого Яна и рядом с замком. Топот непривычно раздавался в глубокой тишине, он повергал горожан в ужас.

— Ну все, сейчас начнется битва! Уже идут войска Радзивиллов! Уже идут, уже окружают крепость Ходкевичей, — пугались жители.

Самые смелые осторожно вышли разведать и подтвердили догадки. Войско уже стояло в городе.

А в это время послы короля торопились к воеводе. Епископ Гедройц решил не отступать и лучше пожертвовать в этот день своей головой, чем позволить взяться за оружие. Старый ксендз взял с собой братьев Завишей и вместе с ними пришел в кардиналию. Здесь они застали большой совет, который думал не о сохранении мира, а о том, как бы половчее приступить к нападению и штурму. Каждый предлагал свое, каждый разумел это дело по-своему, но все советы и предложения казались воеводе неподходящими. Он хотел сходу навалиться, разбить, уничтожить, пленить, победить и уже вечером справить свадьбу. И все теперь старались доказать ему, что такое невозможно.

— С таким войском, как наше, да не смести эту горстку! — бушевал он.

— Им очень удобно защищаться, а нам трудно нападать, — объяснял ему Дорогостайский. — Что вы тут сделаете, если даже половина наших солдат не уместится под крепостью. А для штурма и вообще места нет. Только где-то тысяча сможет там подступиться к стенам. А что делать кавалерии? С ней можно хорошо развернуться в поле, а здесь она не пройдет, на стены не взберется, ей некого рубить и стрелять.

— Перво-наперво надо выбить ворота! — предлагал воевода.

— Ворота защищены орудиями, — заметил кто-то. — Около каждых — штук пять. Мы не пробьемся под их огнем, многих погубим. Они начнут сверху стрелять из орудий, а подойдем поближе — сметут из ружей.

— Может быть, лучше начать штурм со стороны церкви, они там слабее всего, — предложил князь.

— С церковного двора? — уточнил Зборимский. — Священники сказали, что они нас во двор не пустят, потому что как только с той стороны начнут стрелять из орудий, то непременно повредят церковь, а она под опекой конфедерации, вы, пане, наверное, не захотите, чтобы ее уничтожили. Крышу совсем недавно покрыли дранкой, чуть что — сразу пожар.

Князь Константин Острожский, киевский воевода, подтвердил:

— Монахи уже приходили ко мне, просили *saecuritatem* — неприкасаемости — для дома Божьего. И я пообещал, что если дойдет до войны, то буду стараться, чтобы церковь никоим образом не повредили. И это будет справедливо, потому что у нас и так уже отобрали столько церквей, а тут еще и мы натворим беды. Я приказал ротмистрам, чтобы церковь оберегали.

— Не иначе как Ходкевичи знали об этом и потому не поставили там орудий! — заметил воевода. — До чего же умные! Тогда, пане, дайте совет, с чего начать?

— Если мы собираемся начинать, — подал голос военачальник князя Острожского, — то надо попробовать взять штурмом ворота со стороны улицы Савич. Да, мы потеряем там много людей, не без того, на то и война. Может быть, погибнет там очень много, но к вечеру ворота взять можно. Когда они увидят, что мы взяли ворота, то выйдут биться с нами. Если завяжется бой во дворе, наши силы уравняются.

— Они не выйдут, побоятся, чтобы их не окружили, — заметил Зборимский. — Жмудский староста не пойдет на это. Они только зря загубили бы много людей, потому что мы с нашей силой можем быстро отсечь их и взять в мешок.

— Тогда что посоветуете вы? — спросил Зборимского воевода.

— Если уж дойдет до дела, — отвечал тот, — то нужно идти на штурм со всех сторон одновременно: и на ворота, и на все стены.

— Только загубим людей, а ничего не сделаем, — проговорил кто-то. — Всю силу в одно место...

— Но ведь всей силой двинуться никак нельзя, даже часть ее не поставить в одном месте. Тесно, войскам негде развернуться, солдаты будут давить друг друга. В такой толчее свой своего не узнает. А столпимся вот так, и они легко перебьют нас — дадут несколько залпов, и мы поляжем, как снопы.

— А может, все же порешим на том, чтобы начать атаку со стороны церкви? — после минуты молчания заговорил один из военачальников. Там у них самое слабое место. Они кинутся защищаться туда, а в это время второй отряд овладеет воротами со стороны улицы Савич.

— Вы думаете, что у них так мало людей, что они побегут защищаться со стороны церкви и никого не оставят у ворот? Солдат у них хватает, их даже слишком много для обороны дворца.

Все замолчали. А потом снова посыпались разные предложения, но ни одно не давало уверенности в том, что крепость будет взята без большой потери людей и длительного сражения. Воевода терял терпение. За разговорами шло время, солнце поднималось все выше, а еще ничего не было решено. Войска Радзивиллов все это время стояли в большом напряжении, ждали приказа, а его все не было.

А во дворце Ходкевичей, казалось, все вымерло — стояла глубокая тишина. Ворота были закрыты, окна забиты, форточки заложены. На стенах иногда показывалась голова в шишаке или в шлеме, но тут же исчезала. Изнутри не доносилось ни лязганья оружия, ни конского топота. Никто не выходил в город, а из города никто не проходил внутрь.

Но, несмотря на такую тишину и молчание, все было в готовности: солдаты стояли на стенах, оружие заряжено, зажжены фитили для орудий. Сам Ян Кароль в блестящей испанской кирасе, искусно украшенной, позолоченной, прохаживался взад-вперед, осматривал позиции. Он проверил сооруженные перед стенами заслоны, посмотрел, хорошо ли поставлены орудия. С высокой башни, построенной в углу дворца, староста мог хорошо рассмотреть подтянутые к нему войска Радзивиллов, которые, казалось, заполнили все вокруг. Осмотрел и молча спустился вниз. Пан Барбье с удовлетворением заметил:

— Большое, надо думать, замешательство сейчас в кардиналии! Не знают, откуда начать. Твердый им достался орешек, не разгрызть!

Озабоченный жмудский староста ничего на это не ответил, он не обращал внимания на француза.

Он обошел двор, еще раз поглядел на своих людей, готовых к бою; их было полно везде, все были вооружены, хватало оружия, военного снаряжения, припасов.

Потом он подошел к брату и каштеляну, которые, как и он, были в доспехах, при саблях; они сидели и ждали начала битвы, сигнала браться за оружие. Только сандомирский воевода как посредник не был вооружен, стоял спокойно и не выглядел готовым к предстоящему сражению. Наморщив лоб, он сидел в отдалении от других, опершись о большую книгу.

А княжна? О, тяжелым был этот день для нее! В черном траурном платье она с самого утра стояла на коленях перед иконой Покрова Божьей Матери и молилась. Ее глаза покраснели от слез, она еле могла рассмотреть икону и лампаду над ней. Она воздела руки к иконе, молитвенник лежал на полу. Она хотела молиться снова, но уже не было сил. Сто раз начинала и сто раз подбегала к окну, как только слышался лязг оружия, какой-нибудь

шум, смотрела, вслушивалась, возвращалась, снова становилась на колени, начинала молитву и снова бежала к окну.

Таков был для нее, этой бедной сироты, день ее рождения, пятнадцатая годовщина ее прихода на этот свет.

Ее молитвы и ожидание на какой-то момент прервали каштелян и оба его брата. Они появились в комнате, холодно поздоровались и тут же вышли. Княжна снова осталась одна перед иконой Покрова Божьей Матери, снова заламывала руки и плакала. Минуты тянулись бесконечно, часы казались столетиями, а над всем властвовали неуверенность и страх. И никто не пришел утешить ее, никто не обнадежил, никто даже не разделил с ней тревогу. С ней молились служанки, порой в приоткрытую дверь робко заглядывала пани Влодская.

А в это время на совете во дворце Радзивиллов также проходил час за часом, миновал полдень, оставалось не так уж много светлого времени в этот короткий зимний день, а штурм все не начинался, войска не двигались с места. С вершины башни несколько раз осматривал окрестности Ян Кароль, но тоже видел солдат на прежних местах.

— Что бы это значило? — спрашивали во дворце Ходкевичей.

— Что бы это значило? — перешептывались жители города.

— Пойдут на примирение, — начинали предсказывать те, кто всегда торопится выскочить вперед со своими догадками, опережая события.

А что же случилось на самом деле? На совете никак не могли определить, каким способом брать хорошо укрепленный дворец, недоступный из-за своего местоположения в городе. Напрасно воевода нажимал, возмущался и торопил. В бесплодных спорах терялось время. Епископ использовал подходящую минуту и напомнил, что войну нельзя начинать, не спросив Ходкевичей хотя бы для проформы, намерены ли они выполнить ранее заключенные договоренности. Ему хотелось выиграть время. Он видел, что военный совет не может достигнуть соглашения, столкнувшись с трудностями уже в самом начале этого противостояния; обсуждение затягивается, и их затея вообще может ничем не кончиться, придется расходиться восвояси.

Воевода поддержал епископа, он попросил нескольких придворных сходить к Ходкевичам и спросить, выдадут ли они княжну Софию за князя Януша в тот день, который был определен давнишним договором. В это посольство вошли Криштоф Зенович, Лев Сапега и львовский писарь Сташевский.

Они вышли из кардиналии и пошли напрямик к двери на Замковой улице. Пан Сташевский постучал. Но внутри никто не отозвался: стражи поспешили к жмудскому старосте с вестью, что из кардиналии пришли послы и просятся войти.

Они стучали снова и снова, ждали довольно долго, наконец, староста вышел, дверь открылась, решетки и цепи убрали. Пока этим занимались, к воротам подошли также виленский каштелян, пан Александр Ходкевич и сандомирский воевода. Ян Кароль, отдавший приказ открыть дверь, оставил дядю и вернулся в дом. Послы вошли, холодно поздоровались, виленский каштелян повел их направо к небольшому помещению, наполовину запрятанному в землю, с одним небольшим окошком и лестницей, ведущей вниз. Послов вели сюда, чтобы они не шли через двор и не видели того, что было сделано в целях обороны.

— Мы не можем провести вас дальше, — сказал каштелян, — поэтому простите нас, что мы принимаем вас здесь, но это не наша вина.

Паны Зенович и Лев Сапега молча приняли извинения. Ничего не ответив, они прошли в комнату. Там Лев Сапега объяснил каштеляну, с чем они пришли:

— Нас послал сюда князь воевода, который хочет еще раз узнать от вас, пане каштелян, намерены ли вы держаться данного слова и заключенного некогда договора. Хотите ли вы сегодня же выдать княжну Софию за князя Януша?

— В этом и состоит смысл нашего посольства, мы ждем вашего ответа, — добавил Зенович.

— Наш ответ прежний, — сразу же ответил каштелян, — ведь мы вам, пан канцлер, недавно говорили, и сегодня еще раз повторяем: время покажет, кто и как придерживается соглашений. Мы от своего не отступаемся, ждем князя Януша со сватами. Приведем к нему княжну, она жива и здорова, у нее свой ум, она сама, без нашего принуждения скажет, согласна ли она вступить в брак, по сердцу ли ей князь Януш. Вот так. Мы придерживаемся прежних договоров и расписок. Что касается меня, — прибавил он, — то я даже и не знаю, и не догадываюсь, что может ответить княжна, потому что я не спрашивал у нее об этом.

Послы удивленно переглянулись, они ожидали совсем другого ответа. Они даже не знали, о чем дальше говорить и чего еще требовать: каштелян дал исчерпывающий ответ.

— Поскольку я ее опекун, — добавил он, — и у меня есть власть над ней, я мог бы заставить княжну, но я не хочу этого делать, не хочу даже советовать ей что-либо, чтобы не брать грех на душу. Пусть она сама определит свое будущее. Если вы, панове воевода и канцлер, хотите, то сходите сами к княжне и спросите, пусть она скажет вам, что она думает о браке и князе Януше.

— Нас послали не к княжне, — сказал канцлер, — а только к вам, поэтому нам достаточно того, что вы сказали, с этим мы и поспешим к князю воеводе.

Они перекинулись еще парой слов, попрощались и вышли, с интересом глядя на переполненный солдатами двор.

— Что вы обо всем этом думаете? — спросил Зенович канцлера, когда они вышли на улицу. — Что может означать такой ответ?

— То, что княжна обязательно откажет своему нареченному, — тихо ответил канцлер. — Или я чего-то не понимаю. Разве возможно так легко достигнуть соглашения?

Они заторопились к кардиналии, где их с нетерпением ожидали.

Мир или война?

Послы вошли. Воевода бросил на них взгляд, будто хотел о чем-то спросить, но побоялся, и молча ожидал, что они сами скажут. А князь Януш даже не повернулся к ним, он был уверен, что послов или не пустили внутрь, или отказали им.

Все, кто был в комнате, окружили послов, на лице каждого читалось любопытство, все тихо спрашивали:

— Что принесли?

— С чем возвращаетесь?

Канцлер шагнул к воеводе, хотел что-то сказать, но Зенович опередил его:

— Это нечто неслыханное! — воскликнул он. — Паны Ходкевичи...

— Не пустили вас? — с волнением в голосе спросил воевода.

— Совсем наоборот — мы побывали там, — продолжал Зенович, — хотя и не сразу достучались. К нам вышел каштелян вместе с сандомирским воеводой и племянником Александром. На наш вопрос, собираются ли они исполнять договор, они ответили...

— Что ответили? — нетерпеливо спросил воевода.

— А то, что ждут князя Януша со сватами, а когда те придут, то приведут к ним княжну, чтобы она сама ответила, согласна ли выйти замуж. Никто не будет ее принуждать и уговаривать. Нам самим предлагали встретиться с княжной, чтобы мы спросили ее. Каштелян заверил нас, что он ее не спрашивал и сам не знает, какова будет ее воля.

— Так чего же можно еще желать? — сказал епископ Гедройц. — Пусть князь Януш идет к ним.

Насупленный воевода молчал.

— Как же! Идти к ним! — воскликнул князь Януш. — Да разве же вы не понимаете, что они только делают вид, что исполняют договор? А сами готовят нам новое издевательство! Они заставили княжну отказать мне. Им этого теперь как раз и нужно: чтобы я сходил спросить ее, а она под принуждением ответит, что не хочет выходить за меня замуж. И тогда, в самом деле, все будет решено, договор исполнен. Это выгодно им, потому что пред людьми они будут выглядеть справедливыми и честными. Но я не могу пойти к ним, ясно же, что каштелян со своими племянниками в сговоре против меня, там у них уже все продумано, как покрыть меня позором. Пойти туда и вернуться с отказом, опозоренным! Нет, этого не будет! Вы же видите, уже и княжна с ними, уже и ее сумели уговорить!

— Каштелян ручался, — спокойно промолвил Сапега, — что с княжной он не говорил об этом, не расспрашивал и не знает, что у нее на уме.

— Может, сам каштелян этим и не занимался, — ответил ему воевода. — Но он мог кого-нибудь послать, кто сумел бы сообразно настроить слабый женский ум. Если бы они не были уверенными, что будет так, как им хочется, то не ставили бы сейчас условие, которому ранее не придавали никакого значения.

— Ее сумели настроить против нас, уже и ее привлекли к борьбе! — в отчаянии кричал Януш. — Но нет, нет, это они сами виноваты, договор здесь ни причем! Княжна в их власти, она скажет то, что ей внушили. Если она станет свободной, то и ответ будет иной. Прежде чем мы ее спросим, ее нужно вызволить оттуда.

Воевода и сам думал так же, он повторил вслед за сыном:

— Все это только западня для нас, чтобы дело кончилось ничем, они хотят отпереться от всего словами княжны: «Не хочу». Однако же так, как хотят они, не получится. Мы не пойдем спрашивать ее теперь, потому что каштелян должен сдержать свое слово, никаких сговоров против нас составлять он не может, так как вместе со своими племянниками дал обещание. Здесь же мы видим несомненный обман, явную хитрость.

— Командуй, сын, — обратился он к Янушу, — чтобы войско окружало дворец, — и пусть сбудется воля Божья!

Князь Януш пошел было к дверям, но его остановил Ян Завиша. А епископ Гедройц подошел к воеводе Радзивиллу.

— Княже! — закричал он. — Одумайся, что ты говоришь, ты ведь подаешь сигнал к битве, а легко ли у тебя на душе? Сможешь ли потом оправдаться хотя бы перед собой? Образумься, отмени приказ! Паны Ходкевичи не отрекаются от своих слов, каштелян ручается, что не знает о воле и намерениях княжны, зовет к себе, чтобы она сама рассудила вас. А вы в ответ даете войску приказ идти на приступ. Ради всего святого, опомнитесь! Чего вы добиваетесь? Жены для сына? Но стоит ли угрожать всей стране ужасом гражданской войны только лишь ради того, чтобы настоять на своем? Вы же здесь не чужой, вы сам сын той страны, которой угрожаете. Так можно ли хотя бы на минуту усомниться в том, каков должен быть ваш выбор? Все можно уладить. Помирим вас, вы разберетесь между собой, так не спешите обнажать меч, чтобы потом не жалеть об этом!

Вслед за епископом и все другие стали увещевать князя воеводу.

— Прислушайтесь к тому, в чем вас убеждают! — советовал Лев Сапега, — будущее воздаст вам, вся страна станет благодарить вас, если вы разрешите ваш спор мирно, во имя Бога забудете обиды, не будете жаждать мщения, которое может пасть и на невинные головы.

— Во имя всей Литвы заклинаю вас, княже! — вслед за ним подал свой голос Дорогостайский. — Вы хотите, чтобы все признали, что вы — причина бедствий и несчетных жертв для страны, причем только лишь ради собственной выгоды, а лучше сказать — из-за одной только горячности, будучи в гневе. Князь! Все знают вас как совершенно другого человека. Мы все утрясем, уладим, завершим мирно, так умерьте свой гнев, прислушайтесь к тому, что вам говорят!

Пока все, обступив воеводу, пробовали урезонить его, уговорить не начинать войны, князь Януш стоял возле двери. Объятый гневом, обозленный задержкой, он жаждал войны, на успешное завершение которой сам не надеялся. Хотел лишь только утолить жажду мести. Однако он не мог выйти и отдать приказ, стоял, глядел на лицо отца, на котором отражались противоречивые чувства. То загорались искры в глазах и дрожали губы, то он снова бледнел, взор гас, глаза опускались вниз; князь открывал рот, будто хотел что-то сказать, но молчал, вновь загораясь гневом и нетерпением.

К Гедройцу и братьям Завишам присоединились канцлер Сапега, князья Острожские, Абрамович, племянник воеводы, его шурин Нарушевич, Зенович, брестский воевода — все окружили князя Радзивилла, просили, настаивали, заклинали, чтобы он не отдавал зловещего приказа начинать гражданскую войну, чтобы сдержался, поразмыслил и хотя бы отложил на время это непоправимое решение.

— Воевать никогда не поздно, — убеждал Сапега, — но уже если вытащишь саблю из ножен, то так просто назад ее не спрячешь. Если к мечу пристанет хотя бы капля братской крови, она будет звать к мести, а там — месть за месть, и конца края не будет потрясениям, стычкам, войнам.

— Нет, нет! — воскликнул воевода, у которого, наконец, прорезался голос. — Эта кровь падет на их головы, я не виноват в ней, я не жажду ее, я до последнего уговаривал их, шел на унижение, хотел мира и согласия!

— Так покажите же, что вы остались таким, каким были, — слабым голосом промолвил епископ Гедройц. — Не отдавайте это дело на откуп слепому року. Когда к вам подступится смерть, около вашей кровати встанут тени убитых братьев и не дадут вам спокойно умереть. Да и за что воевать? Ради чего затеяна вся эта война? Ради чести своего имени, ради женщины! Стыд, позор! Есть ли повод для того, чтобы враждовать, проливать кровь? Есть ли повод начинать братоубийственную войну? Весь мир обратит на нас свое внимание, на нас будут показывать пальцами. Мы со всех сторон окружены врагами, и даже если бы у нас было в сто раз больше оружия и людей, то и их не достало бы для того, чтобы дать отпор натиску наших извечных врагов. Если бы у нас было в сто раз больше крови и жизней, мы смогли бы лучше распорядиться ими, если бы стеной стали против своих врагов. Так зачем же нам самим накликать их, они с выгодой для себя используют наши распри. Князь! Так дайте же убедить, уговорить себя! Во имя мира для государства, во имя его величества короля, всех нас, жителей княжества, во имя ваших предков, ни один из которых не пролил ни капли братской крови, заклинаем тебя, воевода, передай это дело высочайшему судье!

— Какому? — спросил князь. — Королю?

— Богу! Только он судит всех и вся! — завершил епископ.

— И время! — добавил Сапега.

Кроме той бури, которая бушевала в душе Радзивилла, в нее исподволь вкрадывался страх за последствия такого непродуманного решения. Воевода не повторил отданного сыну приказа, понуро стоял и молчал. Потом упал в кресло, опустил голову и задумался. Теперь некоторые заговорили с князем Янушем, что-то доказывали ему, убеждали в том, какой неслыханной и нелепой выглядела бы его затея домогаться жены силой оружия, если этого можно добиться и без кровопролития. А воевода все молчал, думал. Януш отошел от двери. Но его лицо все еще пылало, а сердце стучало в груди. Не удивительно: он же был еще совсем молодым, чувства брали верх над разумом.

Через несколько минут все снова повернулись к воеводе, который все так же сидел, не имея сил промолвить хотя бы слово.

— Принесите себя в жертву, — обратился к нему Гедройц, — а Бог, король и вся страна наша будут благодарны вам на этом и том свете! Одно ваше слово может оказаться погибельным для всей страны, может накликать на вашу голову проклятья и жалобы множества семей, так посоветуйтесь со своей совестью, прежде чем решать.

Воевода встал и взял Гедройца за руку. Он был взволнован — и немужская слеза, может, впервые за многие годы, блеснула из-под ресницы.

— Я не скажу этого слова, — промолвил он, — я лучше поступлюсь своими интересами, лучше поддамся, но не возьму греха на душу. Вы меня убедили. Спасибо вам! Я не хочу войны — во всяком случае, сейчас. Жертвую собой, ибо я действительно поддался гневу и запальчивости из-за оскорбления, из-за обиды.

— Распустить людей, отправить их на постой! — приказал он сыну.

Князь Януш постоял немного, не зная, окончательный ли это приказ, но все уже двинулись к дверям, и тут же около двадцати посыльных поспешили передать войску приказ возвращаться на постой.

Сенаторы благодарили князя, но он молчал. На его лице отражались следы тех душевных мук, которых стоила ему сегодняшняя жертва. Князь вновь сел и задумался.

Солнце заходило. Его последние лучи еще блестели на окошках башен, на крестах, шпилях костелов, когда отряды войска Радзивиллов выступили из города, повернули назад.

Из башни дворца Ходкевичей за всем этим наблюдал Ян Кароль и не понимал, что бы это могло означать. Сначала ему показалось, что войско собирается пойти на приступ. Даже когда улица опустела, он подумал, не заходит ли оно с тыла, чтобы напасть внезапно. Он отдал приказ, солдаты заняли свои места на стенах. Все замерло в ожидании. Но войско Радзивилла исчезло и более не показывалось. Солнце село, начал надвигаться мрак, и уже не было сил терпеть, ведь целый день прошел в напряжении. Ян Кароль спустился с башни и пошел к каштеляну.

— Какие-то чудеса творятся, — сказал он, входя. — Они отступили, отошли.

— К чему бы это? — спросил Мнишек.

— По-видимому, не нашли выхода. Целый день держали совет, как наступать, что делать, а теперь отступают — боятся тронуть нас, — объяснил Ян Кароль.

— Может, нас хотят обмануть? — высказал догадку каштелян. — Сделали вид, что отступают, а ночью, в самую собачью пору, попытаются захватить нас исподтишка.

— Солдаты будут сторожить на стенах! — заверил Ян Кароль. — Будьте спокойны, я своих на постой не отправлю.

— Но кого-нибудь надо послать на разведку — предложил Александр Ходкевич.

— Один пошел уже, — ответил Ян Кароль, — да что-то долго не возвращается. Как только войско двинулось назад, я послал его раздобыть языка среди католиков, которые служат у них по принуждению, но в душе с нами.

Ждали до полуночи

Большой зал в кардиналии был переполнен людьми. Посреди зала стоял длинный стол, застланный дорогой скатертью. На нем горели восковые свечи, а посредине лежали распятие и Библия.

Возле стола в молчании застыли евангельский пастор и православный монах. Немного поодаль от них готовились исполнять свои обязанности двое трибунальских возных, оба высокие, худые, с вытянутыми шеями и лихо подкрученными усами. Они посматривали то на людей, то друг на друга.

Большие гданьские часы в стеклянном ящике показывали, что через десять минут они пробьют полночь.

Собравшиеся негромко переговаривались. Среди них выделялись богато одетые князь воевода и его сын Януш, их белые атласные жупаны и алые кунтуши были заметны издали. Оба застыли в угрюмом молчании. Воевода посматривал на часы.

Прошло еще пять минут — все то же глубокое молчание.

Наконец, часы начали медленно отбивать время, и как только прозвучал двенадцатый удар, воевода встал на возвышение и начал говорить:

— Свидетельствую перед всеми здесь присутствующими, что я ничем не нарушил назначенного срока, оговоренного с панами Ходкевичами. Мы пригласили их сюда, ждали весь день, были готовы заключить союз между присутствующим здесь моим сыном Янушем и княжной Софией Слуцкой. Этот срок истек, договор остался неисполненным, но не по нашей вине.

Почти то же самое выразительно и громко повторили с употреблением специальных юридических терминов на латинском языке оба возных. Князь сошел с возвышения, распятие, Библию и свечи вынесли, двери распахнули настежь, и воевода пригласил всех многочисленных гостей в другой зал, где их ожидал уставленный яствами стол, хотя и поздний, но богатый ужин.

Мы не будем описывать банкет, которым завершился этот ужасный день. Разгоряченные вином гости не раз со злостью вспоминали Ходкевичей, звучали угрозы и упреки, рты не закрывались. Только один воевода молчал, его напрасно пытались развеселить приятели и прилипалы, но, сколько бы они не усердствовали, он ничего не говорил.

Разошлись только под утро.

А во дворце Ходкевичей все готовились, также, как и днем, отбивать нападение. Перекликались солдаты, пылали костры, прохаживалась вдоль стен стража. Миколай Хомец в кирасе, со шпагой у пояса, обходил часовых, будил тех, кто заснул, чутко прислушивался к любому шороху на улице. Каштелян с Яном Каролем и Александром Ходкевичем сидели в своей комнате. Княжна София все молилась перед иконой Богоматери.

Так в тревожном ожидании миновала ночь, настал день. Открыли двери в стенах, послали на разведку людей. Вскоре от Завишей принесли точные вести о том, что произошло у Радзивиллов вчерашним днем.

Ходкевичи очень удивились той уступчивости, которую проявил воевода под натиском своих соратников, не понимали ее, объясняли себе только тем, что дворец трудно было взять приступом. Они знали о совете военa-

чальников, пытавшихся найти наилучший путь к победе, знали, что они ничего не смогли придумать и не пришли к единому решению о штурме.

Перед обедом пришли епископ Гедройц с панами Завишами, снова пытаясь добиться примирения. Но — напрасно. Ян Кароль, осмелев после вчерашних колебаний воеводы, не позволил каштеляну хоть чем-либо поступиться. Каштелян также, как и вчера, все возлагал на княжну. Весь день шли взаимные переговоры. Было не так легко сблизить Радзивиллов и Ходкевичей, привести их к соглашению. Но было очевидным и то, что обе стороны устали от ненависти и нервного напряжения, хотели спокойствия и мира, хотя бы временного.

Что было потом

Утром опекун навестил Софию и при взгляде на ее бледное осунувшееся от непрерывных молитв и тревоги лицо ему стало жаль эту почти еще девочку. София сначала не заметила его, она молилась. Сирота не думала о себе, а только о превратностях войны, причиной которой она могла стать. Она не слышала выстрелов, звуков битвы, и благодарила Господа, что он даровал то, о чем она просила — мир.

Увидев дядю, она встала и поздоровалась с ним. Каштелян глянул на нее еще раз и под усталостью и бледностью разглядел радость.

— Радзивиллы не захотели вчера встретиться с вами, — сказал он, — а мы их звали.

— Звали? — удивилась княжна.

— Да, звали их к вам, чтобы вы сказали, люб вам Януш или нет. Мы были уверены, что вы нас не подведете. Но они не захотели встретиться с вами.

Княжна вздохнула и помолчала.

«И он усомнился во мне», — подумала она и сказала:

— Я надеюсь на Бога и на вас. Я научилась быть терпеливой и надеяться на высшую волю. Приму из рук Господа все, что будет.

Каштелян перекрестил княжну и ушел, она снова осталась одна. Глянула во двор: там, как и вчера, готовились к обороне. Хотя в назначенный срок нападения не последовало, Ходкевичи не хотели распускать свое войско и сдаваться на волю неприятеля, который мог одуматься и использовать столь благоприятный момент. Они Радзивиллам не верили и не торопились разоружаться, ждали, что будет дальше.

Добившись своего, сенаторы заторопились из Вильно, чтобы подготовиться к назначенному на март сейму. Распустили некоторые отряды и сами Радзивиллы, забыв о войне и надеясь на закон в решении спора с Ходкевичами, посчитав, что с его помощью можно будет сделать это просто и мирно.

Весь февраль шли переговоры о мире, но без успеха. Наконец, обе стороны были приглашены на мартовский сейм в Варшаву, и там это дело было, наконец, завершено. Оно померкло перед более важным: угрозой войн с Валахией и Швецией, это тогда беспокоило более всего.

Когда после сейма Ян Замойский начал собирать войско для войны против Валахии, к нему присоединились и оба Ходкевича, Ян Кароль и Александр, забыв о своих делах ради государственных. Увы, того же нельзя сказать о Радзивиллах: они не поставили для этой войны ни одного отряда, отдавая все свое время и все силы на установление в стране хотя бы относительного перевеса протестантов. Отъезд на войну Яна Кароля с братом давал им надежду легче найти взаимопонимание с каштеляном, который остался в Вильно один.

В Бресте Литовском

Валашский поход длился до самого конца того же 1600 года, а в июне в Вильно заседал трибунал. На него снова позвали Ходкевичей, чтобы с одной стороны попугать возможными карами, с другой — предложить условия соглашения. Утомленный долгим единоборством, каштелян остыл, братья издали тщетно продолжали восстанавливать его против Радзивиллов, умоляя ничего не предпринимать без них. Каштелян же был склонен к примирению, в душе был за него.

Он согласился отдать княжну за Януша, получив ее согласие на это. Но для успокоения совести поставил условие, чтобы на это было позволение из Рима.

Его дела в суде были прекращены, удовлетворены некоторые из его претензий, в том числе об оплате найма солдат. Брак договорились заключить в Бресте 1 октября 1600 года. Соглашение об этом подписали 8 июня. Но не скоро возобновились добрые отношения двух семейств, обида и холодок в душе еще долго оставались.

А княжна? Она радовалась миру, с надеждой ожидала конца этой истории, но иногда ей казалось, что Бог может не благословить их брак и это рождало в ее душе тоску.

Напрасно князь Януш, которому теперь было позволено видеться с Софией, старался доказать ей, что его любовь, зародившаяся еще в детстве, не угасла. Порой лицо Софии светилось беззаботностью и весельем, становилось легко на сердце, душа переполнялась надеждой, но через минуту ее снова охватывали дурные предчувствия. Едва за князем закрывалась дверь, как София начинала плакать, как раньше, хотя никто не мог понять причины этих слез, ведь все видели, как она любит его.

* * *

Погожим осенним утром на желтых песках, которые раскинулись под Брестом Литовским, в клубах пыли, которую крутил холодный ветер, показалась длинная череда повозок и лошадей.

Это был двор княжны и каштеляна, двигавшийся в сторону Бреста, где должна была состояться свадьба.

В карете, обитой черной с позолотой тканью, подперев рукой голову, сидела София. Она смотрела на дорогу впереди и первой увидела показавшиеся из-за песчаных пригорков отблеск башен Августинского и Иезуитского костелов, белые стены замка на острове, а потом монастырь и городские здания. Княжна принялась молиться, ее внезапно охватила тревога, на душу легла тяжесть.

— Здесь решится моя судьба, так повелел Господь, так хотела я сама. А что же в будущем? Что в будущем?

Она не осмеливалась заглядывать в него, сердце полнилось любовью к Янушу и надеждой на Господа.

Со стороны Бреста в клубах пыли ехала навстречу им карета в сопровождении группы всадников. Это князь Януш с отцом спешили поприветствовать Софию и ее опекуна. Лица Радзивиллов были веселые, а на лице каштеляна читалась озабоченность, княжна через силу улыбнулась.

— Приветствую вас! — воскликнул воевода. Он миновал карету княжны, оставил возле нее сына, а сам поспешил к каштеляну, оба сняли шапки и поздоровались.

— В добрый час и к доброму согласию! — заговорил воевода. — Мы узнали, что вы подъезжаете и решили вас встретить. Щетинский староста принес весть, что вы уже близко.

Каштелян ничего не ответил, помолчал, потом спросил:

— Давно ли вы в Бресте, князь?

— Несколько недель. Я с приятелями приехал загодя. Были у Сапеги в Кодне и в его летней резиденции — Романове. Сюда приехали уже и некоторые из приглашенных на свадьбу, с ними мы и проводили время. Пан Зенович, брестский воевода, ради такого случая даже любезно уступил нам свой дворец.

Каштелян снова о чем-то спросил, и так, беседуя обо всем и ни о чем, они подъехали к городу, который все более выразительно вырисовывался на фоне все еще зеленых прибужских лугов и серого осеннего неба.

Князь Януш ехал рядом с коляской нареченной, веселый, гордый своим счастьем; смотрел на окрестности, словно спрашивая: «Есть ли кто-нибудь в мире счастливее меня?»

— Еще несколько дней, — говорил он Софие, — и мы соединимся навеки! О, как же я старался заслужить твою любовь!

Княжна взглянула на него, ничего не ответила, наверное, думала о чем-то другом. Она была бледна и встревожена. Князь Януш снова заговорил:

— А помнишь, княжна, помнишь, как когда-то давно мы вместе приезжали в Брест? Как те дни были не похожи на нынешние! Помнишь, как мы плакали над твоим пожелтевшим полисадником, как выметали желтые листья, которые каждый день приносил ветер, засыпая ими улочки? Вот также всходило тогда солнце над старым сараем и липами, что росли возле него. Как мы ожидали, пока оно поднимется повыше, чтобы нам позволили выйти с пани Влодской на террасу дворца и в садик!

— А ты отсекал головки моих цветов своей саблей! — вспомнила княжна, ее также взволновали картины детства.

— Глянь, глянь! — воскликнул вдруг Януш. — Вон наши друзья едут встречать нас, хотят поприветствовать.

Коляска остановилась. Навстречу ехала группа всадников, еще более пышная, чем свита воеводы. Во главе ее были Лев Сапега и Зенович, а далее несколько панов из партии конфедератов. Они приблизились к каштеляну и шумно приветствовали его. Зенович, человек речистый (его хлебом не корми, а дай проявить свое красноречие), не мог не воспользоваться случаем. Он вытащил из-за пазухи свиток бумаг и прочел целых две приветственных речи в честь каштеляна и княжны, причем в последней вознесся в такие высокие сферы пророчеств и пожеланий, что возницы уже еле сдерживали коней. Наконец его красноречие иссякло, но тут уж и каштелян не мог хотя бы коротко не поблагодарить его; в своем ответном слове он похвалил ученость и учтивость Зеновича.

После того, как речи были окончены, вся компания подъехала к городской браме, и здесь снова остановилась: в воротах под балдахином ее встречали с бубнами, хоругвями, подарком на серебряном блюде и длинными приветствиями городской магистрат, а за ним — еврейский кагал.

И только к полудню, наслушавшись речей, на которые требовалось отвечать и благодарить, кареты княжны и каштеляна доехали до подготовленных для них апартаментов около костела на рыночной площади. Князь воевода с сыном и вся компания простились с ними у порога и разъехались.

Назавтра, в последний день сентября, от князя Януша принесли богатые подарки для нареченной. Весь день составляли брачный контракт. В нем уже не вспоминалось о тех договорах, которые некогда подписывал каштелян как опекун. Радзивиллы не высказали никакого желания познакомиться с перечнем тех имений, которые переходили к их роду с приданым невесты. Князь Януш весь день не появлялся. Тем временем украшался храм, в котором состоится венчание; готовились свадебные застолья: одно

у каштеляна, другое у воеводы. Весь город пребывал в чрезвычайном оживлении: приехало множество гостей; кареты, возки, коляски, всадники заполонили улицы, а со всех сторон спешили новые приглашенные.

Первого октября с чрезвычайной роскошью прошло венчание. Княжна шла под венец по дорожке, выстланной сукном, в сопровождении многочисленных придворных и гостей. За ней шел каштелян. С другой стороны, по обычаю, — свита Радзивиллов, которая приехала к храму на лошадях с богатой сбруей и роскошными седлами, сами они были в сиянии золота и драгоценных камней.

После венчания молодая пара прошла ко дворцу каштеляна, где началось большое и пышное застолье, оно длилось почти до самого утра. Согласно принятому в те времена обычаю, молодую торжественно проводили к брачному ложу. Передавал Софию князю Янушу сам Иероним Ходкевич. Он произнес краткое, но торжественное слово, оно тоже было в обычае в те времена. Каштелян просил мужа заботиться о жене, о том, чтобы она была счастлива, высоко возносил род князей Слуцких, последняя представительница которого входила в новую семью. Он коснулся тех обстоятельств, которые предшествовали свадьбе, и их итогов, вспомнил, чего они стоили, потом вознес *assumpt* — хвалу — этому брачному союзу, пожелал сановной паре счастья.

Со стороны князя Радзивилла с приветствием выступал Зенович. Чтобы доказать, что княжна ничего не теряет, сменив славное имя Олельковичей на имя Радзивиллов, он начал приводить многочисленные примеры из истории княжеского рода, не обошел вниманием ни орлиного гнезда Лездейки, ни королевы Барбары из рода Радзивиллов, жены Сигизмунда Августа, ни даже кардинальской шапки своего родственника, недавно умершего краковского епископа Юрия Радзивилла. Он перебрал всю родословную Радзивиллов, восславил заслуги отдельных именитых мужей, представителей их рода, завершил благодарением Богу и заверил, что каштелян отдает счастье и судьбу Софии в добрые руки.

Потом гости продолжили застолье, вернувшись к своим кубкам в большой зал, и наполняли их до самого утра. Разъехались по домам уже с рассветом. Вечером с не меньшей пышностью пировали у князя воеводы. Каштелян не стал дожидаться, пока свадебное гулянье закончится, и поспешил, как только позволили приличия, вернуться в Вильно.

В скором времени молодые выехали из Бреста в Несвиж.

Слуцкие князья

Вечером во всех церквях и костелах города Несвижа и окрестных деревень звучал погребальный звон колоколов; их отголоски смешивались с шумом осеннего ветра. Княгиня София Радзивилл умерла. В каплице Несвижского замка стоял ее гроб, перед ним — хоругви с гербами Великого княжества Литовского и Радзивиллов; горели свечи, пели священники, гудели колокола.

Муж два дня плакал в своей комнате, после похорон справил по жене богатые поминки. Позже он женился на Софие Елизавете, княжне бранденбургской.

* * *

В том же году, когда умерла княгиня София, зимой двое странников зашли в православную церковь в Слуцке. Один из них был старый, согбенный временем, второй молодой. Одеты они оба скромно и чисто, с чувством

меры. Старый укрывался лисьей шубой, молодой носил серую баранью бекешу. Они стали на колени перед алтарем и долго молились, потом старый обвел взглядом стены церкви, увидел надмогильную плиту, на которой светились недавно вырезанные позолоченные буквы, медленно прочел их.

Надгробная надпись на латинском языке была такой:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Наследнице
Великих князей Литвы
Из славного рода
Слуцких и копыльских князей,
К сожалению, последней в нем —
Софие Олелькович,
Происходящей
От отца, деда и прадеда Юриев,
Прапрадеда Семена,
Пращура Олельки
Из славного кнежеского рода,
По брату родственнице польского короля Ягайло,
По прадеду родственнице Ольгерда,
Великого князя Литовского,
По прапрадеду — Гедимина
И по прапрапрадеду — Витеня,

По матери рожденной от Барбары
Из славного рода Присков.
Януш Радзивилл,
Князь Биржей и Дубравы,
Слуцкий и копыльский,
Великий подчаший, и т. д., и т. д.
Скорбящий муж
Любимой жене,
Женщине, прославленной и родом, и красотой, и особенно,
Благочестием в своей жизни,
Надгробный памятник
Поставил, рыдая.
Прожила 25 лет.

Старик прочел надпись и повернулся ко второй могильной плите, лежавшей рядом, там надпись была сделана по-старославянски. Она покрывала прах князя Юрия, отца Софии. Пилигрим прочел его, опустился на колени и долго молился.

В это время как раз окончилась литургия, один из священников вышел и увидел старика, плачущего над могильной плитой. Он подошел, остановился; с почтением относясь к молитве и слезам, ждал, ни о чем не расспрашивал странника, пока он не встал с помощью своего молодого спутника. Тогда монах поздоровался и спросил:

— Вы знали того, кто лежит под этим камнем?

— Это был мой господин, пусть пухом будет ему земля, — почтительно промолвил старик, — Юрий Олелькович, князь Слуцкий! Умер у меня на руках, по его доброте я и доныне имею хлеб для себя и детей, поэтому я со слезами молился за него.

— Может быть, зайдете в монастырь? — предложил монах. — Вы устали в дороге, так не откажитесь от гостеприимства монахов.

— Благодарствую, — отвечал старик, — но мне здесь так явственно вспоминаются давние времена, молодость, проведенная рядом с князем, что теперь, когда род угас, спустя много лет я не могу без слез смотреть на руины; и если бы я пожил тут дольше, то, не иначе, и сам лег бы возле своего господина. Пока человек не видит, пока только вспоминает, то еще можно терпеть; но вот могила отца и рядом могила его бедной дочери, которая умерла, будучи такой молодой — перетерпеть это мне уже не под силу! Это же надо такому случиться: я прихожу к их могилам, я — старец! Утомленный старик вышел из церкви, сел на камень на паперти, монах — возле него, а молодой странник стал сзади.

— Да, уже нет князей Слуцких, — продолжал старик, — нет их; последнюю княгиню похоронили. Может, это и хорошо, потому что многие великие роды пришли в упадок и, кажется, лучше бы уж они угасли. А знаете ли вы, отче, что это был за род, что за кровь?

— Слышал, но не очень много, об этом говорилось в словах прощания во время панихиды.

— Даже на могильной плите написано, — заметил старик, — но генеалогия там несколько искажена, досточтимый отче. Кто-то не очень осведомленный писал. Я-то знаю их историю, потому что наслышан о ней, да и по старинным хроникам читал.

— Надпись на плите делал отец Прокоп.

— Как написал, так уж и будет, пусть ему Господь простит.

— Ему так сказали.

— Кто он, ваш отец Прокоп?

— Это я.

— Вы?

— Да, я. И поэтому, сейчас я очень хотел бы услышать от вас обо всем, что вы знаете о князьях Слуцких, чтобы я, составляя поминание за упокой, смог написать правильно.

— Буду от всей души рад рассказать все, что знаю, — промолвил старик. — Но голова моя стала уже дырявой, из нее повылетало немало важного, и все же многое пока еще удерживается в памяти, поэтому, если что не так, то вы поправите меня, зная по книгам...

— Рассказывайте, может, и мне что-то вспомнится.

— Вы, конечно, знаете, — напомнил старик, — что Олельковичи ведут свой род от Владимира Ольгердовича, которого великий литовский князь Витовт сделал киевским князем, но позже выжил его из владений, отнял Житомир, Овруч и другие города; потом по воле его брата Ягайлы взамен Киева Олельковичу были даны тридцать миль земельных владений в Литве с городом Копыль. Здесь он основал город Слуцк, вот этот самый, где мы теперь находимся.

У того Владимира был сын Александр, по-русски его звали Алька, от него и пошли Олельковичи, а по Слуцку их начали называть князьями Слуцкими. Олелько прославился в походах на Москву, в них он возглавлял киевлян. После смерти Витовта литвины даже хотели просить Ягайлу поставить Олельковича во главе Великого княжества Литовского. Когда это место занял Сигизмунд, то по подозрению в каком-то сговоре даже отнял у него Слуцк и Копыль, его самого заточил в Кернове, а жену — в Утене и они там пробыли до самой внезапной смерти Сигизмунда. После этого некоторые паны хотели снова поставить на Великое княжество Литовское Олельку, но судьба так распорядилась, что он не встал во главе его, правда, ему было возвращено киевское княжество, которым он владел еще лет двенадцать. У него была жена — московская княжна, внучка Витовта, а от нее два сына: киевские князья Семен и Михаил Слуцкие. Они поспорили при разделе отцовского наследия, и король Казимир разделил его между ними

так, что Семену досталось киевское княжество, а Михаилу — копыльское. Я не буду рассказывать далее обо всем их роде, но о самых известных из Олельковичей вспомню.

Семен Олелькович еще в восемнадцать лет, только вступив в отроческий возраст, со своим наспех собранным отрядом разбил двенадцать тысяч татар под Гродно и этим стяжал себе такую славу, что его, как некогда отца, хотели поставить во главе Великого княжества Литовского, многие поддерживали его в этом. Особенно старался его свекор — Ян Гаштольд, но король Казимир боялся раздела страны и не допустил этого, хотя литвины на одном из сеймов и просили его. Перед смертью Семен, по преданию, послал королю своего белого коня и лук, с которым он не раз выступал против татар, и отдал ему в опеку сына Василия и дочь Александру, ставшую позднее женой князя Острожского. Тогда же и княжество киевское, ставшее воеводством, было отнято у них, остались только Слуцк и Копыль.

Немало было среди Олельковичей славных богатырей, и каждый из них, когда надо было воевать, выходил на битву со своим отрядом. Взять хотя бы трех Юриев, или тех же Семенов. Один Семен воевал под Лебедевым при последнем из рода Ягеллонов, вел на битву две тысячи своих воинов, иные шли на шведов, когда велись войны с ними, и никто не жалел ни крови, ни жизни.

От князя Михаила Копыльского пошло много богатырей. Его сына Семена также звали на великое княжение, но выбрали Александра. Семен разбил татар на реке Уша, но позднее они тоже одержали победу и осадили его в Слуцке, там он не смог победить. Умер, но душа его осталась в жене Анастасии и сыне Юрии.

Анастасия прославилась еще и благодаря своему мужеству, это редкость для женщины. Вместе с сыном Юрием в 1506 году она защищала Слуцк от татар. Шестнадцатилетним подростком Юрий Семенович мерялся силами с воеводой Глинским, а потом, как и его предки, ходил на татар, которых однажды побил, когда они возвращались с добычей из Литвы, сокрушил их, а трех военачальников взял в плен. Немалую долю славы принесла ему и памятная победа под Оршей в 1514 году, битвы с татарами под Лапушном, под Ольшаницей, в Черкассах — всюду он побеждал.

— И что же осталось после этих знаменитых людей? — продолжал старик, качая головой. — Несколько исписанных золотом камней, горстка пепла и костей, да немного людской памяти...

— А разве этого мало? — спросил отец Прокоп. — Разве мало одной памяти, если она продолжает жизнь тем, кого не стало? Чего вы хотите большего от нашего мира, и что он больше может дать?

— Вечный им покой и благодать в лучшем мире! — промолвил старик и встал с камня.

— Аминь! — тихо добавил монах.

Перевод с польского Михаила КЕНЬКО.



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

Романтика советской науки

Предлагаемая работа — не научное исследование, не публицистика, не литературная критика, не мемуары. Однако она сочетает в себе черты всех названных жанров. А кроме того, подобно художественному произведению, предполагает разную интерпретацию читателями. Данное эссе — это стремление взглянуть на историю советской послевоенной науки с не совсем привычного ракурса: не общепринятого, не академического, а скорее, романтического — субъективное мнение о тех направлениях научной мысли, которые не укладывались в официальную доктрину. Альтернативные академизму теории интересовали общественность, особенно молодежь и интеллигенцию, нашли широкое отражение в художественной литературе. А все, что связано с литературой, меня как филолога интересует в первую очередь. Но интересен и сам поиск сути вещей, стремление очень многих людей — настолько многих, что нехорошо, неэтично обвинять их в приверженности к паранауке, — прорваться за горизонты скучных догматических теорий, в области неизведанные и таинственные.

Годы моего детства и юности — период активных научных исследований в самых разных областях, эпоха творческих дерзаний, великих свершений, устремленности в будущее. Культ знаний и поиск истины — та атмосфера, которая способствовала развитию официальной науки — собственно науки эксперимента и строгих доказательств. Достижениями того времени мы пользуемся и сейчас. Моя же задача — показать с точки зрения нас, тогдашних, и с точки зрения умудренных жизнью, сегодняшних, увлечения и интересы довольно значительной части советской интеллигенции. Своего рода научный утопизм, частично опрокинутый в прошлое. Потому «частично», что предполагается говорить и о сегодняшнем положении вещей в культуре.

Наука интернациональна, и речь в работе идет не только о советской науке, а о том периоде в ее развитии, когда существовал СССР и социалистический блок держав. Этот период особенно интересен, так как именно соревнование двух разных общественных систем — капитализма и социализма — во многом и способствовало быстрому развитию науки и техники.

Глава 1.
Мечты о грядущем. Прогнозы будущего

Моя юность пришлась на 1960-е годы — время удивительное, прекрасное и противоречивое. Обычно это время связывают с именем Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева и называют «оттепелью». По моим ощущениям, название, придуманное писателем Ильей Эренбургом, не совсем правильное. Ту среду и дух эпохи назвать стоило бы не «оттепелью» (это ведь слякоть, хмурое небо, грипп), а как-то иначе, учитывая, кстати, при всей обаятельной для части элиты атмосфере, *ухудшение* общего состояния экономики и морали общества (о чем я писала в предыдущей работе «Как жила элита при социализме»;

«Нёман» № 9, 2013). Вернее, все, как и сегодня, состояло из сплошных парадоксов, невообразимых, сплетенных в клубок, противоречий и взаимопроникновения добра-зла. Действовало тогда, скорее, то, что я называю *инерцией Победы:* страна была уже отстроена после войны, страдания и лишения остались позади, но сохранялись еще радость победы, теплота отношений между людьми, возрожденческий энтузиазм и мечты о будущем.

Почему-то, говоря о той эпохе и называя ее неизменно «хрущевской оттепелью», никогда не вспоминают о ее более ходовом *тогда* названии — «эпоха НТР» — научно-технической революции. Эта аббревиатура постоянно звучала в СМИ, в речах политиков, с нее начинались лекции преподавателей в вузах, уроки в школах, она буквально лезла в глаза в многочисленных статьях и книгах. Действительно, мы, молодые, стали свидетелями небывалого расцвета науки и техники, реальными *плодами которого чрезвычайно активно пользуются нынешние поколения.* Начиная с 1940-х годов создавались новые направления, инновационные отрасли (атомная, ракетная, вычислительной техники, электроники); возникали так называемые наукограды, региональные научные центры, типа Дубны, Сибирского Академгородка, сотни научно-исследовательских институтов. Наука стала *непосредственной производительной силой общества*, что и характеризует эпоху НТР.

В 1957 г. запуском в СССР искусственного спутника Земли началась *космическая эра*, которую рассматривали как апофеоз НТР. Советская атомная бомба появилась через четыре года после США, но водородная — впервые именно в СССР. Здесь же — первая атомная АЭС. Первые атомные ледоколы. Первая в мире атомная подводная лодка со сварным корпусом из титана. Первый в мире самолет с изменяемой геометрией крыла. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер. Первый в мире корабль на подводных крыльях. Первая в мире сверхвысотная телебашня (Останкинская в Москве). Лучший в мире стрелковый автомат Михаила Калашникова. Внедрение в стране единой энергетической системы — тоже явление в мире небывалое. И это лишь то, что вспомнилось с ходу.

Успехи грандиозные. Можно сколько угодно говорить о заимствовании проекта атомной бомбы у американцев (кстати, этим утверждением усердно и потчуют современную молодежь), однако ее изготовление немыслимо без соответствующей научно-технической и производственной базы, причем в разоренной войной стране. Такая база была создана. Советский Союз очень быстро встал в авангард научно-технического прогресса. Его вклад в развитие человеческой цивилизации феноменально велик. Естественно, что наукой тогда жила и советская молодежь, а потому стремилась к знаниям, образованию, самосовершенствованию.

Мы дышали воздухом открытий, зачитывались фантастикой, мечтали о будущем. Видимо, никогда люди так не жили мечтами, как в годы нашей юности. Не удивительно, что некоторые поверили Хрущеву, когда он провозгласил, что через 20 лет (в 1980 г.) советский человек будет жить при коммунизме. Действительно, прогресс страны был столь стремителен, успехи науки столь ошеломляющи, что будущее мнилось еще более прекрасным. Извечная человеческая мечта о рае, о золотом веке, у которой впервые появились реальные возможности осуществиться...

Кое-какие из наших мечтаний сегодня уже сбылись. И я буду говорить о них на протяжении всей работы. Но сбылись и иные пророчества о будущем, появились такие реалии бытия, о которых не думали и не мечтали...

В 1989 г., незадолго до развала СССР, вышел в свет роман «Рама II» великого, самого известного в мире, американского писателя-фантаста Артура Кларка. Там предсказан тяжелый социально-экономический кризис современной цивилизации, который продлится 50 лет. Все начинается с того, что потребительское общество достигает пика: все живут в долг, в кредит, «на крючке» у банков. Но однажды происходит финансовый обвал. Наступает хаос. Правительства всех

стран пытаются справиться с кризисом, снижая налоги. Но это ведет к ликвидации научных и космических программ, что только усугубляет падение. Случаются голод, болезни и все более ускоряющийся распад общественных институтов. Богатые скрываются в поселениях-убежищах с охраной. Войны и революции катятся валом. Безработица достигает 35 % трудоспособного населения. Население Земли уменьшается на миллиард. Выйти из кризиса удается лишь тогда, когда государство стало регулировать экономику и воспитывать молодежь в строгости и трудолюбии.

Артур Кларк описал в сущности *нынешнее* состояние мира. *Системный* глобальный кризис общества потребления, к которому теперь принадлежим и мы, с абсолютно всеми предсказанными американским автором признаками, начался в 2008 г. Он потому системный, что затронул все системы жизнедеятельности человечества и уже не прекращается: то затухает, то разгорается с новой силой. При этом стремление выйти из него, все принимаемые меры, на самом деле, еще больше приближают катастрофу. Трепыхания политиков — как раз стремление избежать *всего*, предсказанного писателем.

Артур Кларк был не одинок в страшных, но гениально изображенных предсказаниях. Да он и не первый писатель-пророк в XX веке.

В самом начале XX века американский классик Джек Лондон написал фантастический рассказ «Алая чума». Действие в нем происходит через 60 лет после страшной биологической катастрофы, случившейся летом 2013 года и уничтожившей практически всех жителей планеты. Немногие оставшиеся стремительно деградируют и ведут полуживотное существование. Главный герой — глубокий старик — еще помнит прежнюю комфортную жизнь и случившуюся жутчайшую эпидемию (похожую на лихорадку Эбола). Он рассказывает о происшедшем своим диким внукам, которые ничего не понимают и вообще не интересуются прошлым, утрачивая даже речевые навыки. Джек Лондон почти не ошибся в предсказаниях. Например, количество людей на планете: у него в 2013 году — 8 миллиардов, в реальном 2013 году — 7 миллиардов 100 миллионов. Недалек оказался автор от истины и в своих социальных пророчествах: миром в то последнее лето потребительской цивилизации управляли 7 человек, называемые Международным Комитетом Контроля, — фактически Мировое правительство. Однако оно оказалось бессильно перед эпидемией. А всего на Земле, по мысли главного героя, в прошлом профессора университета, осталось не более 400 человек, которым придется, очень медленно поднимаясь от стадии абсолютной дикости, дать начало новому человечеству и новой цивилизации.

Такая же идея в романе французского писателя Робера Мерля «Мальвиль», написанном в 1972 г., то есть в конце эпохи НТР. Только здесь описана ситуация после атомной войны, в то время особенно пугавшей человечество: оставшимся маленьким коллективам людей необходимо приспосабливаться и начинать совсем новую жизнь.

В нашумевшем романе американца Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» (1953 г.) воссоздано будущее, которое является концом письменной цивилизации: людей даже преследуют за хранение книг. О романе в последнее время стали говорить как о все более актуальном. Приметы будущего конца книжной эры *еще только проявляются*, но они реальны. Например, в Англии новые выпуски классического романа Вальтера Скотта «Айвенго» сокращены наполовину — непонятен современному читателю. Нынешние родители возмущены стихами Пушкина, которые в школах задают учить наизусть их детям, поскольку те не понимают большинства слов. К нам на филфак приходят студенты, которые не читали общеизвестных сказок (!). Перечислять наметившиеся тенденции предсказанной Брэдбери катастрофы можно долго.

Все упомянутые произведения пророчат самые страшные из возможных вариантов грядущего, они апокалиптичны. Однако немало всемирно известных произведений совсем иного плана: без всепланетных катастроф, с, казалось бы,

счастливыми героями, однако принуждающие задуматься о том пути, по которому движется человечество. Они интересны именно *приметами* будущего.

В 2013 г. в нескольких авторитетных российских печатных изданиях появилась большая статья известных русских общественных деятелей и публицистов Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой «Читайте Хаксли!». Авторы подробно разбирают культовый роман Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир» (или в другом варианте «О, дивный новый мир»), созданный в 1929 г. Кстати, мы на филологическом факультете в конце 1960-х гг. читали эту книгу, воспринимали ее как интересную фантазию и, конечно, не подозревали, что в ней описано *ожидающее нас будущее*.

Именно с этой точки зрения — осуществления фантазии — анализируют ее И. Медведева и Т. Шишова. То, что якобы насочинял Хаксли, уже во многом осуществилось или имеет видимую тенденцию к реализации.

Действие романа «О, дивный новый мир» происходит в Лондоне в далеком будущем. Мир един, он управляется Мировым Правительством под лозунгом «общность, одинаковость, стабильность». Все люди счастливы благодаря повсеместно употребляемым легким наркотикам и совершенно не задумываются о смысле жизни.

Мой комментарий к предыдущему тезису: как известно, ныне в Голландии наркотики официально узаконены. Многие страны Запада склоняются к тому, чтобы перенять опыт Голландии. Он представляется чем-то прогрессивным и демократичным. На нашей территории люди более осторожно и вдумчиво относятся к таким радикальным проявлениям «демократии» и «прогресса», но тем не менее наркотизация населения постсоветских республик происходит ошеломляюще быстро.

Однако вернемся к Хаксли и к анализу его книги русскими исследователями. Люди в обществе будущего, согласно пророчествам английского писателя, не рождаются естественным путем — их штампуют на человеко-фабриках и затем определенным образом воспитывают. Публицисты, анализируя роман, обращают внимание на чрезвычайно важный момент: «Конечно, пока еще детей не выводят так, как описано у Хаксли. На технологии процесса мы вообще бы не стали фиксироваться. На наш взгляд, это не принципиально. Принципиален отказ от нормального, естественного зачатия и рождения, переход в этом вопросе на плановую экономику и поточное производство». Авторы статьи отмечают, что уже сейчас экстракорпоральное оплодотворение стало рядовой процедурой; все больше появляется детей «из пробирок», которые вынашиваются суррогатными матерями.

Мой комментарий: вспомним детей Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, а также Аллы Пугачевой и Максима Галкина (последний случай вызывает недоумение, учитывая возраст поп-певицы). Российский публицист Константин Васильев пишет относительно неординарного вынашивания детей у звезд: «Наше общество все более удаляется от демократичности <...> Суррогатное материнство — еще один маленький, но весомый вклад в становление кастовой системы общества позднего капитализма. Под сурдинку шоубизнеса нас потихоньку делят. Делят невозвратно: на элиту и серую массу <...> Делят разнообразно и изобретательно: социально, имущественно, идеологически. А теперь, выходит, уже и просто биологически». В самом деле, появляются люди, у которых не двое родителей, а трое! Не объявят ли их в будущем высшей кастой?

Число нормально рожденных детей тоже заметно сократилось, в основном роды происходят через кесарево сечение. Во многих странах так теперь рожает 60—70 % женщин. Да что говорить (я вновь вмешиваюсь в рассуждения русских авторов): среди моих знакомых таких, рожающих через полостную операцию, все больше. От себя еще добавлю, что в мире ширится движение чайлдфри — добровольная бездетность. Либо же происходит усыновление детей однополыми парами. То есть все больше аномалий в самом, по существу, главном — *воспроизводстве человека*.

Нас снова-таки уверяют, что все новации прогрессивны, однако опыт тысячелетий выработал определенный тип семьи, который наиболее оптимален, учитывая, что вырастить ребенка — довольно сложная задача, в том числе в наше время: выживали лишь те этносы, где складывались супружеские пары, объединенные любовью. В октябре 2013 г. на острове Родос был проведен 11-й Международный форум «Диалог цивилизаций», в котором приняли участие более 600 человек из 80 стран мира. Одной из центральных проблем на форуме стала проблема традиционной семьи. Форум провозгласил, что семья и брак должны восстановить свое почетное место среди великих ценностей человеческой цивилизации. Оплотом развития может быть только *естественная* семья, которая защищает ребенка и помогает ему стать членом общества. Под этим понятием, признанным во Всеобщей декларации прав человека, «как непременное условие выживания и развития всех наций и человечества в целом, подразумевается союз мужчины и женщины в браке, основанном на любви и радости, с целью рождения детей и обеспечения их морального образования, создания домашнего хозяйства, обеспечения безопасности в трудные времена, связи поколений».

Все не так у Хаксли. Интересно у него строится воспитание. В романе, по мысли И. Медведевой и Т. Шишовой, насаждается отвращение у детей к книгам и к цветам, то есть к знаниям и к природе. Русские публицисты говорят об этом немного, но я о том же писала неоднократно. Например, в 1990-х гг. обращала внимание на то, что в белорусском молодежном журнале «Крыніца» пропагандируется сугубо абстрактное искусство и абсолютно не печатаются фото и репродукции пейзажей Беларуси, которые прививали бы читателям любовь к природе и чувство гордости за Родину. Или же в своих работах упоминала ректора БГУ, который, будучи в отставке, очень уж увлекся политикой. Однако когда он еще с азартом, просто залихватски, рулил самым престижным университетом страны, то умудрился уничтожить чрезвычайно важную учебную дисциплину — «Белорусоведение», которая знакомила молодежь с природой, культурой, историей нашей республики и была очень любима студентами. Он же, издеваясь над своей профессурой, говорил нам на Ученом Совете, что любой студент, владеющий компьютером, на голову выше (!) любого из профессоров, так как ежедневно воспринимает из интернета больший объем информации. Сначала я подумала, что ослышалась: неужели доктор педагогических наук не видит разницу между получением информации и истинным знанием, не понимает сути образования, его целей и задач?! Вот такие индивидуумы, претендующие даже возглавлять страну, которую они совершенно не знали и не любили, определяли состояние дел в важнейшем сегменте культуры! Все новации в этой сфере, мне кровно близкой, в народе называют «образовательным ширпотребом».

Вот уже двадцать пять лет система образования в республике постоянно, неуклонно, с какой-то даже бесшабашностью и удалью, реформируется, корежится, а то и просто ломается. Конечно, мы переживаем время переходное, а потому должны быть готовы ко всему, но все же хотелось бы знать: *во имя чего*, какова сверхзадача упорных и не всегда понятных нам, людям, работающим в сфере образования, ломок (кроме экономии)?

В таких случаях всегда правомерно обращение к опыту истории. Обучение молодежи в античных Афинах, где закладывались основы классического образования на 2 500 лет вперед, предполагало гармоническое формирование в человеке умственных, нравственных и физических качеств. Собственно, то же было поставлено во главу угла в советской школе, где воспитанию уделялось огромное внимание. И не стоит кивать на его идеологичность. Советская идеология не несла зла, не воспитывала эгоизм и рвачество. Но если нам не нравится все советское, обратимся к временам более далеким. Русская императрица Екатерина II, сама женщина чрезвычайно начитанная, занимаясь образованием в стране, имела в виду счастье человека. Так и было ею заявлено: *получать знания нужно, чтобы быть счастливым.* Удивительная постановка проблемы, но воистину прекрасная.

Вот высший смысл! Ведь знания сами по себе *самоценны*, они способны изменить человека, сделать его жизнь осмысленной.

А сверхзадача наших чиновников от образования заключается только в том, чтобы ни в коем случае не отстать от Запада, чтобы, не дай бог, не записали нас в ретрограды, в неполноценный этнос. А ведь все равно запишут! Доказательство: Международный съезд славистов, прошедший в Минске в августе 2013 г., где многие доклады зарубежных исследователей оказались посвящены «трасянке», словно это и есть наш основной язык. Да в любой стране в обыденной речи нарушается литературная норма! А литературу нашу, давшую десятки выдающихся имен, определили в «малую». Термин априори предполагает ее умаление. Естественно, только *малые* результаты можно ожидать от культуры народа, чиновники которого заняты постоянной гонкой за лидером и копированием чужого опыта, не задумываясь, хороши ли, приемлемы ли для нашего менталитета заимствованные формы и методики.

Встраивание в Болонскую систему, которая вовсе не гарантирует полноценного образования, как доказал опыт многих стран Европы, предполагает подчинение определенным глобальным принципам, разработанным неким невидимым синклитом. Между тем, конкуренты в общемировой борьбе за рынки, ресурсы, территории Западу совсем не нужны, и в нашем развитии там не заинтересованы. В глобальной системе разделения труда, которая уже где-то кем-то четко распланирована, интеллектуалы, эрудиты из Беларуси не требуются. Никто от них не ждет развития науки и вообще самостоятельной роли в любой сфере деятельности. Наши дети, скорее всего, обречены подвизаться в сфере услуг. Впрочем, само образование объявлено сферой услуг, что оскорбительно для педагогов, поскольку они лишаются ощущения своей высокой миссии. Как-то забывается, что у государства три главных обязательства перед народом: учить, лечить и защищать. Это именно государственные обязательства, а у проводящих их в жизнь профессионалов — *служение*, а вовсе не оказывание услуг. А то уж скоро и армию переведем в сферу услуг...

И вообще, как писал кумир нашей юности поэт Борис Слуцкий, «государство должно государить...» Однако же в начале XXI века и само государство переживает кризис и по существу как раз самоустраняется от выполнения своих важнейших функций. Кризис государственности особенно заметен в России. Но именно это и предсказывал Хаксли, а мы наблюдаем воочию.

В будущем, по Хаксли, отменяется и любовь, зато секс процветает. «Детей с самого нежного возраста обучают основам секса», — пишут И. Медведева и Т. Шишова. Так и есть: на наших глазах совершилась сексуальная революция. Снова поделюсь своим наблюдением: в последние годы в популярном детском киножурнале «Ералаш» маленькие дети все больше озабочены любовью, то есть тем, чем они вообще еще не должны интересоваться. Да, пока все у руководителя проекта «Ералаш» Бориса Грачевского достаточно благопристойно, хотя и удивляет стремительное омоложение — вплоть до детсадовского возраста — того, что начинало волновать, как заложено природой, лишь подростков. Но это пока. Мы знаем, что у нас ко всему, что *определено*, шли постепенно. Так, развлечения в мире Хаксли также напоминают современные стандарты культурного отдыха. Процветала там и эвтаназия.

Мы на филфаке учили, что книга О. Хаксли — талантливая антиутопия. Однако И. Медведева и Т. Шишова считают ее *проектом* развития общества, высказанным в художественной форме. То, что нам кажется спонтанным, давно спланировано. Сошлюсь на автора газеты «Коммунист Беларуси» Ольгу Федотову (псевдоним): «Удивительное дело: реформы в Беларуси проводились разными, причем всегда очень достойными людьми, в разное время, а как будто по одной, скрупулезно разработанной программе, по некоему плану, смысл которого: отсечь «лишние» знания, подчинить обучение рациональным, чисто практическим, даже коммерческим, причем сиюминутным, задачам. Боюсь, что в данном

случае высокое чиновничество шло за обывателем, который не понимает, что, во-первых, знания всегда могут пригодиться и никогда не бывают лишними; во-вторых, рынок труда непредсказуем, и то, что востребовано сегодня, окажется не нужным завтра, станет немодным, неактуальным, будут заполнены все рабочие места, как уже сейчас произошло с экономистами и юристами; в-третьих, творческий человек нужен всегда и везде, на любом месте, а креативную личность формируют как раз те дисциплины, которые считаются «лишними», не приносящими никакой видимой пользы (литература, мировая художественная культура, философия, астрономия, страноведение). Именно на основе фундаментальной подготовки, настоящего классического образования, можно было бы через какое-то время совершить *творческую революцию* (как это было, например, в Японии в 60-е годы), осуществить своими силами прорыв в науке, в технологиях. А у бескрылых людей, не умеющих мыслить, не знакомых с историей культуры, даже уже и не мечтающих, никаких инноваций быть не может по определению».

Более того, нам, как уже было сказано, уготована роль обслуги; при этом вершителями судеб постоянно держится в уме, что официанту, сиделке, служанке, строителю, вообще *особям из массы*, не потребуются какие-то высокие материи, знание классического искусства, довольно с них и попсы (дисциплину «Основы мировой художественной культуры» в школах упразднили). Радио и телевидение этой попсой уже буквально замучили, ее насаждение, в том числе официальными СМИ, переходит все мыслимые и немыслимые границы.

Однако кто же авторы реформ, скажем, той же Болонской системы, выхолащивающей любое творческое начало, кто определяет модные темы в СМИ, финансирует различные проекты, упорно проталкивает идущие против природы законы типа легализации однополых браков? Ведь ничего не происходит спонтанно. Глобальными процессами кто-то дирижирует. Но отнюдь не президенты даже высокоразвитых стран. Известный современный социолог Линдон Ларуш считает, что *реальная власть — это тайная власть*. А русский экономист Михаил Антонов в одной из статей большого цикла «Русский идеал и корпоративное государство» отмечает: «Мировому капиталистическому классу объективно нужны максимально закрытые надгосударственные, наднациональные структуры, они снимают противоречие между экономической целостностью и политической фрагментарностью капиталистической системы. Отсюда упорное стремление верхушки мирового капиталистического класса к созданию чего-то наподобие Мирового правительства». Собственно, его органы уже созданы: Трехсторонняя комиссия, Бильдербегский клуб, Римский клуб, девять крупнейших мировых банков, руководители ТНК.

В 1991 г. бывший британский разведчик Джон Колеман выпустил книгу «Комитет 300», где рассказал о планах Мирового правительства на ближайшие полвека. Они удивительно совпадают с «пророчествами» писателя Олдоса Хаксли. Можно верить или не верить в существование такого правительства, во «всемирный заговор», но факты свидетельствуют, что в мире есть люди, которые стремятся направлять ход истории. Впрочем, об этом писал еще в начале XX века известнейший английский писатель Герберт Уэллс, также, как и Колеман, и по-видимому, как и Хаксли, крупный деятель спецслужб: «Открытый Заговор проявится сначала как сознательная организация интеллигентных и в некоторых случаях богатых людей, как просто движение некоторого числа лиц в определенном направлении. А потом вскоре они обнаружат с некоторым удивлением общую цель, к которой все они движутся. Всеми возможными средствами они будут оказывать влияние на правительства и управлять ими».

Зная это и читая интереснейшую статью русских публицистов И. Медведевой и Т. Шишовой, я ловила себя на мысли, что соображения, подобные высказанных ими, приходили мне в голову, когда я недавно перечитывала роман знаменитого советского писателя Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Казалось бы, проведение подобных аналогий — вопиющая глупость с моей стороны:

у Хаксли — антиутопия и прогноз развития *капиталистического* общества, а у Ефремова — утопия, воплощенная мечта о *коммунистическом* завтра. Однако поражают некие общие принципы, которые меня в юности, когда увлекалась И. Ефремовым, так уж сильно не тревожили, хотя, не скрою, несколько удивляли. Итак, обращусь к собственному разбору на этот раз романа И. Ефремова, в свое время мирового бестселлера.

Показательно уже то, что в произведении советского писателя государств, как и у Хаксли, тоже не существует, мир един под руководством некоего Совета, которому все жители Земли подчиняются беспрекословно, то есть, проще говоря, управляется Мировым правительством. Правда, есть и профильные советы, руководящие специалистами в своей сфере на уровне производства. Сама наша планета в «Туманности Андромеды» совершенно преображена. Читаем в романе: «Тогда, в век Переустройства, были сделаны искусственные солнца, «подвешенные» над полярными областями. Мы сильно уменьшили ледяные шапки, образовавшиеся на полюсах в четвертичную эпоху оледенения, и изменили климат нашей планеты. Вода в океанах поднялась на семь метров, в атмосферной циркуляции резко сократились полярные фронты и ослабли кольца пассатных ветров, высушивавшие зоны пустынь на границе тропиков, почти прекратились ураганные ветры, вообще всякие бурные нарушения погоды. До шестидесятых параллелей дошли теплые степи, а луга и леса умеренного пояса пересекли семидесятую широту».

Именно эти грандиозные перспективы изменения природы, нарисованные писателем яркие картины ухоженной, теплой и уютной Земли, зачаровывали нас, молодых читателей романа. Преобразование природы — главное в наших мечтах. Действительно, обидны для современного человека громадные территории пустынь, ледяные шапки Арктики и Антарктики, где невозможна нормальная жизнь. Однако сегодня, с нашим жизненным опытом, знаниями о созданной американцами системе HAARP, влияющей на ионосферу, а значит, и на климат планеты, всякие проекты о грандиозных переустройствах земного рельефа и климата воспринимаешь уже настороженно, с опаской и предубеждением. Любое вмешательство человека в природу чревато непредсказуемыми последствиями. Примеров масса. Так, разлив нефти из подводной скважины в Мексиканском заливе в 2010 г. повлиял на скорость Гольфстрима, и он замедлил свое течение, уменьшил мощь, понизил температуру. И сразу это отразилось на погоде во всей Европе с ее в последние годы снежными и холодными зимами и летней аномальной жарой, с постепенным превращением климата Беларуси в резко континентальный, что имеет свои плюсы, но и свои безусловные минусы. Да даже завезенные в Австралию безвредные, казалось бы, кролики стали бедствием для целого континента.

В утопии И. Ефремова все население сосредоточилось для проживания у берегов теплых морей, куда нас уже сейчас усиленно и очень упорно заманивают для отдыха. Обыватели до такой степени наркотизированы рекламой курортных услуг, что не прекращали летать даже в охваченный гражданской войной Египет летом 2013 года. А мне приходят на ум проекты некоторых современных российских футурологов: уничтожить в России малые города (деревни там уже практически уничтожены) и расселить всех жителей вдоль Транссибирской магистрали. На оставшуюся территорию летать работать, и только. Совершенно так у Ивана Ефремова. Правда, у него вояжи в незаселенные области, конечно, не имели в виду обслуживать «трубу» — герои романа занимаются научными исследованиями, ведут археологические раскопки. Вообще все красиво, благородно, внешне чрезвычайно привлекательно. Однако удивляет, что в планах, касающихся, например, поднятия уровня Мирового океана (в случае таяния ледовых шапок он поднимется вовсе не на семь, а минимум на семьдесят метров), писателя совершенно не волнует то, что произойдет со множеством старинных, наполненных шедеврами мирового искусства, прибрежных городов, которые, конечно

же, будут все затоплены. Да, о них полное молчание, ведь при коммунизме будут построены совершенно новые города. Вообще все-все будет новое. Но не проще было бы, чем вести раскопки в поисках остатков прошлых цивилизаций, все же кое-что из них сохранить — подобно тому, как мы, люди несовершенного общества, бережно заботимся о руинах?

В некотором отношении мы сегодня, пожалуй, намного обогнали прогностическую мысль И. Ефремова, который был и замечательным ученым, умным аналитиком. Так, он отмечает: «Дешевое промышленное произведение полноценных питательных белков нам еще не под силу, поэтому мы производим богатые белком культурные растения и грибки на суше и колоссальные поля водорослей в океанах». Гомогенную сою, то есть именно растительный белок, уже давно добавляют в корм животным и в пищу людям, а недавно объявили о созданном учеными Великобритании искусственном мясе, выращенном из стволовых клеток. Советский писатель пишет о разработке детальных стандартов, которые позволили «создавать любые вещи и машины из сравнительно немногих основных конструктивных элементов». Однако в наше время уже существуют *вещные принтеры (3D-принтеры)* и речь идет о так называемых *ассамблерах*, позволяющих с помощью нанотехнологий создавать из набора молекул любые предметы и даже еду. Потому в будущем любое производство и сельское хозяйство вообще станут не нужными.

Успехи в транспортной сфере Ефремов также не предвидел. В его книге всю Землю обвивает Спиральная дорога, по которой идут электропоезда со скоростью 200 км/час. Но в наше время поезда развивают скорость и до 400—500 км/ч.

Больше всего сближают Ефремова и Хаксли социальные идеи. На Земле в романе советского автора единый язык и единый алфавит, некое упрощенное эсперанто. Расы в «Туманности Андромеды» также давно смешаны. Понятия национальности не существует. Кстати, нас избавили от него, уничтожив запись в паспорте, еще в самом начале капиталистической эры после развала СССР. Очень уж с этим торопились, как с частью осуществления определенной *программы*. Уже сегодня произнесение слова «раса» — выход за рамки словаря политкорректности. То же ожидает и понятие «нация». Но все равно в книге Ефремова люди постоянно и упорно вспоминают о своих возможных предках. Да только знания о них смутные — давно утрачены. Но без них не обойтись, если остается интерес к самому себе, к собственной индивидуальности. Тем более вдруг оказывается, что и выбор лечения человека «невозможен без понимания наследственной структуры и условий, в которых жили предки». А как же смешение рас, задаюсь я вопросом, а также уничтожение прежних поселений? Без них о каких условиях речь? Вообще устойчивость любой системы, в том числе человеческого общества, — в ее *разнообразии*: существовании, развитии разных государств, наций, языков, культур. «*Цветущая сложность*», при которой только и интересно жить. «Культура каждого народа — жемчужина на ковре цивилизации», — говорит известный российский писатель Фазиль Искандер. Однако коммунизм, как видим у И. Ефремова, — общество крайне унифицированное и уныло однообразное.

То же касается и норм человеческого общежития. Уже ни для кого не секрет, почему и обсуждается эта проблема на международных форумах, что сегодня идет самое настоящее наступление на традиционную семью, которая дискредитируется, отрицается, высмеивается. Семьи как таковой нет и в указанных книгах. Да, в отличие от Хаксли, где царит только секс, герои Ефремова любят — от любви советский писатель никак не мог отказаться, тем более, что сам во время написания романа переживал влюбленность в свою будущую вторую жену. Однако любящие герои в его книге вместе не живут, реально семей здесь не существует. Поэтому и детей родители не воспитывают. Функции обучения и воспитания полностью берет на себя государство. Ефремов с пафосом вещает: «Одна из величайших задач человечества — это победа над слепым материнским инстинктом» (привет Хаксли! — Т. Ш.). Помню, сразу после выхода романа (1957 г.),

когда я по малолетству еще его не читала, мои родители горячо обсуждали эту идею Ефремова — избавление людей от родительской любви, воспитание детей вне семьи, и были крайне возмущены: ведь таким образом выхолащивается сама суть жизни, люди лишаются одной из главных ее радостей и функций. Перечитав книгу в зрелом возрасте, я согласилась с родителями.

В сущности, мир героев Ефремова очень беден, как бы сами они не пытались его обогатить. Обогатить, например, отказом от на всю жизнь выбранной профессии, постоянными переменами в жизни. Никто из персонажей романа на одном месте подолгу не работает, меняет специальности, якобы для обновления впечатлений. В юности мне идея писателя очень нравилась: труд только тогда плодотворен, когда он в радость, и постоянное разнообразие, смена занятий, новизна мест, коллег по молодости также привлекали. А сегодня я думаю, что во всем этом, в пяти-шести высших образованиях, есть смысл, если знания даются легко, без напряжения, быстро. Но если они достигаются упорным трудом, тогда для общества излишне расточительно бросаться человеком, превращать его в некое «перекати-поле», вечного кочевника. Так и дочь одной из героинь романа, когда мать ее посетила в интернате, задается вопросом: «Зачем нас переводят с одного места на другое каждые четыре года? <...> Постоянные переезды с места на место — <...> большая трата сил».

Да даже если знания получаются легко, скажем, с помощью новейших технологий и методик, — все равно в любой профессии нужен *опыт*, который дается с годами. Без этого никак, ни в каком деле. Хотя, снова-таки, в наше время ответственные должности занимают совсем молодые люди, опыта как раз не имеющие, к труду не приученные, такта в отношениях с людьми не наработавшие. Какой-то бездумный культ молодости. И, конечно же, передвижения. В этом — потаенная сверхзадача Болонской системы: ведь я как профессор, в сущности, не для своей страны обучаю молодежь — для кого-то, где-то, куда моих студентов занесет кочевая жизнь, их бездумное стремление на Запад, который давно утратил пассионарность и переживает процесс саморазрушения. (Там исчезает средний класс, падает уровень жизни. Он еще пока выше нашего, но мы не знаем — надолго ли. Все в Европе и Америке живут в кредит, на банковские ссуды, неизвестно когда и к чему это приведет.)

От всего происходящего, честно говоря, опускаются руки, энтузиазм улетучивается. Так и у Ефремова. Один из его главных героев Дар Ветер, проработав шесть лет заведующим внешними станциями Великого Кольца, то есть фактически диспетчером в пределах Галактики, настолько устал от чудовищного напряжения, что вынужден был искать примитивную физическую работу в шахте. Что же это за общество, которое доводит человека до полного изнеможения, а потом фактически выбрасывает вон, фарисейски прикрываясь свободой выбора профессии? А Дар Ветер тоскует по своей прежней специальности и ощущает свою ненужность в новой жизни. Хотя, конечно, в романе декларируется творческое отношение к труду, воспеваются эти вечные перескакивания с места на место, постоянные перекочевки. Но как только дело касается конкретного персонажа, сама логика развития образа у честного писателя опровергает красивые рассуждения. И становится грустно, обидно за героя.

Вообще противоречий в романе, как видится сегодня, много. Например, утверждается, что успехи медицины позволяли жить до 200 лет. Но жили, как замечает автор, только «половину возможных лет из-за сильнейших нервных напряжений». Естественно: семьи-то нет, в которой человек прежних несовершенных обществ очень часто находил отдохновение, настоящую релаксацию. Недаром один из героев думал о том, что «в древней жизни, представлявшейся всем современным людям такой трудной, было и счастье, и надежды, и творчество, подчас, может быть, более сильные, чем теперь, в гордую эру Кольца».

В коммунизме просто скучно, хотя молодые, например, проходят через инициацию — «подвиги Геркулеса»: три года после окончания учебы ищут, чем бы заняться, развлечь себя, как бы и где бы вмешаться в природу. Читаем в романе:

«Борьба с вредоносными формами жизни никогда не прекращалась». А что считать вредоносными? И как уничтожение той или иной формы жизни (ведь *жизни* же!) отразится на общей земной или региональной экосистеме? Почему-то писатель, и он же выдающийся ученый-палеонтолог, лауреат Сталинской премии, не задается этим вопросом. Даже насекомые, которые нам так досаждают, приносят больше пользы, чем вреда, как доказано сегодня.

По-видимому, прежде чем вмешиваться в природу, стоило бы ее хорошенько, досконально, всесторонне изучить. Даже через пятьсот, через тысячу лет, когда, судя по всему, и происходит действие романа, Земля еще не будет изучена до конца. Если идея преображения природы в виде *сада* исключительно удачна, то это потому, что многие виды культурных растений оказались изучены достаточно хорошо — еще со времен Аристотеля: современные ученые поражены скрупулезностью в исследованиях флоры учениками античного мыслителя, сотрудниками основанного им Лицея, — словно у них имелись микроскопы.

Наряду с грубым вмешательством в природу в романе И. Ефремова занимаются и какими-то странными математическими выкладками. Так, в Академии Горя и Радости ведется подсчет (!) горя и счастья в жизни отдельных людей, «исследование горя по возрастным группам». Есть также Академия Пределов Знания. Может ли быть предел знания? Иногда в человеческой истории информация о научных и технических достижениях таилась от непосвященных, скрывалась, например, индийским императором Ашокой в III в. до н. э., но не в коммунистическом же обществе, где все вроде бы сознательные и не могут использовать знания во вред людям.

По существу, нет в будущем и искусства, как нет рас, наций, языков. Архитектура однообразна: «Среди градостроителей господствовали два направления архитектуры: город пирамидальный и спирально-винтовой». Очень близко к тому, что наблюдаем в современных мегаполисах, причем по всему миру, хотя речь пока идет о сооружениях, а не о целых городах. Как писал Э. М. Ремарк: «Когда видишь, какие замечательные здания строили люди в старину, невольно думаешь, что они были счастливее нас». Поэтому примитивная архитектура «Туманности Андромеды» крайне удручает: в *такой* люди не могут быть счастливы. Правда, в городах действие романа почти не происходит. Видимо, писатель находился в тисках некоей заданной концепции, возможно, воспринятой от своего учителя Г. Уэллса, но внутренне сопротивлялся ей, вот почему старался переносить своих героев на природу. А вообще в романе, созданном полвека назад, узнаешь многое, к чему нас упорно *приучают* в современной жизни. Например, советский писатель, оказывается, сторонник эвтаназии: только чтобы человека умертвить, необходимо, по его мнению, решение совета из 22 врачей.

Все же И. Ефремов, описывая коммунистическое будущее, не скрывает своих сомнений и колебаний. Так, один из его героев «поведал о своих давних опасениях, что человечество развивается слишком рационально, слишком технично, повторяя, конечно, в несравненно менее уродливой форме ошибки древности». Героиня с ним согласна: «Я много страдала от ощущения неполной гармонии с жизнью. Мне надо было больше от чего-то древнего и гораздо меньше от окружающего». Еще одна героиня также рассуждает здраво: «Интеллектуальная сторона у нас ушла вперед, а эмоциональная отстала...» Или: «Мало больших ученых отдавало себя исследованию законов прекрасного и полноты чувств». Это потаенные мысли самого писателя, которые волновали его как при написании шедевральной «Туманности Андромеды», так и в гораздо большей степени — в романах «Лезвие бритвы», «Таис Афинская» и крамольном, замалчиваемом как в советское время, так и ныне «Часе быка». Многие соображения И. Ефремова удивительно мудрые, правильные и справедливые. Например, он пишет: «Можно говорить о счастье, как о постоянной перемене труда и отдыха, трудностей и удовольствий». Но как достичь этого? Автор в романе о будущем пытается показать пути достижения, но, к сожалению, не убеждает, а, наоборот, разочаровывает.

Конечно, в «Туманности Андромеды» много привлекательного и достойного восхищения. Прежде всего, в романе показано не потребительское общество, как у зарубежных фантастов — современников советского писателя. Соответственно, в обществе, о котором мечтает Ефремов, нет многих грехов капитализма, знакомых уже сейчас и нам. Люди в будущем лишены корысти, эгоизма, они умны, доброжелательны, трудолюбивы. Можно даже сказать, что они абсолютные трудоголики, каковым был и сам И. Ефремов. Его роман — действительно выдающееся произведение, которое в свое время стало буквально культовым и в огромной степени стимулировало и развитие литературы — фантастики, и развитие фундаментальной науки (например, один из рассказов И. Ефремова натолкнул ученого Юрия Денисюка на открытие объемной голографии). Недаром именно Иван Ефремов считается основоположником современной *научной* фантастики как одного из ведущих направлений литературы в эру НТР. А все же совпадение его мыслей с идеями Олдоса Хаксли наводит на определенные размышления. Не был ли Иван Ефремов, как и его кумир Герберт Уэллс, как и Евгений Замятин, как и Олдос Хаксли, как и наш Вацлав Ластовский, знаком с некими достаточно секретными планами переустройства общества, раздумья над которыми и породили замечательное литературное произведение? То же касается всех названных творцов. Либо же они *действительно* обладали настоящим предвидением, ощущением будущего. Таких прозрений ведь оказалось очень много у писателей. Скажем, у Жюль Верна около 300. Джек Лондон предсказал мобильную связь (основываясь, видимо, на мыслях гения XX века Николы Тесла), Алексей Толстой — лазер, Станислав Лем — виртуальную реальность, братья Стругацкие еще в 1965 году — по многу лет длящиеся телесериалы.

Характерно, что многие идеи И. Ефремова, чрезвычайно популярного в свое время и за рубежом, доводит до гротеска итальянский писатель Эрманно Либенци в сатирическом рассказе «Туристы астроклуба». Принимая туристов из других галактик, земляне будущей эры хвастаются своими «достижениями»: «...“после устранения ненужной растительности мы приступили к уничтожению животных. В отдельных случаях нам для этого не понадобилось даже пошевелить пальцем. Такие доисторические виды, как лошадь, верблюд, осел, буйвол, исчезли сами собой, не выдержав состязания с машинами. Изменение климата также сделало свое дело: белые медведи, тюлени и пингвины погибли от перегрева, а слоны, жирафы, гиппопотамы, носороги — от холода. Что же касается других животных, то ими пришлось заняться вплотную”. — “Заняться? Это в каком же смысле?” — испуганно воскликнули зенитиане хором. — “Да, это была совсем не легкая работа. Особенно много хлопот доставили львы и тигры. Впрочем, они были обречены. Не могли же они кормиться бифштексами из пластика”. — “А птицы?” — “Они мешали полетам и лазерным передачам”, — ответил глава делегации землян. — “Ну, а собаки, кошки?” — “Слишком были прожорливы”». И все в таком духе. И пусть в наше время собак и кошек часто любят больше, чем собственных детей, однако птицы в самом деле вдруг стали массово гибнуть, возможно, под влиянием определенного рода физических полей и излучений, да и другие живые существа уничтожаются бездумно: по 70 видов каждый день.

Правда, советские писатели — последователи И. Ефремова, видимо, не отягощенные знанием некоего особого проекта, который впервые «засветился» еще в «Утопии» Томаса Мора и «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона, создавали светлые и жизнеутверждающие коммунистические утопии. Человечество в их книгах также оказалось единым, поскольку на Земле победил коммунизм. Но он не такой тоскливый, как у И. Ефремова. При этом многочисленные проблемы все равно оставались: чаще всего герои произведений советских авторов были озабочены более глубоким проникновением в тайны природы; экологией — ликвидацией ошибок прошлого, а их немало останется потомкам; стремились разгадать загадки человеческой психики. Часто ставились эстетические проблемы, утверждалась необходимость формирования в детях, в людях образного мышления.

Эпоха НТР порождала оптимистические мысли о будущем и веру в него. Сегодня — касательно науки и техники — мы живем в этом осуществленном будущем. И многое в нем прекрасно! Однако *жизнь полна противоречий*, и я недаром ссылалась на другие примеры осуществления прогнозов.

Значение книг фантастики, особенно в 1960-е годы, огромно не только для развития литературы. Обладая художественными достоинствами, они являлись одновременно популяризацией науки, приобщали молодого человека к таинствам техники, заражали его романтикой поиска. В юности мы полюбили книги многих советских авторов и в дальнейшем внимательно следили за их творчеством. Причем, если в предыдущие десятилетия в СССР появлялось от силы десять книг фантастики в год, то в 1960-е годы заявили о себе десятки, если не сотни, молодых талантливых авторов.

Характерно, что такого рода явления культуры, как известные фантастические литературные произведения, все чаще являются объектом *философских* размышлений *современных* исследователей. Сошлюсь на еще одно произведение о будущем — роман «Трудно быть богом» братьев Аркадия и Бориса Стругацких. В последнее время принято бывшего кумира И. Ефремова почти не упоминать, а называть родоначальниками советской научной фантастики именно Стругацких. Это, конечно, несправедливо при всех несомненных заслугах талантливых братьев (и вообще советская фантастика начиналась еще в 1920-е годы с «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого и книг Александра Беляева). Я творчество Стругацких, как и И. Ефремова, знаю достаточно хорошо, и должна сказать, что они, сами ученые, — своеобразное порождение именно эпохи НТР. Когда она закончилась именно как *эпоха*, а это произошло в начале 1970-х гг., при всех дальнейших как будто бы несомненных достижениях техники и технологий и произведения братьев перестали быть такими интересными, как раньше; к тому же их главной целью все чаще стала своеобразная демонстрация кукишей в кармане в сторону советской власти. Однако роман «Трудно быть Богом», написанный в начале 1960-х, по-настоящему глубокий и тоже, конечно же, как видится сегодня, знаковый.

Сошлюсь на его анализ в журнале «Наука и религия» (2012 г.) исследователя Сергея Макина. Напоминаю, что главный смысл романа — трагическая невозможность для землян, уже достигших при коммунизме феноменальных успехов в науке и технике, а главное — высот морали, вмешиваться в социальные процессы в обществе несовершенном, диком, аморальном. Такое вмешательство в судьбу других планет, по мысли писателей, в будущем будет решительно запрещено. С. Макин разбирает почему запрещено, и что было бы, если бы оказалось возможным все же вмешиваться, то есть помогать варварским обществам тем или иным способом. Однако любой способ неприемлем.

Встать во главе заговора — тогда неизбежен кровавый хаос на планете. Дать местным людям все возможные блага, всего настроить? Заманчиво. Но главная болезнь и главный враг — серость — не исчезнет. Третий вариант: высокоразвитым землянам устроиться на орбите чужой планеты и с помощью гипноизлучателей, то есть непосредственным воздействием на психику аборигенов, заставить варваров жить по божеским заповедям. Такая мысль, кстати, судя по некоторым данным, мелькает и у многих современных вершителей мировых судеб. Однако чего стоит общество, лишенное собственной истории? А если излучатели почему-то выключатся? (Об этом еще один роман Стругацких — «Обитаемый остров». Про неявное влияние извне — их же «Пикник на обочине», в киноверсии — «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского.)

Еще возможный выход: спасти, забрать с собой на Землю хороших людей, которые тоже все-таки встречались в несовершенном обществе. Но тогда останутся только серые, и простым обычным людям, когда не окажется положительных примеров, будет еще хуже, совсем невмоготу: «Пока много мрака, редкие ночные звездочки должны соединяться в созвездия. Если же звездочки еще и изымать...»

Таким образом, герои романа, в частности Антон-Румата, стоят перед неразрешимой дилеммой. А наблюдать весь ужас происходящего на чужой планете им, людям высокой морали и культуры, все сложнее, все невыносимее.

Однако автор статьи назвал ее «Не вмешиваться — не получается!» и полагает, что идея невмешательства в чужую жизнь — это идея, на самом деле, порожденная буржуазным обществом с его упорно насаждаемым эгоизмом. В наше время каждый день происходят разные безобразия, совсем не редки убийства, а люди в большинстве к ним уже равнодушны, ко всему притерпелись, даже ничему не удивляются, а тем более не бросаются помогать. С. Макин приводит разные отзывы на роман в интернете, и в частности, такой: «Теперь, конечно, трактовки другие: мол, нельзя вмешиваться, мол, нужно дать переболеть детскими болезнями. Пражская весна, венгерская осень. Не знаю, у меня всегда было другое прочтение. Что нельзя не вмешаться. Не получится... Это выше сил человеческих. А пустишь все на самотек, не ровен час, вмешаются к тебе. Вот и теперь. Венгрия—Чехословакия — просто стартовая площадка натовских ракет, форпост наших заклятых друзей да один из центров секс-туризма. Афган, где погибло 11 000 наших солдат-пацанов — поставщик наркоты в таких масштабах, что от нее по 100 000 пацанов в год гибнет, — такая вот политика невмешательства, такой момент истины. Ну, конечно, была империя зла: там, куда приходили, строили школы, больницы, электростанции — верный признак злодейства. А надо бы, как истинная империя добра, — строить демократию, храмы да мечети, да телецентры по сто отупляющих каналов...» Вот такое тоже есть мнение. И вывод автора статьи: нужно помогать. Так будет и по-человечески, и по-божески.

От себя скажу, что трагические противоречия все равно останутся, поскольку несовершенен сам человек: часто помогаешь, а получается в результате только хуже. Однако помощь в любом случае — *приношение добра*, а ведь нужно, чтобы его становилось все больше на планете.

Актуальность романа Стругацких не только в размышлениях о политике, в частности политике СССР, который, часто в ущерб собственному населению, помогал всем в мире, поддерживал разные страны и прогрессивные движения, но и в более общих, философских вопросах. В частности, в таком: если существуют высшие инопланетные цивилизации, и они наблюдают за нами, то какую позицию занимают по отношению к землянам-варварам они? А ведь разговоров о таких «богах» в наше время все больше. Нам упорно внушают мысль об их реальном существовании. Произошел реверс: от размышления писателей-гуманистов про миссию в будущем высокоразвитых землян мы опустились до убеждения, что сами, возможно, являемся объектами наблюдений, а то и манипуляций со стороны высших существ.

Характерно, что Стругацкие еще в середине 1960-х годов очень скептически и иронически относились к прогнозам коллег по перу относительно будущего. В одной из лучших своих повестей «Понедельник начинается в субботу» они юмористически изобразили разные его варианты в советской фантастике. Герой произведения испытывает машину времени, которая попадает не в «реальное», а только в *описанное* писателями будущее. Высмеиваются догматические схемы, основываясь на которых, по мнению Стругацких, развивалась фантазия советских авторов. Например: «Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные, прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи».

Это камешек в огород последователей сельской идиллии, как бы возвращающей к традициям античности. Другой камешек — к фанатам активного освоения космоса и одновременно высмеивание якобы советской шпиономании: «Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций <...> Играла музыка, произно-

сились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. <...> Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего аэроплана. Толпа их не замечала».

Как видим, Стругацкие безжалостны к авторам литературной халтуры о коммунистическом будущем. Однако не нужно думать, что таких жалких поделок выходило много. Основывались братья-писатели от силы на одной-двух, причем переданных, как и положено в пародии, в совершенно карикатурном ключе. Чем дальше, тем больше убеждаешься, что на многих страницах пародируются отдельные и совершенно конкретные произведения собратьев Стругацких по творческому цеху. Так соавторами решалась задача о дискредитации конкурентов, так как сюжеты были узнаваемы.

У самих Стругацких прогностическая мысль блестяща. Чего стоит один только Выбегалло из «Понедельника...», даже в речи которого слышатся нотки и слова-паразиты («эта»), характерные для одного высокого российского государственного деятеля уже 1990-х годов. Тем более показателен технический проект, созданный Выбегалло, — кадавр с неограниченными материальными потребностями — прообраз человека будущего.

По версии Стругацких, воображение советских фантастов редко простиралось дальше 2000 г. «После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились все выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше». Вообще-то, относительно городов — довольно правдивая картина, если посмотреть сегодня вокруг себя.

Смешно в пародии показано общество XXI—XXII вв., полное киборгов и роботов, которые служат человечеству, но нередко портятся и превращаются в разрушителей; впрочем, в советской фантастике, в отличие от западной, никто не верит в бунт машин. В этом же временном периоде возвращаются ржавые ракеты из далеких галактик, которые со слезами и пафосным чтением стихов люди провожали лет двести назад. Из анахронизмов-ракет выходят измученные долгим перелетом звездолетчики и начинают говорить длинные речи, призывая людей лететь, например, на планету Хош-ни-Хош в Малом Магеллановом Облаке освобождать братьев по разуму, «стенающих под властью свирепого кибернетического диктатора». Издеваясь над этим мотивом в фантастике, Стругацкие не подозревали, как недалеки были пародируемые авторы от истины, причем в отношении землян, учитывая, что нам, нынешним, угрожает поголовная чипизация и киберуправление, а суперкомпьютер под названием «Зверь», то есть «кибернетический диктатор», уже создан в Бельгии. (Правда, он не только создан, но и успел устареть и сломаться, а в здании, где расположен, обнаружено огромное количество асбеста, и добрая половина его первых сотрудников уже от этого вымерла, а новые туда не очень хотят наниматься.)

Советские писатели, мечтая о будущем, основывались на гуманистических традициях русской философии и литературы. Так, в конце XIX — начале XX вв. Россия переживала уникальное явление — расцвет *философии космизма*. Мечты философов о будущем грандиозны и совершенно поразительны. Николай Федоров, учитель Константина Циалковского, высказывает и даже обосновывает невообразимую для того времени идею о воскрешении предков потомками, что

должно стать *общим делом* для человечества. Мечтой о бессмертии жил и известный большевик, ученый, а также писатель-фантаст — Александр Богданов, для осуществления прорывных идей которого в СССР в 1920-х гг. был даже открыт первый в мире Институт переливания крови; он же — создатель теории систем, предвосхитившей кибернетику. Константин Циолковский писал о неизбежном преобразовании человечества в «лучистое состояние», то есть, видимо, переходе из нашего грубого вещного мира в иное измерение, где тела состоят из материи, близкой по своим свойствам к плазме. Мечты марксистов о коммунизме (Г. Уэллс назвал Ленина «кремлевским мечтателем») как мифологическом «золотом веке», райском состоянии вдохновляли миллионы простых людей, вызывали горячий энтузиазм, толкали на героические подвиги. В годы нашего детства и юности мечты еще радужные, светлые, оптимистические.

Все иначе сейчас. В 2005 г. известный российский писатель Михаил Веллер опубликовал публицистическую книгу «Великий последний шанс», где среди прочего предсказал скорую гибель Европы. Основные аргументы писателя в крайне лаконичной форме следующие:

1.Депопуляция. Белые женщины не желают рожать, в результате европейцы вымирают.

2. Этническая замена. Белое население заменяется выходцами из Африки и Азии.

3. Гастарбайтеры. Европейцы не желают работать на грязных работах и нуждаются в рабочей силе извне.

4. Перенос производства в страны, где дешевая рабочая сила. В конце концов работающая Азия заявит о своих правах и предъявит счет разленившейся Европе.

5. Вседозволенность и разврат, в частности наглеющие секс-меньшинства.

6. Искусство совершенно деградирует. Представители всех направлений модернизма приходят в бешенство от аргумента, что так, как они, может сделать любой дурак. Притом они крикливы и агрессивны, а настоящий талант публикой не котируется.

7. Европейцы ничего не хотят. Они желают сохранить статус-кво, а еще лучше: благ побольше, а волнений поменьше, чтобы спокойно жиреть.

8. Гуманизм. Отсутствие смертной казни. Вот уж радость для убийц, счастье для маньяков! Всегда убийц убивали. А сейчас «государство не должно».

9. Европа слаба духом против Востока. А кто слаб духом, тот уже проиграл.

Прогноз М. Веллера оказался очень точным, причем все им сказанное за восемь лет после выхода книги еще более усугубилось, и названные процессы происходят гораздо быстрее, чем он представлял.

Прогнозы будущего не только в фантастике, где они закономерны в силу специфики жанра, а и в *массовых изданиях* начали появляться вместе с «перестройкой», когда шла массированная обработка сознания советских людей. Еще в 1960-е годы стало модным знать свой знак зодиака, и, ссылаясь на небо, объяснять им характер и собственные недостатки; носить соответствующие украшения. Я относилась тогда к модному поветрию снисходительно, принимая за игру, которая украшает быт, вносит в него некоторое волнующее разнообразие. Между тем это оказалось преддверием астрологического психоза 1990-х годов, продолжающегося и сегодня.

Я отнюдь не стремлюсь всякие явления поры моей юности представить частью общего плана сокрушения СССР, славянской цивилизации и т. д. Однако, как отмечал замечательный советский ученый Юрий Лотман, если смотришь вперед, в будущее, то все кажется *случайным* (в самом деле, существует *вариативность* пути истории), но когда оглядываешься назад, то одна из случайностей оказывается *закономерностью*. Так и я оцениваю прошедшее время.

Чрезвычайно популярными еще «при Советах» вдруг оказались болгарская пророчица Ванга и французский средневековый пророк Мишель Нострадамус. Вера в Вангу совершенно задурила мозги европейцам, однако боюсь, что это

был всего лишь успешный коммерческий проект, одновременно играющий на престиж маленькой Болгарии, которая в советское время процветала, а сегодня молодым поколениям и известна только бабой Вангой — единственным брендом. Многим людям кажется, что она предсказала буквально все. Ее авторитет как пророчицы буквально подавляет. Между тем, еще тридцать лет назад у нас на Полесье встречались деды-вещуны и бабушки-шептухи, которые проделывали настоящие чудеса: успешно лечили людей, особенно неврологических больных, и искали злодеев, смотря в воду, а также предсказывали многие события, впрочем, полагая это недопустимым для христиан. Естественно, никто их не «раскручивал» и не прославлял. Только мои аспиранты объехали глухие деревни за одно лето на мотоцикле да поразились увиденному.

Что касается Нострадамуса с его «Центуриями», то сначала акцентировалось внимание на его сбывшихся предсказаниях. Сейчас даже трудно представить, сколько появлялось публикаций о прорицателе. Готовилась почва для «ударного» вброса. Он произошел. Оказалось, Нострадамус предсказал существование некоей восточной империи в течение 73 лет и 7 месяцев, а затем ее крах. Который и случился с СССР в 1991 г. Все 1990-е годы Нострадамус продолжал оставаться популярным, потому что у него нашлись предсказания также и о «конце света».

Действительно, о «конце света» стали говорить все больше. Впрочем, это неизбежно в эпоху «fen de siècle», а тем более конца тысячелетия. Ощущение исчерпанности современной цивилизации все чаще посещало даже совсем малодумающих индивидуумов, живущих инстинктами, а тем более беспокоило интеллектуалов. Утешать себя не получалось, поскольку многое виделось гораздо серьезнее, чем предсказания Апокалипсиса в прежние времена: мол, сколько раз объявлялся конец света, а жизнь себе продолжалась. Сейчас приметы конца оказались налицо: истощение ресурсов Земли, истончение озонового слоя, катастрофическое ухудшение экологии, тяжелая демографическая ситуация, тупик в науке, падение морали, исчерпанность парадигм культуры (сменили друг друга уже все мыслимые). Мир действительно подошел к какому-то рубежу — как теперь говорят, к точке бифуркации.

В 2000 г. ожидаемого конца света не случилось. А сам миллениум отмечали как-то очень вяло, бедно, тускло, будто в растерянности. Да и правда: даже не знали, когда точно праздновать — в 2000-м или в 2001-м. Словно сильные мира сего и иерархи Церкви предчувствовали, что настоящее начало нового тысячелетия им объявят дополнительно. Так и произошло. Ведь истинно новый век начался 11 сентября 2001 г. с самолетной атаки якобы арабов на небоскребы Международного торгового центра в Нью-Йорке. Это был действительно *мировой* фейерверк, который наблюдало человечество: время акции оказалось подогнано так, чтобы действо, причем в прямом эфире, увидело как можно больше людей Земли. В самых густонаселенных странах уже проснулись, или же был разгар дня, или еще не ложились, а спали жители лишь малонаселенных стран, которыми вполне можно пренебречь. Создается впечатление, что планировщикам терракта очень важен был *одновременный* мощный всплеск эмоций как можно большего числа людей, словно это могло повлиять на саму Землю или ее атмосферу.

С тех пор эсхатологическая тема не сходила с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов. При этом реально участились землетрясения, цунами, извержения вулканов, аномальные зимы и жара летом, наводнения и прочие природные катаклизмы. С 1960-х по 1990-е годы число катастроф увеличилось в пять раз. С началом нового тысячелетия людей стали пугать потеплением климата. А в последние пару лет, наоборот, похолоданием. Перед 2012 годом много говорили о пророчестве конца света, известном по календарю индейцев майя. О нем впервые написали еще в 1980-х в одном из научно-популярных журналов типа «Техника — молодежи».

Появились сугубо научные теории происшедших, все более роковых, событий. Так, в книге Грегга Брейдена «Время великих перемен. Расследование конца

света: от пророчества майя до прогнозов ученых» (2009 г.) доказывался тезис о нынешнем особом положении Солнечной системы во Вселенной: мы движемся все дальше от центра Галактики и в данный момент находимся как раз в самой дальней точке описываемого Солнечной системой эллипса. Увеличившееся расстояние между Землей и расположенным в некоем космическом центре источником галактической энергии было, оказывается, описано древними традициями как потеря какой-то важной связи, которую мы чувствуем на духовном и на эмоциональном уровне.

Индейцы майя откуда-то знали, что после зимнего солнцестояния 2012 года Солнечная система и, естественно, Земля перейдут в экстраординарное по всем параметрам положение. Мы пересекаем воображаемую, словно экватор в океане, линию, разделяющую две половины нашей Галактики и имеющую форму диска. Конечно, это не одномоментное событие, а процесс, который начался, по-видимому, еще в 1980-е годы XX века. А последний раз такое положение было 26 000 лет назад. Все древние высокоразвитые народы о нем знали, а не только майя. То есть, как пишет известный российский историк Андрей Фурсов, «с начала XX века Земля переживает очередную планетарную перестройку, происходящую раз в 11,5—12,5 тысяч лет, проявляющуюся в изменении циркуляции магмы, росте числа и интенсивности землетрясений <...>, смене магнитных полюсов планеты, уменьшении ее орбитальной скорости и т. п. К этому следует добавить тот факт, что в апреле 2012 года раскололась литосферная Индо-Австралийская плита, и ее части начали движение в разных направлениях; такое за все время существования человечества случается впервые...»

В 2012 году, перед «концом света», в СМИ началась настоящая вакханалия, хотя трезвые голоса все же звучали, и не раз объяснялся возможный смысл календаря майя. Однако мировому обывателю хотелось жути, повышающей адреналин. Да и совершающееся в мире не внушало, честно говоря, оптимизма.

В серьезной литературе мне встречалось несколько вполне обоснованных прогнозов возможного «конца света», которые я здесь в определенном порядке и привожу:

1. Религиозный вариант основывался на постулатах некоторых мировых религий. Христиане ссылались на «Откровение Иоанна Богослова», хотя Церковь как раз трезво отрицала совсем не бесспорный прогноз майя. Буддисты же абсолютно спокойно ожидают завершения Маха-Кальпы — цикла развертывания и свертывания Вселенной. Но везде, как и у майя, речь идет, собственно, не о «конце света», а о рубеже, за которым последует возрождение, возникновение нового мира. Действительно, грядущие перемены диктуются некими вселенскими законами, которые утверждают, что по достижении определенного эволюционного уровня жизнь поднимается на очередную ступень, а человеку, видимо, предстоит сделать качественный скачок. (Правда, дата из календаря майя прошла, а мы все еще никуда качественно не скакнули.)

2. Очень настойчиво СМИ пугали и пугают людей захватом Земли инопланетными цивилизациями или цивилизациями из иных измерений, гораздо более развитыми, чем земная (к этому я вернусь в последующих разделах книги).

3. Для интеллектуалов существует вариант климатической катастрофы, поскольку непорядок с климатом налицо: речь идет о разогреве земного ядра, таянии льдов Гренландии, охлаждении Гольфстрима, который на памяти человечества уже останавливался 12—13 тысяч лет назад. Причем наиболее комфортной в будущем якобы окажется Евразия (Восточная Европа и Россия), куда и переселится замерзающее население Западной Европы. Так, в 2011 г., согласно Андрею Фурсову, «Институт Брукингза совместно с Лондонской высшей школой экономики обнародовали «Проект внутреннего перемещения» — исследование вариантов массового переселения народов, предстоящего в связи с изменением климата. Едва ли надо объяснять, куда планируется перебрасывать массы населения из пораженных климатической катастрофой Северной Атлантики».

Наблюдаемая нами в последние два года «арабская весна», «это пролог в битве за Евразию и отработка форм и моделей использования оргоружия в манипуляциях значительными массами населения».

Вообще-то не важно, есть такой план или это удачная выдумка. Огромное количество людей о нем прослышит, и вполне может ринуться сюда, даже если такого проекта и нет. Многие богатые люди начнут спонсировать «очистку территории» просто на всякий случай. Кстати, ранее говорили, что при похолодании возможно будет жить только в районе экватора, на африканских и арабских территориях, и вот мы получили «арабскую весну». Даже если особых изменений климата не будет, люди из страха могут натворить всяких опасных вещей. Не исключено, что уже творят. То есть *современная мифология*, широко тиражируемая в СМИ, — вещь чрезвычайно опасная со всех точек зрения.

4. Обращалось внимание и на аномалии в биологии: растения опыляются пчелами, а они вдруг катастрофически стали вымирать. В США и Европе их убыль значительна. Остаются полезные насекомые пока только в России. Не менее охотно пугали появлением опасных вирусов, способных выкосить чуть ли не все человечество (вспомним «Алую чуму» Джека Лондона). А для большего устрашения, действительно, время от времени, явно не спонтанно, вдруг появляются штаммы все более экзотических гриппов: «птичьего», «свиного». Причем это тоже во многом массовая истерия, подхваченная СМИ, и результат веры в современные мифы.

5. В течение последних десяти-пятнадцати лет особенно часто стали писать об угрозе из Космоса: возможном столкновении с нашей планетой астероида, опасном приближении к Земле кометы. И словно в подтверждение прогнозов — падение в начале 2013 года Челябинского метеорита.

6. Существует и теория конца, связанная, как ни парадоксально, с наукой, с полной загруженностью работой большого адронного коллайдера, который может вызвать возникновение «черных дыр», затягивающих в себя материю. Объявив недавно об открытии «бозона Хиггса», «божественной частицы», частицы частиц, из которой якобы создавалась первоматерия, вершители мировых судеб как будто готовят человечество к какой-то совершенно небывалой пугающей реальности. Ведь не случайно в центре Европы возвели такой жутко дорогостоящий ускоритель частиц; здесь цель — далеко не только научный поиск.

7. Наконец, совсем реально развязывание Третьей мировой войны, «горячей», поскольку «холодная» уже закончилась полным поражением СССР и его распадом. А согласно сводкам новостей, мир постоянно балансирует на грани большой войны, пока проходя через стадию «малых».

(*Еще раз подчеркиваю, что все высказанные гипотезы — не моя точка зрения, а современные мифы, широко тиражируемые в СМИ и даже в достаточно серьезных изданиях*.)

...Когда человечество перешло опасный рубеж — декабрь 2012 года, и ничего не случилось, «страшилки» все равно продолжались.

Все чаще пишется о планете Нибиру, ставшей известной благодаря лингвистическим изысканиям американского ученого Захария Ситчина и других ученых-шумерологов, прочитавших древние клинописные тексты и открывших там многие астрономические и биологические сенсации. Нибиру, которая больше Земли в три раза, якобы движется по очень вытянутой орбите и подходит близко к нашей планете каждые 3 600 лет. Тогда обязательно на Земле случаются разные страшные события. Но более того, как будто именно ученые с Нибиру в один из прилетов миллионы лет назад сотворили человека: они и есть те самые боги «Элохим» из Ветхого Завета (слово, оказывается, по мнению Захария Ситчина, употреблялось в Библии во множественном числе).

Пока что очень редко — явно только для грамотной публики — пишут о неком гигантском облаке в нашей Галактике — так называемом кислотном тумане, которое движется в направлении Солнечной системы и все уничтожает

на своем пути. Если оно не изменит направления, то поглотит Солнечную систему в 2014 году.

Как вариант, причем пока малоизвестный, формируется миф о нейтронной звезде, время от времени подлетающей к Солнечной системе. В очень многих культурах нейтронную звезду изображали чудовищем — в виде дракона с длинным хвостом или же Медузой Горгоной — она широко представлена на русских змеевиках. Российский автор В. А. Симонов в достаточно наукообразной книге «Пророки всего мира о России после 2012 года» разбирает разные случавшиеся на Земле катастрофы, виновницей которых как раз могла быть нейтронная звезда, состоящая из вещества, выгоревшего в результате эволюции обычной звезды. Период обращения нейтронной звезды вокруг Солнца 25—26 тысяч лет, к Земле она подходит приблизительно раз в 12 600 лет. Как раз время пришло.

Все чаще звучит идея переполюсовки. Когда магнитные полюса Земли меняются местами, а к этому дело идет, то планета лишается магнитосферы. Это чревато жутчайшей катастрофой, которая, видимо, случилась, как раз 12—13 тысяч лет назад, когда вымерли мамонты и 70 % других животных. Ведь в желудках замерзших мамонтов нашли непереваренную траву — это значит, страшная волна холода накрыла их *мгновенно*. А исчезновение магнитосферы как раз и приносит жуткий холод. Ныне магнитное поле Земли уже якобы утратило 10 % мощности, а магнитные полюса активно смещаются, все время наращивая скорость.

Наконец, виновником катастрофы может быть сам человек. В своей ненасытной алчности он уничтожает природу, без которой существовать не сможет, как бы ни гордился достижениями техники. Только за последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось на одну треть. Даже неоспоримые достижения в конце концов приводят к ухудшению ситуации. Человечество само роет себе яму.

В современном мире, как пишут многие исследователи, существует два проекта будущего. Один — мир коммунизма. И не стоит думать, что у него не осталось сторонников-мечтателей. Другой, в котором промышленность концентрируется в особых зонах (в Азии), а живут люди, как у И. Ефремова, вокруг Средиземного моря, причем население Земли сокращено на 80—90 %. Мир организован по кастовому признаку с почти биологическими различиями каст.

То, что проект на *сокращение населения* работает чрезвычайно активно, видимо, уже ни у кого не вызывает сомнения. Но только для разных регионов способы сокращения разные. Для белой расы — сексуальная революция и безудержное потребительство, уничтожающее природу, для черной — СПИД и голод, для мусульманского мира — война, для Восточной Азии — наркотики и т. д. Все точно по Хаксли... Так, известный российский социолог-футуролог и писатель Максим Калашников утверждает: «80 % населения Земли становится не нужным. Его будут сокращать, и сокращать жестоко. Так как от коммунистической альтернативы, которая позволила бы занять эти 80 % в совершенно новых сферах деятельности, человечество отказалось».

Создается впечатление, что мир бездумно несется к своему концу.

...Тем не менее, очень важно не пророчить себе мрачного будущего, так как такие фантазии имеют тенденцию сбываться. Тем более, что спасение реально. Я, человек, сформировавшийся в эпоху НТР, вижу выход снова-таки в науке, но только науке, обязательно соединенной с *моралью* (впрочем, вообще *все* должно быть соединено с моралью). В эпоху Античности главная идея, обусловившая небывалый взлет культуры, — *калокогация* — красота плюс добро. Так и добро, сопряженное с наукой, способно кардинально изменить ситуацию.

Продолжение следует.



ВАЛЕРИЙ ГРИШКОВЕЦ

Три эссе

Музей погубленных душ

Памяти Евгения Курдакова

Об этом письме я помнил всегда, со времени его получения весной 2000 года. Дело в том, что порубежный двухтысячный выдался в моей судьбе не просто трудным и тяжелым, но даже роковым. Я потерял Москву, да бог бы с ней, с Москвой, в самом конце 1999-го я потерял, как мне тогда казалось, последнюю свою любовь — дорогую (душе и сердцу) женщину. Еще месяца два-три я «бодялся» по Белокаменной в надежде вернуть эту женщину. Увы, увы...

Так я оказался на родных берегах, без работы, без особых занятий — не считать же серьезным (в наше время) занятием написание стихов и еще чего-то там такого. Правда, это самое «чего-то» как раз худо-бедно кормило меня, но вместе с тем буквально до донца выхолащивало душу. А что делает стихотворец с выхолощенной душой? То-то и оно...

И тут буквально одно за другим пошли мне письма. Да какие!.. Писал недавний товарищ по ВЛК (Высшим литературным курсам) Евгений Курдаков, в то время преподававший в госуниверситете Великого Новгорода. Поэт, эссеист, переводчик, человек с золотыми руками, что среди нашего брата-литератора редкость несусветная. А что за поэт, если человек мелкий, алчный, а то и попросту пустой? Евгений Курдаков был величайшим умницей, человеком утонченным, добрейшим. Тут, наверное, сказалось и то, что родился он накануне войны в семье военных врачей. Отец во время войны носил звание полковника, в больших медицинских чинах была и его мать. Оба они прошли, если можно так выразиться и это будет правильным, всю войну, вернули в строй не одного бойца, спасли не одну солдатскую жизнь. Женя рос в тылу у бабок-дедок, среди простого русского (и не только русского) люда, с малолетства был приучен к труду. Видели бы вы, как мастерски держал он в руках стамеску и прочий инструмент, вырезая из обычных коряг различные штуки, что, казалось, только и может сделать умная машина, но не человек, работая обычным инструментом...

Да и поэтом Женя был просто удивительным! Его стих был отточен, точен, филигранен, глубок и широк, как великая русская река Волга. Не зря же его стихи ценили такие мастера, как Вадим Кожинов и Георгий Куницын, поэты Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Василий Казанцев и Николай Тряпкин. Никогда не забуду и то, как позвал меня к Николаю Тряпкину, одному из самых тогда любимых моих поэтов. Увы, поездка наша сорвалась, чтобы никогда уже не осуществиться, поскольку вскоре уже тогда тяжело больной Николай Тряпкин окончательно слег, а потом и умер. Да и своими эссе я тоже обязан Курдакову. Как и обязан дружбой, что стала просто-таки братской, с его учениками, поэтами Федором и Павлом Черепановыми, Юрием Савченко. Сколько раз они буквально спасали меня в глухой к человеческой боли Москве!.. С того света вытаскивали! Спасибо им за это. Не было бы Жени Курдакова, Евгения свет Васильевича, не было бы у меня и таких друзей...

Впрочем, я отвлекся. Вот ищу, ищу и не нахожу книгу Курдакова, чтобы хоть одним стихотворением показать, что же за поэт это был (и остается!). Не нашел бы я и этого письма, что толкнуло меня к столу и заставило писать.

Дело в том, что за последние полтора года я сменил третью, надеюсь, уже последнюю, мою квартиру и, как это часто бывает с нашим братом-стихотворцем, много чего растерял. А много чего и просто отдал кому непопадя: свои книги, свой, если можно так выразиться, архив. Ладно, надо будет, прижмет сюжет, так сказать, пойду в библиотеку, что-нибудь разыщу из книг Евгения Курдакова. А пока...

Это письмо, а было оно набрано на компьютере и выведено на бумагу, нашла на моем столе моя полуграмотная набожная мать и с горем пополам сумела-таки прочитать. Помню, приперся я откуда-то под утро, а она мне: «Якы ж у тэбэ умный чоловик, що напысав такэ письмо...» Это, разумеется, заставило меня заново перечесть его. А перечитав, не раз вспомнить. Думаю, письмо это томов премногих тяжелей, потому и приведу его в надежде, что многим собратьям сослужит оно хорошую службу и каждый, конечно же, отдаст должное его автору, а кто-то, вполне возможно, пойдет в храм да и поставит свечку за упокой светлой души раба Божия Евгения — замечательного русского поэта и человека Евгения Васильевича Курдакова.

«Валера, дорогой, здравствуй!

Ну, что ж ты не бережешь себя, ведь Бог нам так мало отмерил, а мы еще и укорачиваем этот бесценный дар, единственную жизнь свою...

Не болей!

Твое «Бюро находок», сама идея книги очерков-воспоминаний, мне понравилась, я и сам потихоньку пишу нечто подобное, впрочем, без всякой надежды на издание. И та глава, что ты мне прислал, написана широко, умно. Думаю, читатели извлекут из нее много того, о чем и не подозревают, — что бесы, разрушившие державу, и в смерти своей бесы. Письмо мое ты использовал к месту и в дело (имеется в виду мое эссе «В Переделкино, к Борису Пастернаку». — *В. Г.*). Все нормально, не сомневайся. И — пиши, не останавливаясь, делай книгу, не думая об изданиях, когда-нибудь все издадут.

А я, прочитав твою главку из «Бюро», полез в архивы и заглянул в забытый мною «Переделкинский дневник». (Евгений Курдаков, живя вдалеке от Москвы, то в Усть-Каменогорске, то в Алма-Ате, в последние советские годы использовал всякую возможность побыть ближе к главному культурному центру страны, потому при любой возможности брал путевку в Дом творчества «Переделкино», где и родился этот самый его «дневник», куда он заносил свои мысли и наблюдения писательской жизни, и даже стихи, что писались во время пребывания в Доме творчества. — *В. Г.*). Там масса интересного: весь быт и нравы этого захламленного местечка и всякая всячина о писательской жизни «на воле», в том числе и один забавный рисунок (здесь Е. К. приводит довольно «веселую» картинку: восемь обнаженных как бы женских тел, сидящих к нам спиной — *В. Г.*).

Это я нарисовал одной декабрьской страшной ночью в 1991 г., когда очнулся в своей комнате после очередной дикой переделкинской пьянки. Глянул в темноте на гобеленовые портьеры, которые насквозь просвечивал уличный фонарь, и вдруг увидел развернутую панораму этой чертовщины. Протер глаза, достал блокнот и зарисовал, чтобы утром разобраться.

А утром я внимательно рассмотрел портьеры и обнаружил, что эти чертовки и на самом деле хорошо угадываются в орнаменте, особенно на просвет. Понятно, что и от души отлегло, когда убедился, что у меня были не глюки, и что это — живой, но замаскированный рисунок, какая-то злая шутка художника-гобеленщика, какого-нибудь безвестного гениального русского алкаша, которых у нас пруд пруди. Но подобный рисунок, спрятанный в дебрях запутанного орнамента может опознать только обостренная похмельно-бдительная психика, по трезвяку на портьеры и не смотришь...

Я потом расспрашивал завхоза и узнал, что еще при Фадееве литфонд закупил на 250 окон километр этих портьер, которые были развешаны во всех домах творчества и по всем писательским дачам, — тогда ведь все было «казенное».

(Кстати сказать, будучи в Доме творчества «Переделкино», я совершенно случайно, ибо был, что называется, в доску трезв, сам для себя отметил этот спрятанный в дебрях запутанного орнамента рисунок, но тут же отвел взгляд, решив не искушать себя «глупыми мыслями». — *В. Г.*).

Можно себе представить, сколько раз писатели с похмельной жаждой просыпались по ночам глотнуть воды из графина и с диким ужасом вдруг замечали, что им с колеблющихся портьер показывают ж... молодые чертовки: пили ведь почти все, вся советская литература была, в принципе, запойной — иначе соцреализм не сотворишь. Может, и сам Фадеев застрелился не от «позывов совести», как об этом любят поталдычить «знатоки» русской души, а просто от этих чертовок на казенных портьерах (его посмертное письмо весьма сомнительно), вернее, от беспробудной пьянки. Суть трагедий бывает гораздо тривиальней, чем это кажется...

Кстати, на даче Фадеева (она третья от пастернаковской: на берегу Сетуни) после его самоубийства поселился Смеляков со своей Стрешневой и у него немедленно начались лютые запои и, вообще, с того периода он, в принципе, уже перестал быть Смеляковым...

Страшное это место, Переделкино, недаром его прозвали Неясная поляна. Оно насквозь пропитано алкоголем и чертовщиной. И там нужно делать <...> музей погубленных душ. Ведь в каждой комнате Дома творчества кто-то покончил с собой. Это мне говорила старая уборщица, которая помнила и Пастернака и называла его Пустырнаком, как удобней...

Надо будет попросить Юру Савченко, чтобы он съездил в Переделкино и сфотографировал эти портьеры (наверняка где-то сохранились) для истории запойного соцреализма...

Однако я заболтался...

А у меня здесь (к юбилею) неожиданно выходит сборничек, нечто вроде «Избранной лирики», который я назвал просто «стихотворения», предчувствуя, что, вполне возможно, это последнее мое издание. Не потому, что вот-вот помру, может, еще и поживу немного, а потому что при жизни уже едва ли мне удастся издать что-либо. Эта окаянная свора, разрушившая Россию, видимо, засела надолго и всерьез, и нам ее не пережить...

(Увы, Евгений Курдаков и в этом оказался прав: жить ему оставалось ровным счетом два года и девять месяцев. Правда, насчет «своры» он маленько дал маху. Именно в тот, 2000 год, в Российской Федерации произошли значительные перемены: к власти пришел Владимир Путин и Россию, какие бы и кто поминальные песни по ней ни пели, удалось сохранить. Другое дело, какую Россию, и на долго ли... — *В. Г.*).

История выхода этого сборника достаточно анекдотична. Деньги были выделены нашей сверхдемократичной администрацией во главе с небезызвестным Прусаком (в то время губернатор Новгородской области. — *В. Г.*), другом и учеником Бурбулиса. Стихов они, естественно, не читают, а я, кроме того, словно бы предчувствуя все это, за все эти годы ни разу (!) не публиковался здесь (кроме нашей писательской газетенки «Вече», которая уже канула в Лету). Лег на дно. Прусак подмахнул подпись на прошении Ганичева не глядя. И слава Богу. Эти деньги все равно украдены ими же у нас же, полувымирающих и обессиленных... Ну, все остальное, верстку, редактуру, обложку и прочее мы с Наташей (жена поэта. — *В. Г.*) сделали сами и очень быстро: компьютер под руками... Не знаю, куда посылать тебе книжечку, в Пинск или в Москву на Савченко. Черкни, где ты будешь в апреле-мае.

Этот юбилей свой я хотел проскочить втихаря, чтобы никого не озабочивать. Ан нет, пронюхали, и теперь придется «юбилеить». Хотя, если приедут друзья из Москвы да Питера, рад, конечно, буду, я всегда рад друзьям.

Ну, а после всего этого собираюсь в апреле в Усть-Каменогорск к дочерям. Там уже готовят мне встречу и возможности, чтобы я заработал на проживание и обратную дорогу: курс лекций по языку и современной поэзии (спецкурс в тамошнем университете), литературные вечера, телевидение и пр. Усть-Каменогорск — большой и богатый некогда атомград, сейчас полурастащенный и проданный, как все в Казахстане, не растерял еще русской интеллигенции, которая страшно скучает, даже тоскует по родному доброму слову, по новостям из России, — там меня еще помнят, любят и хорошо знают. (Сегодня, к счастью, и в Казахстане совершенно иная ситуация. И мы, белорусы, также, как и русские наши союзники, теперь уже все вместе строим новую общность, где, как в лучшие времена, снова звучат стихи казахов в переводе на русский, белорусский и наоборот, идет культурный и в том числе литературный обмен: журналами, книгами, встречами писателей и поэтов. — *В. Г.*).

Но все это, поездка и прочее, зависит от здоровья, а оно у меня — типа «Епиходов сломал кий», как писал наш хитромудрый и недопонятый Антон Палыч Чехов...

Что ж, дорогой мой собрат по перу, обнимаю тебя, не болей.

Всего доброго, пиши.

Евгений. Великий Новгород, 11 марта 2000 г.

P. S. Только что пришел с одного выступления, где одна старушка, родом из Калуги, подарила мне ветхую книгу, французский роман Г. Жуи «Гвианский Пустынник» 1828 года издания, которую держал в руках и читал А. С. Пушкин. Эта книга из библиотеки Гончаровых в Полотняном Заводе... Потрясающий подарок!

Е. К.

С Евгением Курдаковым мы потом виделись всего один раз, хотя раз десять я обещал приехать к нему в гости, да и сам не раз звал его на родные берега. Увы, увы... После нашей довольно-таки обширной переписки мы встретились всего один-единственный раз: летом 2002-го. Женя свет Васильевич приехал в Москву прощаться с Белокаменной, с друзьями, ибо знал, жить ему оставалось всего ничего: рак не щадит человека, каким бы он не был... А было Евгению Курдакову, бесконечно талантливому, умному и доброму человеку от роду немногим более, нежели нынче мне, подошедшему к 60-летнему рубежу...

Храни, Господи, душу раба твоего Евгения, а память сохранят все, кто любил, кто по-прежнему любит его — за щедрый талант, за широкую русскую душу.

Кепка из Лондона

В ранней юности, а то еще и в детстве, была у меня мечта: иметь кепку-лондонку.

Дело в том, что росли мы не в детском саду, нас, детей рабочей окраины небольшого городка, воспитывали не родители, не школа, нас воспитывала улица, а точней — вчерашние недоучки, что в 16 лет, по получении паспорта, а то и раньше, покидали школу и шли на завод, на фабрику, на стройку. Мы с самого детства толклись возле старших братьев, поскольку родители были на том же заводе, той же фабрике или стройке, а после рабочей смены горбатились по хозяйству: на огороде, в сарае возле верстака, возле живности, которую тогда почти все держали в своих дворах. Да мало ли было забот в семье, где росло не по одному-два, как теперь, а по три-четыре, а то и пять-семь детей. Ну а зарплата на заводе рабочего, как и на фабрике или стройке той поры, была такая, что, как говорили наши родители, от аванса до получки. А семью кормить надо каждый день, и есть следует не один раз в сутки...

Словом, жили небогато, если не сказать бедно, зато весело и открыто. Ну, может, не весело, но то, что открыто — точно! По крайней мере, зависти у людей, как нынче, не было, да и чему было завидовать? Нет, вполне воз-

можно, кто-то и завидовал, скажем, жена соседа казалась красивее своей. Вот и... Впрочем, это я так, шутки ради, что ли. А если серьезно, люди были куда добрее нынешних, соседи так и вовсе были что родственники. Ходили друг к другу в гости, притом не только по праздникам, а и в любой день и час, конечно, не ночью, но без предупреждений и приглашений — это было как что-то само собой разумеющееся, обычное дело. Да и телефонов ни у кого на улице не было, чтобы звонить и договариваться. Вообще, можно сказать, ничего не было! В смысле, лишнего. К сожалению, часто не было и нужного, даже крайне необходимого. Про машину под окном тогда никто не думал и не мечтал, а если и мечтал, не говорил: за ненормального признать могли. Когда появились первые телевизоры, чуть не всей улицей приходили смотреть. И ходили долго, пока своим не обзаводились...

Как мы росли? Нормально росли, хорошо, даже, можно сказать, прекрасно проводили время. Ни одной спортплощадки не пропускали! Увы, их тогда в городе было мало. Вот и гоняли мяч на пустырях. Это позже на школьных дворах обустроили баскетбольные и волейбольные площадки, а кое-где и для ручного мяча. На них и играли в футбол. Впрочем, играли мы чуть ли не во все известные нам спортивные игры: в баскетбол, волейбол, в тот же ручной мяч, гандбол по-нынешнему. Но футбол, конечно, был самым любимым видом спорта, а следовательно, и наших игр. Были и другие, не менее горячие и страстные игры. Скажем, в подкидного дурака с навешиванием погон. После каждого кона подсчитывали, сколько ударов и каким количеством карт должен получить по ушам или носу проигравший. Бывало, приходил домой с опухшими фиолетовыми ушами. Тут и от батьки еще доставалось, да еще как!..

И повально все носили кепки и чуть ли не в любую пору года. Это было что-то вроде моды. А самые, как теперь бы сказали, крутые носили «лондонки». Мы, кто поменьше, тоже делали эти самые «лондонки» — укорачивали, а говоря проще, обрезали козырьки, предварительно их выпоров, а обрезав подкладку, вшивали вновь. При этом вкладывали вместо имевшейся не очень прочной подкладки что-нибудь потверже, обычно это был плотный картон, — для крепости козырька. Сам же козырек должен был быть по возможности покороче, чтобы едва можно было взять — сантиметр-полтора. Был в этом некий шик, что ли. Ну, а настоящим шиком считалось зашить под подкладку еще и резиновую, скажем так, прокладку. Для этого бралась камера футбольного или волейбольного мяча, а мячи тогда были сплошь из натуральной, часто весьма грубой выделки кожи, для прыгучести полагалась им не толстая резиновая камера, которая вставлялась в кожаный мяч через специальное отверстие, а затем зашнуровывалась. Думаю, сверстники мои и те, кто постарше, хорошо помнят футбольные, волейбольные и прочие мячи той благодатной поры. Были они, разумеется, не совсем удобные для игр, правда, требовалось и больших усилий, чтобы играть ими и при этом забивать. Впрочем, я отвлекся.

Кепка-лондонка была тем и знаменита, что, как неизменно втолковывали нам старшие ребята, в Лондоне всегда стоит сырой туман и часто идут дожди. Вот и носят «лондонские фраера» прорезиненные кепки — чтобы не мокла голова, чтобы было теплей...

Понятное дело, в провинциальном городке никто видеть не видел ни подобных кепок, ни «лондонских фраеров», и конечно же, преувеличивал, то есть попросту травил всякую приблатненную, как казалось тогда, особо шикарную чушь по части всего недостижимо далекого, а следовательно, очень дорогого и значительного. Лондон для советской провинциальной шпаны был не только за далекими дождями и туманами, он казался чем-то сказочным и фантастическим. Не зря ведь вечерами пели, пощипывая струны: «В туманном Лондоне горят огни...» и прочую подобную, как сейчас понимаешь, чепуху. Тогда же это было чем-то несбыточно далеким, особенным, а значит, возвышенным и романтичным:

И в полумраке блестят они,
А в шумном баре танцуют пары,
Танцуют пары и пляшут до зари.

Что ж, призрачные огни заманчивы...

С тех пор на моей голове побывало множество кепок. Нет, не износил я эти кепки, где там! Я дарил их, менялся ими, терял, забывал... Матерчатые и кожаные, широченные и удлиненные, с длинным и коротким козырьком... Но... на моей голове никогда не было шляпы! Я их на дух не переносил!.. Как и галстуки. Нет, даже больше. Галстук — он, что ни говори, элегантен, ну, пусть не сам галстук, галстук всего лишь атрибут гардероба мужчины, который придает ему более серьезный, достойный вид. А, следовательно, украшает мужчину, добавляет ему элегантной строгости, солидности, значимости. Шляпа, как головной убор, наверное, также должна служить этой роли, но... Да что там! Шляпа, в отличие от галстука, идет далеко не каждому и уж точно — не всегда. Иной напялит ее и... похож на обрубок дерева с насаженным на него горшком.

Я не любил и не люблю шляпы. Любые.

Я всегда, всю свою жизнь «ходил в кепке». Я просто обожаю этот головной убор. Он всегда был в моем гардеробе. Еще и потому, что с ранних лет я был подвержен простуде, и даже летом, если выдаются холодные дни, я по привычке натягиваю на «макуху» кепку. А теперь в ходу еще и летние, светлые кепки, как спасение от жаркого солнца. Так что мне всегда, подчеркиваю, всегда в этом головном уборе как-то уютней, комфортней.

Вот и теперь в моем распоряжении имеется пять кепок. Три из них — из Лондона. Того самого, столицы Туманного Альбиона.

А дело было так. Моя хорошая знакомая, московская поэтесса Зинаида Мушинская, женщина весьма интересная во всех смыслах, вот уже сколько времени живет в пригороде британской столицы — ее внучки учатся в английской школе, она, разумеется, при них. В теперешней России это — с младых ногтей учить детей в Англии или, скажем, в США — стало делом чуть ли не обычным. Ну, а Зинаида Федоровна, сама не один десяток лет прожившая вдали от Москвы, в арабском (и не только!) мире, в совершенстве владеющая английским — лучшей гувернантки, а тем паче если она родная бабушка, сами понимаете, в Британии для присмотра за малолетними детьми и не надо.

И вот в очередной день рождения получаю от нее (по электронной почте) поздравление. А в день рождения, как известно, принято дарить подарки. Зинаида Федоровна, человек не только талантливый и образованный, сделала небольшую приписку: «...Валер, спасибо за письмо, за доверие. Ладно, ни про тебя, ни про людей из редакции (имеется в виду редакция известного литературного журнала, где отложили публикацию отзыва на мою последнюю книгу «Я из тех...» — *В. Г.*) ничего писать не буду. Но про автора статьи (Бажен Петухов. — *В. Г.*) не могу не сказать. Снимаю шляпу — статья написана гениально, и очень хочется, чтобы с ней познакомились люди, неравнодушные к слову, к судьбе поэтов и поэзии вообще. Ее должны напечатать! И я верю: напечатают. А я буду ждать саму книгу (я написал ей о выходе минувшим летом книги «Я из тех...» — *В. Г.*).

Хочется прислать тебе что-нибудь из Англии. Но я знаю, ты гордый и не захочешь ничего попросить. А я не знаю, что может тебя порадовать сейчас. Знаю, у тебя все есть, но может, я что-то смогу прислать для твоей женщины, а ты не скажешь, откуда. Не сердись. Прости, ну, такая я... Будь здоров!»

Чем уж хотела порадовать меня или мою жену моя давняя и хорошая московская подруга, которая, кстати, не однажды меня сильно выручала, не знаю. Я, как и многие провинциалы, человек не в меру закомплексованный, поблагодарил ее за поздравление, а про размер одежды, как вы догадались, просто умолчал. Не тут-то было! Зинаида Федоровна, благо электронная почта много времени для ответа не требует, настоятельно повторила свою просьбу.

Трудно удержаться от соблазна человеку, даже если ему под 60. А тут... вся жизнь в «эконом-классе»... А сколько всего хотелось... И хочется!..

Ну, скажите, товарищи мужики, кому не хочется выйти прогуляться по городу, особенно, если это город небольшой, где сверстники знают друг друга в английском пиджаке в клеточку?..

А мне, скажу честно, уже не хочется — перехотелось. От постоянной нехватки денег, от вечной (былой) маеты-суеты хождений по очередям и рынкам, от... Да что там кривить душой, от навалившейся усталости — от всего этого самого, от само́й не такой уж и маленькой жизни...

Вещи красивые и удобные — это хорошо, но куда лучше, а с годами это ценишь еще больше, добрые человеческие отношения, письма, слова. Такие, к примеру, как эти:

«Валер, спасибо тебе, что решился на просьбу и за советы — я их очень ценю. И знаю твою доброжелательность и искренность. Поэтому прислушиваюсь к ним.

К нам вчера приезжал настоящий принц из Виндзора — Эдвард. Открывал новое здание школьного театра. Ничего себе принц — простой и элегантный, как английский флаг. Его машина (без охранников) въехала в школу ровно в 14.45, секунда в секунду. Вот что значит королевская точность! Впечатляет. Высылаю несколько фото этого момента. Будь! Пиши».

Не помню, о чем было мое письмо, оно случайно стерлось из компа, а заодно и из моей памяти. Наверное, я написал ей про мечту детства и ранней юности — «кепку-лондонку». Точно не помню. А вот ответ З. М., думаю, привести стоит.

«Конечно. Я не права. Твоя застенчивость и суперделикатность только лишь со стороны выглядят порой гордостью, заносчивостью. На самом деле это действительно скромность. У меня сын такой. И мне приходится отстаивать его скромность, когда говорят о его необщительности и вообще нелюбви к искусственной вежливости, что порой выглядит как пренебрежение и невнимательность.

Господи, сколько живу, все учусь. И никак не научусь! Не сердись на меня.

Ты доставил мне удовольствие своим «заказом», теперь хоть знаю, что посмотреть. А плечи у тебя выросли? Какой размер пиджака ты носишь? Не бойся, ради бога, я не собираюсь покупать тебе пиджак, просто так спрашиваю.

Когда буду знать о своих планах, напишу тебе. Скорее всего, уже из Москвы. Будь здоров! Не грусти».

И спустя день, на мой, как я сейчас понимаю, резкий ответ: «Я не буду покупать пиджак, но размер-то какой? 52 или 54?»

И следом: «Валер, спасибо за память о Юрии Кузнецове, за прекрасные стихи, нет, не стихи — спасибо за встречу с настоящей поэзией, с человеком, чье призвание — Поэт.

(Я послал ей стихи Михаила Анищенко, посвященные Ю. Кузнецову. Эти стихи Михаил Анищенко, замечательный поэт из Самары, написал незадолго до своей смерти, их опубликовала «Литературная Россия». Мне же эти стихи прислал Петр Кошель, хорошо знавший и Юрия Кузнецова, и Михаила Анищенко. Не менее хорошо Петр Кошель знает и то, как я отношусь к стихам, творчеству и памяти Юрия Поликарповича Кузнецова. Потому, думаю, и переслал мне эту публикацию из «ЛитРоссии». А что из себя представляют стихи Михаила Анищенко, не трудно понять из письма Зинаиды Мушинской.)

Я плакала... Давно со мной этого не случалось... сытая жизнь притупляет ощущения... Но, видимо, что-то еще живо в душе моей... Еще раз спасибо тебе. Будь здоров!»

А еще через некоторое время я передал (через проводника поезда «Брест—Москва») Зинаиде Мушинской свою книгу и спустя сутки получил увесистый пакет из Москвы. В нем были кроме прочего аж три (!) «кепки-лондонки» и открытка, судя по рисунку и тексту, тоже английская. Приводить написанное на открытке не очень хочется, и все же, все же...

«Уважаемый Валерий Федорович, благодарю Вас за сердечную и профессиональную помощь в подготовке к печати моих книг (было такое вечность, не меньше, тому. — *В. Г.*). Сейчас я нахожусь в Англии, где буду принимать участие в Книжном салоне в Лондоне, представляя свои последние книги.

Позвольте мне послать Вам в знак признательности (и Вашей спутнице) маленькие сувениры к Пасхе. Еще раз спасибо. Да хранит вас Бог! С уважением, Зинаида Мушинская. Москва—Лондон—Пинск. 04.04.2013».

Поначалу я насторожился, откуда (почему) такая «вежливость»? Правда, быстро догадался: это не влияние «чопорной Англии» — это деликатность и воспитанность Зинаиды Мушинской: я-то теперь не один...

Это эссе я послал Зинаиде Мушинской: мало ли что, а вдруг в чем-то, что называется, переборщил, а то и напутал, передернул мысли, разумеется, ее, не свои?..

В тот же день получил ответ, который она самым решительным образом потребовала вставить в ткань уже сложившегося текста. К слову, поначалу я и сам чем-то похожим хотел закончить это эссе, но мне так нравится некоторая недосказанность, особенно в стихах, что я решил было и тут закончить многоточием. Тем не менее, немного подумав, поразмыслив, вставил в самую концовку ответ-пожелание Зинаиды Мушинской, правда, маленько все же отредактировав, убрав из него «высокий штиль».

«Вот так порой сбываются мечты, о которых ты давным-давно забыл, а Небеса помнят... И сколько же лет надо было Там, наверху, «планировать» ситуации на земле нужным образом, раздавать людям роли и перемещать их по планете так, чтобы однажды сбылась мечта юноши из Пинска, сегодняшнего поэта и юбиляра... Будь здоров, Валерий! З. М.».

P. S. Рецензию Бажена Петухова «Честный поэт» на мою книгу «Я из тех...» опубликовал журнал «Наш современник» (№ 7—2013).

Меня учили... или Поэты молодости моей

Вот и я совсем, как мне кажется, нежданно-негаданно подхожу к своему довольно значимому юбилею — 60-летию. Что я сделал, что вынес из прожитых лет?..

Ничего (или почти ничего) не сделал, ничего не вынес, ничего не скопил. Разве что букет болезней, кучу неприятностей, гору обид, нареканий, упреков — на меня, разумеется.

Впрочем, жил я шумно, можно даже сказать, громко, шел широко и вольно. Правда, до поры до времени. Причем эта самая пора-время грянула, прямо скажем, рано и подобно грому среди ясного неба. С тех пор, а это уже довольно приличный срок, иду не спеша, а точнее, медленно, поскольку спешить-то некуда, но самое главное — нет сил идти, как того хотелось бы.

И все же, все же, все же... Я жил — любил и ненавидел. Меня любили и ненавидели. Надо сказать, что я любил гораздо больше — всего и всех (!), нежели ненавидел. И любил я больше, нежели любили меня. Тем, наверное, и был счастлив. Если вообще был таковым — счастливым. Сейчас, доживая шестой десяток, скорее всего, имею (наконец-то!) и я, как мне думается бессонными ночами, право сказаться счастливым. У меня есть дочь. Замечательная! Любимая! Дорогая! Самая-самая... Дай бог ей счастья!

Есть у меня и сын. Он также дорог мне, как и дочь. Но...

А еще есть у меня... Не знаю, как и сказать правильно, а вернее — точно, чтобы было понятно без всяких объяснений. Так что же еще есть у меня дорогое? Поэзия. Литература вообще. Или правильнее будет сказать — творчество? Нет, творчество — это, как ни говори, мучение, наказание. А поэзия?.. Своя — точно

не в радость. А поэзия вообще, возможно, правильнее было бы сказать, любимые стихи — радость, превеликая радость, пожалуй, единственная, что сопровождала меня по жизни (далеко не всегда радостной) все эти без малого 60 лет.

Об этом и поговорим. А заодно и о себе (обо мне), о моем творчестве, о...

Сразу же отмечу: не то что большой радости, а тем паче счастья или там еще чего-то, вроде денег и славы, мне мое творчество никогда не приносило. Про удовлетворение и говорить не буду. Впрочем, я отошел от заданной темы.

Итак, родился я и вырос... Нет, опять же не о том я. С чего же начать? Ну, с чего, если не со стихов, самых первых своих стихов, с того, в первую очередь, что сопутствовало этому, а потом шло, не отставая ни на шаг, через всю жизнь. Самые первые стихи были лет в девять-десять — совсем беспомощные. В тринадцать начало получаться что-то более-менее сносное, с рифмами и ритмом, не всегда точными, но, по-моему, с первых же строк честными, пусть себе и наивно-простыми. Правда, это также весьма слабенькие стишки. В четырнадцать впервые напечатался в газете «Полесская правда» (Пинск). Спустя три года, небольшая подборка (три стихотворения) вышла в «толстом» литературном журнале («Нёман» № 10, 1971). Еще спустя десять лет, в издательстве «Мастацкая літаратура» увидел свет первый поэтический сборник «Время отправления». С этим (выходом книжки) столько всего-всякого было в моей жизни, что будь на дворе иное время, написал бы роман-эссе. А вот с выходом второй книги пришлось мне помаяться изрядно. Причем не только во временном смысле — ждал я ее, опять же, ровно десять лет (!) — сколько психологическом. Доходило не то что до затяжных стрессов — до крайности, когда уж, казалось, вот и земля расступается...

К счастью, Господь милостив!

Первую книжку помогли мне издать, как я теперь понимаю, несколько человек. С одним из них — Иваном Колесником, поэтом, редактором издательства «Мастацкая літаратура» связывала меня совершенно нечаянно, особенно для меня, молодого стихотворца, возникшая дружба. Познакомились мы в Пинске, куда Иван Колесник приехал на праздник искусств «Зоры над Пінай». В то лето — 1976 года — на «Пинские зори» приехало немало деятелей искусств, в том числе поэтов и писателей из Минска. Правда, я хорошо раззнакомился, кроме Ивана Колесника, только с Владимиром Павловым. Мы много выступали, немало и вина выпили. И как-то сами собой сложились у меня с ними весьма добрые отношения, особенно с Иваном Колесником. До этого хорошо знал я только Михася Рудковского. Если иметь в виду поэтов, как иногда выражались, профессионалов. С Михасем Рудковским мы переписывались, я звонил ему на работу: домашний телефон по тем временам был далеко не в каждом доме. А жил я в частном секторе, там про домашний телефон никто даже и не мечтал, по крайней мере, из людей, близких мне. Ну а про мобильную связь тогда еще не слыхали.

Закончился праздник «Зоры над Пінай», столичные гости разъехались, а я еще несколько дней отходил от встреч и выступлений. К тому же довелось мне писать отчет об этих встречах-выступлениях: в то время я работал корреспондентом газеты «Полесская правда». Газету с заметками послал в Минск Ивану Колеснику. Каково же было мое удивление, когда, спустя дня три-четыре, получил от него письмо. Довольно большое, доброе. Так и началась у меня дружба с Иваном Колесником. А еще через год я поступил на журфак БГУ, причем Иван Колесник (прямо при мне) попросил Олега Лойко не шибко мучить меня на вступительных экзаменах...

Увы, учебу я забросил, можно сказать, не начиная. Правда, на установочной сессии я побывал, пожил даже в общежитии университета. Эти три недели в Минске прошли как один миг. Но этот миг вместил в себя столько, что остался в моей памяти на всю жизнь. Я ближе узнал многих белорусских поэтов, писателей. Нет, узнать многих мне посчастливилось полгода назад в Доме творчества «Королищевичи», куда я был приглашен Союзом писателей Беларуси на семинар молодых литераторов. Но это было совсем другое знакомство. Летом 1977 года

мы подолгу гуляли с Иваном Колесником по Минску, ездили на Минское море, ходили на стадион «Динамо», притом не только на футбольные матчи. Недалеко от стадиона в ту благодатную пору был прекрасный сквер, где приятно было почитать газету или журнал, пообщаться.

Все это сильно повлияло на меня. А про какие-либо карьеры я никогда и мечтать не мечтал. Короче говоря, сколько ни убеждал меня замечательный поэт и еще лучший редактор Бронислав Петрович Спринчан писать о рабочем классе («ты же заводской парень!»), из-под моего пера выходили самые что ни на есть реалистические строки:

Меня учили: меньше думай,
Побольше ешь и в меру пей.
Ну, что с того, что шибко умный,
Ты будь проворней и хитрей.

Потом корили: слишком волен
И романтичен, как дурак.
А я живу, что ветер в поле,
И, в общем, счастлив. Вам бы так!

Сказать, что я был таким уж не от мира сего, кто с утра и до ночи выстреливал вольными рифмами, значит бессовестно соврать. Я не раз и не два, помня наставления весьма уважаемого (особенно в ту пору) мной поэта и редактора Бронислава Спринчана, засаживал себя за чистый лист бумаги в попытках написать что-то свое о рабочем классе. И писалось! Правда, это все были совсем не те стихи, что хотел получить от меня заведующий отделом поэзии журнала «Нёман» Б. П. Спринчан. А он, надо сказать, поначалу верил в меня как, теперь я понимаю, в продолжателя весьма успешно развиваемой им производственной темы. У него, надо отдать должное, и на эту тему выходили не только крепкие, но и довольно читабельные стихи. Этакая, как тогда писали критики, «лирика в рабочей спецовке». У меня же, сколько я себя ни мучил, дело не шло. Нет, я написал добрый десяток, если не больше, как мне казалось, рабочих стихов: «Я на завод пришел совсем мальчишкой...», «Рабочий автобус», «Я хорошо помню свой первый рабочий день...», «Ода душевой литейки»... Но все это было совершенно не то, в этих стихах не было не то что рабочего героизма, не было в них — и на понюх (!) — никакой романтики «рабочих будней». Это были самые обычные реалистические, а то и попросту приземленные стихи. В этих стихах, разумеется, был рабочий человек, но совсем не тот, которого требовал от меня Бронислав Спринчан и которого требовал от литератора социалистический реализм. Так вскоре выпал я из обоймы молодых поэтов, которых жаловал самый читаемый журнал республики — «Нёман». Выпал, не успев даже как следует войти в эту самую обойму. И все же, что ни говори, «Нёману» и, разумеется, Брониславу Спринчану я благодарен: журнал печатал мои, пусть и небольшие, подборки в 1971, 1973, 1976 и 1977 годах — это, как с годами я понял, было немалым достижением, особенно для «рабочего парня» из провинции. Многим моим ровесникам по поэтическому цеху, пишущим по-русски в Беларуси, о подобном разве что мечталось...

Из того времени запомнилось и такое: сижу в редакции издательства, в те годы издательство «МЛ» ютилось в небольшой двухэтажке по соседству с гостиницей «Минск», подходит Владимир Павлов и показывает мне «Предварительный план издательства «Мастацкая літаратура». Тогда в стране (Советском Союзе) была плановая экономика, по плану работали и издательства. И составлялись планы издательств на три года вперед. Так вот, подходит ко мне Владимир Павлов, а он заведовал редакцией поэзии, раскрывает план и показывает страницу, где стоит и мой сборник, предварительно запланированный на 1979 год. Я, понятное дело, обрадовался: приятно увидеть свою фамилию, набранную типографским шриф-

том, да еще в такой книжице, как план издательства! Правда, тут же и огорчился: где еще он, год 1979-й?! На дворе только лето 77-го — это сколько еще ждать?..

Эх, знать бы тогда, что время — вода, и течет оно быстрее самой быстрой реки...

Установочная сессия стала для меня первой и последней: до следующего поступления на журфак, уже в 1990 году. Но в Минск я приезжал пусть и не часто, но регулярно. Наезжать в Минск стало для меня необходимостью, небольшой Пинск с его провинциальным бытом будет все больше угнетать, а вскоре и вовсе станет немилым, а его быт несносным. В начале февраля 1978-го пришлось мне оставить редакцию «Полесской правды», а вместе с редакцией и университет. Через год с небольшим, в начале лета, умер Иван Колесник. За это время я успел сменить два или три места работы. И вовсе не из романтических побуждений. Смерть Ивана Колесника меня буквально потрясла, все произошло настолько неожиданно, что в это совершенно не верилось. Я-то был еще молод, можно даже сказать, зелен и к подобным утратам совсем не привычен. И таких друзей, поэтов признанных, рядом со мной в то время просто не было. Разве что Михась Рудковский в Бресте да время от времени наезжавший в Пинск Микола Купреев. О смерти Ивана Колесника я узнал из газеты «Звязда», которую совершенно случайно взял в руки: пришел в больницу, увидел на столе газету, захотел почитать от скуки. А там... соболезнование сотруднику редакции, журналисту Александру Колеснику по случаю смерти брата поэта Ивана Колесника. У меня в глазах потемнело! Дня три-четыре как мы виделись, я приезжал в издательство, полдня мы провели вместе, я даже проводил его до дома, а потом пошел на вокзал. Иван Колесник жил неподалеку от железнодорожного вокзала, мы не раз ходили-бродили по улицам и скверам вблизи железной дороги, вокзала. И вот...

А как много узнал я от него, тихого и незаметного белорусского поэта и редактора Ивана Ивановича Колесника!.. Как много вынес из наших бесед-разговоров... Это он рассказал мне под предлогом великой тайны о том, как в Доме литератора известная поэтесса публично сжигала книжку стихов тогда никому почти не ведомой Ларисы Гениюш. И никто, особо упирал на это Иван Колесник, никто из присутствовавших при этом коллег из Союза писателей не одернул не в меру расходившуюся известную поэтессу, не сделал даже намека на замечание. А народу при этом в Доме литератора было предостаточно. И потом свидетели того принародного сожжения книги стихов тогда неугодной многим поэтессы из Зельвы об этом прискорбном случае тихо помалкивали. Не вспоминали и потом, и даже тогда, когда при новой (демократической, так сказать) власти поднимали имя Ларисы Гениюш на щит...

Впервые так много и подробно о ВЛК (Высших литературных курсах при Литературном институте имени Горького в Москве) я также узнал от Ивана Колесника, который закончил их в середине 60-х. Благодаря его рассказам, скорее всего, и возникло у меня желание попасть на ВЛК, пожить в Москве среди поэтов и писателей, поучиться уму-разуму у московских светил литературы, филологии, философии, истории... Кстати, учась на ВЛК, я спрашивал у Нины Аверьяновны Малюковой, заведующей учебной частью Высших литературных курсов, известной многим писателям бывшего Союза, про белорусов, что учились здесь. Так вот, Нина Аверьяновна хорошо помнила и Ивана Колесника. Впрочем, из ее уст никогда ни про кого я не слышал недоброго слова: Нина Аверьяновна любила ВЛКашиков, всех без исключения (!), как родных детей. Может, потому что очень любила литературу, а может, еще и потому, что своих детей у нее не было. Как бы там ни было, вечная память ей и сыновняя любовь!..

А еще Иван Колесник любил настоящую поэзию, как он сам выражался, не ремесленников от литературы. Любил читать свои стихи, любил цитировать хороших поэтов, не прочь был послушать твои стихи и дать им оценку поэта и редактора. Умел дать и совет по праву старшего. Увы, в отличие от советов,

касающихся поэзии, иных его советов, как я потом не раз вспоминал, житейски-мудрых, я не принял. А жаль...

Не принял, возможно, потому что был шибко уверен в себе, в своей правоте: идти по жизни прямо. Дорого, очень дорого мне стоило это. Длиннее самых кривых дорог была моя прямота. Как к себе, так и к другим, и в ту же литературу (к признанию, пусть себе и небольшому). Иван Колесник учил меня не только поэтическому мастерству. Для меня же тогда это — поэтическое мастерство — было главным. И я всегда жадно слушал его, вникал во все. Он умел видеть настоящее в самых небольших крупицах, что проскальзывали тогда и в моих стихах:

И однажды на рассвете
Где-нибудь в лесной глуши
Ты увидишь в бьющем свете
Профиль собственной души...

Или это стихотворение, что само собой родилось буквально за каких-то пятьдесят минут, когда весной 1977-го проходил мимо детской больницы по улице Завальной в Пинске:

Аккуратно выкрашенный дворик,
Тишина больничная окрест.
И вдали увидев будку «скорой»,
Крестится старик на красный крест.

Мы с утра сидим вдвоем в беседке,
Пьем безвкусный теплый лимонад.
Мне-то что, я молод, а соседу,
Может быть, не выбраться назад...

А хотя отсюда все уходят,
И стоим мы, точно в бурю лес.
И никто не ведает сегодня,
Осенит какой нас завтра крест?..

Стихи, как правило, я писал экспромтом. Помню и такое: Иван Колесник говорил мне, что настоящие стихи только и пишутся экспромтом. Это меня воодушевляло, подвигало и вдохновляло. Одно я никак не мог понять: *такие* стихи, да еще никому не известного молодого поэта из провинции, никто нигде (по тем временам) печатать не будет. «Страна Советов уверенной поступью шла к полной победе коммунизма», а тут какое-то «увидение» профиля собственной души, какие-то крестные знамения-осенения, да и вообще полное, как не раз мне говорили, упадничество. Я же писал особо не заморачиваясь на том, что такое социалистический реализм и чем он отличается от собственно реализма. Писал, как говорится, то, что Бог на душу положит. Писал, посылал стихи в редакции, а газеты-то были сплошь партийные, советские и комсомольские. Впрочем, и журналы тоже. Правда, нередко меня хвалили, обещали печатать. Печатали. Но... очень нечасто, совсем не то и совсем не там. Я любил... Любил не только поэзию. Не меньше поэзии я любил и родину, и страну Советов (другой я просто не знал, да и представить не представлял!), и родной народ. Да-да, советский. Независимо от того, как складывалась моя жизнь и судьба, в том числе и литературная. Жил открыто, да что там открыто — нараспашку! Этим многие пользовались, в том числе и недоброжелатели. О них мне не раз говорили, называя определенных людей, но я не верил в это, жил широко, разве что в вечной нужде. Но без фиги в кармане. Я и знать о таковой в те годы не знал. При том, что меня после увольнения из «Полесской правды» не шибко-то жаловали и в других редакциях. Даже когда вышла (наконец-то!) первая книжка «Время отправления». Редактировал ее уже не Иван Колесник, да и редактированием назвать то, что вышло под обложкой с моим

именем, трудно. Редактор книги включил в нее все более-менее подходящее под соцреализм. Сборник выходил с опозданием на год от заявленного в издательском плане и с очень большим скрипом. Причем к творчеству никакого отношения это не имело. Книжку стихов, да еще первую, принято было открывать стихотворением о Ленине или партии. У меня таковых не нашлось, хотя в распоряжении редактора были рукописи двух моих сборников. Вот он и собрал из двух один. Открыл его стихотворением «Рабочий автобус», а закрыл стихотворением о родине:

Там рожь помяло градом,
В деревья бьет гроза.
Ну что тебе там надо, —
Таращит друг глаза...

Впрочем, примерно по такому же «сценарию» (редактуре) у меня, спустя десять лет, выходила и вторая книга «Круг аистиный». Разве могли тогда в Минске (да в одном ли в Минске?), притом не только чиновники от литературы, но и редакторы оставить в книге, скажем, такое, по-моему, совершенно безобидное стихотворение:

Оплакиваю, Елена,
Нашу с тобой любовь.
В листве и росе по колено,
С больной и хмельной головой
Бреду и шепчу елейно:
— Прощай, лебединый клин!..
Оплакиваю, Елена,
Нашу любовь. Аминь!

Кстати, редактор моей книги «Круг аистиный», которая выходила из печати уже не то что в свободном, но в самом что ни на есть вольготном 1991 году, в стихотворении «41-й год» умудрился сделать такие «правки». У меня было:

Упадет в бою неравном,
Оглянувшись на восток,
Нецелованный, кудрявый,
Русый русский паренек...

А редактор, тогда уже известный белорусский поэт, вместо «русый русский паренек», сделал, видимо, под себя разлюбезного, «кареглазый паренек». Разумеется, сделал это без моего согласия и даже ведома. Спрашивается, зачем?!

И все же, все же, все же вспоминаешь это, как теперь ни странно, светло, без обид и боли душевной. А сколько всего пережил, вынес, и самое удивительное (для меня!), как остался жив, дожил до таких лет?!

А книги...

Сегодня вспоминаешь не книги, не публикации. Вспоминаешь все больше тех, кто чуть ли не за руку вел (хотел было написать: в литературу) по жизни, уводил от беды. Да разве уйдешь от нее, тем более, если жил думой, что ты — поэт?..

Спасибо вам, дорогие и всегда памятные, поэты молодости моей: Михась Рудковский, Иван Колесник, Микола Купреев, Хведар Черня, Евген Крупенька, Микола Федюкович... Кому-то я успел сказать доброе слово при жизни, другим говорю с вершины сегодняшнего дня: рука моя помнит тепло ваших рук. Это тепло я передам, пожимая руки молодым, кто и нынче, во времена глухие для поэзии и литературы, живет мыслью написать свое, самое-самое! И они понесут дальше по жизни тепло и ваших рук, ваших сердец, чтобы однажды, вроде бы случайно, где-нибудь наткнуться и на ваши строки, которые будут жить, пока жива сама Поэзия.

Юбилей

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Дорогой правды, добра и человечности

Константин Ушинский, великий русский педагог, как-то заметил: «Если в человеке не разовьется интерес к добру, то он неудачно пройдет по хорошей дороге». Еще более это высказывание справедливо в отношении «инженеров человеческих душ». За примерами далеко ходить не нужно. Подтверждение тому — вся классическая литература. Как русская, так, в не меньшей степени, и белорусская. Начиная, безусловно, нашими классиками Янкой Купалой и Якубом Коласом. Творя добро, они и шли его дорогой. А еще дорогой правды и человечности. Настоящую литературу и называют человековедением. Все это можно отнести и к творчеству недавно еще довольно известного, но в последнее время как-то подзабытого белорусского прозаика. Хотя чему тут удивляться? Он-то был традиционалистом, а традиционалисты сегодня не в особом почете. Сегодня... Но не буду дискуссировать с возможными оппонентами, а лучше переверну наиболее значимые страницы его творчества.

Кулаковский... из кулаков

Когда Алексей Кулаковский ознакомился с поэмой Якуба Коласа «Новая зямля», пожалуй, больше всего его впечатлила глава «Дарэктар». Конечно, и в других, в первую очередь, посвященных детству, он нашел немало близкого. Но «Дарэктар», казалось, словно с него самого списан. Ему, тогдашнему мальчишке, тоже подбирали домашнего учителя. Это позже он учился в начальной школе деревни Кулаки на Старобинщине (ныне Солигорский район), где родился 24 декабря 1913 года, а, как вспоминал позже, сначала — хотя и «змалку, але... дома». Этим занималась мать. Она «трохі ведала літары», но «пісаць не ўмела зусім». Овладевал азами грамоты и по книгам, которые отец «іншы раз прывозіў з мястэчка». Однако вскоре родители поняли, что их усилий недостаточно. Тогда-то и произошла сцена, подобная той, что так мастерски описал Якуб Колас:

— Ну, — кажа раз Міхал: — як будзе?
Ўжо вучаць дзецi ў школцы людзі;
Пара б і нашым за навуку...
Аддаць у школку іх — не ў руку:
Давай харчы, наймі кватэру... —
І бацька тут, як на паперу,
Стаў вылічаць расходы, страту
І кончыў тым: лепш к сабе ў хату —
Не трэба й кланяцца Яхіму —
Наняць дарэктара на зіму,
Ну хоць бы Яська Базылёва.
— Дамо рублёў тры і — гатова!

Однако если детей в поэме учил только Яська Базылев, то у А. Кулаковского этих «дарэктараў» было несколько. Не от хорошей жизни родители А. Кулаковского подыскивали тех, кто соглашался учительствовать на дому за меньшую плату. Поэтому «дарэктары» и менялись. Хотя, казалось бы, семья Кулаковских в родных Кулаках была не самой бедной. Кстати, позже, когда происходила коллективизация, такое «соседство» — Кулаковский — Кулаки — Алексею Николаевичу дорого обходилось. Как он признавался, «некаторыя заўзятыя «актывісты» аж з твару мяняліся, пачуўшы, што я з вёскі Кулакі і сам Кулакоўскі. Меркавалі яны, што такі чалавек абавязкова павінен быць з багатых, з кулакоў».

Между прочим, если придерживаться истины, то хозяйство Кулаковских официально считалось середнятским. До советской власти семья имела три десятины земли, а в 1924 году ей «прирезали» еще три гектара. Но это официально, а реальность была совсем иной: «Памятаю, што ў нас ні ў адзін год не хапала хлеба да вясны. І тады бацька ішоў з мяшком да якога-небудзь багатага суседа і прасіў пазычыць пуд мукі».

В том же 1924 году Алексей все же пошел в начальную школу, мечтая после окончания ее поступить в Старобинскую семилетку. Да не тут-то было. От Кулаков до Старобина — девять километров, туда и назад — все восемнадцать. Не находишься, а денег, чтобы в райцентре снять квартиру, у родителей не было. Да и если жить в Старобине, дороговато обойдется и питание. Поэтому пришлось помогать родителям по хозяйству и заниматься самообразованием.

Правда, в 1929 году А. Кулаковский все же поступил в Рокочевскую профтехшколу бондарей. Однако по профессии работал недолго, ибо не дела столярные привлекали его, а журналистика, в которой начал делать первые шаги. Когда заведовал деревообрабатывающей артелью в Костюковичах, печатался в многотиражке кустпромхоза, а также в климовичской районой газете «Камуна», в штат которой его и пригласили через несколько месяцев.

Потом были жлобинская газета «Шлях сацыялізма», республиканская «Чырвоная змена», учеба в Минском учительском институте. После окончания его учительствовал на Могилевщине, пока в 1939 году не призвали в армию. Не догадывался, конечно, что шинель снимет только в сорок пятом. Во время Великой Отечественной войны командовал взводом, ротой, участвовал в боях на Сталинградском и 1-м Украинском фронтах, был трижды ранен. В общем, биография во многом похожа на биографию его ровесников, с оружием в руках защищавших Родину, не жалея жизни.

В мирное время А. Кулаковский возглавлял отделы в газете «Сталинская молодежь» (нынешняя «Знамя юности»), журнале «Беларусь», был ответственным секретарем газеты «Літаратура і мастацтва», главным редактором журнала «Маладосць», работал в аппарате Союза писателей Беларуси, возглавлял коллектив Литературного музея Янки Купалы. В 1972 году в составе делегации БССР принимал участие в работе XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Все это время писал. Регулярно печатался в газетах и литературно-художественных журналах, издавал свои книги. Среди них и Собрание сочинений в четырех томах, вышедшее в 1970—1971 годах, двухтомник избранных произведений (1984), том в «Бібліятэцы беларускай прозы» (1980). Лучшие произведения А. Кулаковского уверенно «шагали» за пределы республики. Они переводились не только на русский язык, но и на другие языки народов Советского Союза, а также на английский, испанский. В области перевода выступал и сам Алексей Николаевич, он перевел на белорусский язык романы Ш. Рашидова «Мацней за буру» (вместе с Павлом Ковалевым) (1963) и Р. Файзи «Яго вялікасць Чалавек» (1978). Благодаря А. Кулаковскому появилась и книга воспоминаний организатора и руководителя партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны Василия Козлова «Людзі асобага складу», вышедшая в литературной записи Алексея Николаевича. Она, кстати, переведена на арабский и китайский языки.

«Сад», взращенный памятью

Многие, в том числе и известные впоследствии прозаики, свою творческую биографию начинали со стихотворений. А. Кулаковский — исключение. Поскольку в юности начал с корреспонденций, зарисовок, написанных в духе своего времени: «Буксірная брыгада Клічаўшчыны на Чырванаполлі» (тема ответственная, поэтому, не полагаясь только на себя, в помощники взял некого А. Карасева), «Трохдзённыя манеўры камсамольскай арганізацыі і прызыўнікоў Клічаўшчыны»... Но само время требовало и критики. Пожалуйста: «Там, дзе адсутнічае бальшавіцкае кіраўнітцва», «Выкарчаваць антысемітызм і шавінізм з школ Клімавіцкага раёна»...



Алексей Кулаковский

Правда, нельзя сказать, что как журналист А. Кулаковский был слишком активен. Во всяком случае, в библиографическом словаре «Беларускія пісьменнікі» зафиксировано только несколько его публикаций за 1932—1935 годы. Хотя в 1935 году он довольно активно выступал в газете «Чырвоная змена» в жанре очерка: «Дзявочыя скаргі», «Аб дысцыпліне», «Вуліца». Но уже даже по названиям этих произведений видно, что отнести их к очерку можно чисто условно. Точнее: жанр определен, однако самого жанра как такового, по сути, нет. С таким же успехом эти публикации можно назвать, к примеру, зарисовками. Да и первая проба в жанре прозы — рассказ «Билет», помещенный в той же «Чырвонай змене» 6 декабря, до рассказа явно не дотягивал. Молодой на то время автор не имел достаточного ни творческого, ни жизненного опыта. И первого и второго ему явно не хватало.

Видимо, и сам А. Кулаковский понимал тогда, что перо еще не всегда его слушается, а понимая это, на горло «собственной песне» наступать не хотел. Согласитесь, что на такое способен далеко не каждый молодой автор. Обычно начинающие писатели заваливают редакции своими, с позволения сказать, произведениями. Чтобы не делать этого, также необходима немалая сила воли. Она у А. Кулаковского, безусловно, была, поэтому он и замолчал на целые десять лет. Конечно, такие-сякие наброски делал, но в печати его имя снова появилось только в 1945 году. Были напечатаны и журналистские материалы, но были и рассказы «Сын», «Стары млын», «Мікіта Мінавіч», появившиеся в журнале «Беларусь»: соответственно в номерах 9, 10, в объединенном номере 11—12.

1945 год — это, как известно, год Великой Победы, разгрома немецко-фашистских захватчиков, но это и, скажем так, год начала отсчета великой памяти, которая на то время еще была, по сути, самой реальностью. Прошлым, пусть себе и недавним, она еще не успела стать. Кому, как ни вчерашним фронтовикам, да и тем, кто пережил фашистскую оккупацию, было вспоминать это. Тем паче А. Кулаковскому и карты были в руки. Воевал мужественно и самоотверженно, знал войну с переднего края, видел ее на передовой. И вторую сторону войны, связанную с оккупацией, также хорошо знал: по рассказам близких, земляков, да и со страниц периодики не сходила тема недавней войны. Не только о всенародном подвиге рассказывалось, но и о трагедии народной, о зверствах гитлеровцев, которые не жалели ни малых, ни старых.

В названых рассказах, как и в других, вошедших вместе с ними в первую книгу прозы А. Кулаковского «Сад» (1947), присутствуют и образы детей. Так,

в рассказе «Стары млын» герой — подросток, юный партизанский разведчик, преждевременная смерть которого оставляет горький след в душе читателя. Мотив этот обрел обобщенный символ в рассказе «Мікіта Мінавіч» через образ молодой жещины, которая, будучи беременной, так сильно испугалась пожара, что не пережила этого. Тем самым оборвалась жизнь не только ее, но и ребенка, который так и не появился на свет. Войне, ее ненасытности, требуются все новые и новые жертвы. Мысль эта, конечно, не нова, однако А. Кулаковскому для своего времени удалось правдиво и тонко развить ее. Произошло этого благодаря тому, что в рассказе сработал образ пожара.

Несомненно, в основу этого произведения был положен реальный факт. Правда, об этом А. Кулаковский нигде не говорит. Зато в других случаях он не отрицает присутствия в том или ином своем произведении документальной основы. В частности, это касается одного из лучших его рассказов из книги «Сад». В беседе с критиком и литературоведом Алексеем Гардицким Алексей Николаевич признавался: «Мне ўспомніўся мой аднакласнік — нямы хлопец, якога ўсе баяліся. Пабойваўся яго і я: здавалася, што ён і ўдарыць чалавека можа. І вось аднойчы гэты хлопец знайшоў птушанятка, што вывалілася з гняздзечка. Я бачыў, як ён любоўна ўзяў гэтае птушанятка ў рукі. З гэтай дэталі і вырас пасля сюжэт апавядання «Нямко».

Уже сама по себе эта деталь интересна, а в произведении она обретает особое значение. Писатель рассказывает о том, как этот немой, который в рассказе выступает под именем Павла Капулы, ищет гнездо, из которого вывалился птенец, чтобы спасти его. И он же, одним ударом своего мощного кулака, убивает немца. Это также стало его пониманием добра.

«Нямко» — это военная действительность, а рассказ «Сад» — послевоенная, как известно, также полная драматичности. Известно, правда, и иное: далеко не все писатели показывали эту драматичность. Некоторые ее просто старались не замечать, другие, по мере возможности, завуалировали. Однако такой подход был не для А. Кулаковского. Для него, если правда — так совсем не избирательная. Поэтому с таким сочувствием и рассказал он о колхознице Хвядосихе, матери «трох загінуўшых на вайне сыноў», которая, не имея «чаго даць карове», насобирала около фермы трухи. Хотела занести ее домой, да не тут-то было. Сторож оказался бдительным и привел старую женщину в колхозную канцелярию. В роли «судьи» выступает счетовод Игнат Севрук. Как будто бы внешне тихий, спокойный, но... Образ этого, если разобраться, нелюдя, стал творческой удачей А. Кулаковского, как и книга «Сад» в целом.

Закалка... талантом

И после выхода своей первой книги Алексей Николаевич продолжал работать в жанре рассказа, о чем засвидетельствовали его сборники «Новыя сустрэчы» (1950), «Хораша ўзыходзіць сонца» (1952), а также «На возеры» (1950), адресованный детям. Есть рассказы и в книге «Гартаванне» (1949), хотя название ей дала одноименная повесть, в которой рассказывается о строительстве Минского тракторного завода. По словам Василя Журавлева, эта повесть «пэўным чынам... пашырала тэматычныя абсягі беларускай прозы, закранаючы індустрыяльную тэму гарадскога жыцця. На некаторых старонках сустракаюцца тут цікавыя, жывыя, нават таленавітыя нагляданні. Гэта тычыцца пераважна тых сюжэтных ліній, якія звязаны з паказам галоўнага героя аповесці Васіля Патрончыка ў абставінах вясковай рэчаіснасці». Но, по убеждению того же В. Журавлева, «...цэнтральны лейтматыў аўтарскай задумы на колькі-небудзь паглыбленае псіхалагічнае раскрыццё чалавека не выйшаў». Хотя, если уж быть правдивым до конца, в этом вина не одного А. Кулаковского. Конечно, это не в оправдание его говорится, однако такие издержки легко найти и у других писателей,

которые осваивали в своих произведениях рабочую тему, чего от них требовали партийные органы. Да и критика также. Она ведь не всегда, мягко говоря, справедлива.

Однако вернемся к творчеству А. Кулаковского. Он, к его чести, писал не только о том, чего от него требовали, а и о том, о чем хотел писать. Подтверждение тому — рассказ «Не выбралі». Герой этого произведения — председатель колхоза Николай Черноус осмелился не просто покритиковать секретаря партийной организации Маханько, но еще и прилюдно заявил, что тот глубоко ошибается. Да не в чем-то мелком, а в том, что призывает в найкратчайшие сроки превратить обычную деревню в сказочный кирпичный агрогородок. Такая критика Черноусу обошлась дорого, что видно уже из названия рассказа.

Безусловно, если вникнуть глубже в этот конфликт, то станет понятным, что парторг колхоза не сам пришел к подобной утопической для послевоенной деревни идее. Ее, эту идею, ему спустили «сверху», а он только озвучил то, что требовалось. Однако это нисколько не умаляет смелости Черноуса. Как и смелости самого А. Кулаковского, замахнувшегося на святое святых в то время, да и позже — партийные органы.

По-своему оригинальными получились и другие рассказы. Прежде всего такие, как «Вольчына праўда», «Ластаўкі», «Дома», «Процькаў садок», «У брыгадзе Варывончыка»... Это касается как сюжетного построения их, так и умения автора живописать словом, что, в частности, особенно заметно в создании развернутых пейзажей, в которых сама белорусская природа как бы дышит, раскрывается всеми своими красками, а человек предстает частью ее, сливаясь с ней воедино, становясь от этого единения нравственно и духовно чище.

Однако А. Кулаковского, как бывшего фронтовика, по-прежнему не могла не тревожить память о Великой Отечественной войне. Не только как воспоминание о пережитом, но и как желание внести свою лепту в отображение всенародного подвига в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Поэтому он взялся за написание романа «Расстаемся ненадоўга», продолжением которого стал роман «Сустрэчы на ростанях».

С высоты пройденных литературой лет, конечно, видно, что в этой дилогии местами присутствует чрезмерная героизация человека на войне. Все бы ничего, если бы это в каждом конкретном случае подкреплялось глубоким психологическим анализом. К сожалению, иногда он уступает место обычной декларационности. Хотя в целом писателю удалось правдиво показать «врастание» человека в войну, а потом превращение тех, кто ненавидит врага, в борцов с фашизмом. Особенно удались А. Кулаковскому образы главных героев — Андрея Сокольского и Веры. Да и «пространство» романов широкое: жизнь одной из деревень в последние предвоенные месяцы, борьба на фронте и в партизанах, жизнь на оккупированной территории.

В 1957 году А. Кулаковский написал и «военную» повесть «Да ўсхода сонца». В это время у него была как бы передышка: в 1952—1954 годах работал над романом «Расстаемся ненадоўга», за роман «Сустрэча на ростанях» взялся в 1959-м и писал его по 1961 год включительно. Ситуация, положенная в основу повести «Да ўсхода сонца», — экстремальная, даже, можно сказать, быковская, когда человек на войне оказывается на пределе своих возможностей и ему не от кого, да и неоткуда ждать помощи.

Небольшая отступающая группа советских бойцов может рассчитывать только на самих себя. Никаких утешительных вестей не принес и кавалерист-разведчик Грицко. Однако уже само появление его как-то взбодрило людей: «Зварот кавалерыста ў лагер крануў усіх байцоў. Хоць канкрэтна ён нічым не памог лагеру, хоць і цяпер яшчэ не было вядома, што рабіць, як ратавацца, але ў кожнага на душы з'явілася нейкае прасвятленне. Грыцко памог ужо тым, што прыйшоў сам». А главное, что он вселил в души своих товарищей какую-то надежду на лучшее. Надежда же, обычно, умирает последней, независимо от

того, подкреплена ли она жизненными обстоятельствами, или заранее обречена на провал.

Литература для того и литература, чтобы во всем этом разобраться как можно более тщательно, что невозможно без углубления в психологизм. К чему и стремился А. Кулаковский в повести «Да ўсходу сонца». Что-то ему удалось лучше, что-то хуже. И это уже зависело не только от возможностей писателя, от его таланта, а и от того, насколько литература в таком, на первый взгляд, вовсе не героическом подходе к человеку на войне, имела опыт. Чего-чего, а опыта этого на то время было маловато. Поэтому А. Кулаковскому пришлось и проходить своего рода закалку... талантом. Это неплохо видно, в частности, и в повести «Да ўсходу сонца».

Прежний, но и не похожий на себя

Многие А. Кулаковского долгое время воспринимали именно писателем-бытовиком. Таким его видел и Иван Науменко, о чем он писал в 1963 году в небольшой статье «Бытавое, як мастацкае»: «Пільная ўвага да «дробязей» жыцця, да тых шматлікіх дэталей і падрабязнасцей, без якіх немагчыма тканіна добрай, ёмістай прозы. І сюжэты нескладаныя — выпадкі з жыцця, расказаныя цёпла, са шчырай усмешкай, сакавітай, але без асаблівай экспрэсіі мовай». Однако таким И. Науменко воспринимал А. Кулаковского до появления его рассказа «Гарэў аганёк», который сразу перевернул «усе ранейшыя ўяўленні пра пісьменніка».

Сюжет этого рассказа, правда, также не сложен. Повествуется о том, как школьники помогают колхозу убирать картошку. С нетерпением ожидают они окончания работы. Но не только потому, что устали. Под вечер картошка, испеченная тут же, на костре, кажется такой вкусной. А что испеченная картошка обязательно будет, сомневаться не приходилось. Дядька Поликар — тот самый, который напоминает издали мешок с этой самой картошкой, уже взялся ее печь. Увы, надежды ребят оказались напрасными. Поликар картошки сам напек, сам же ее и съел. После себя оставил только кожуру, а в некоторых картофелинах половинки выел с середины.

Как не согласиться с И. Науменко: «Колькі харошай, някідкай на знешні погляд паэзіі ў гэтым кароценькім апавяданні і колькі злой, калючай іроніі ў адрас розных захрыбетнікаў, марнатраўцаў, сквалыг. Людзей з чорнымі душамі. Хіба толькі бульбу з’еў Палікар? Ён сваім учынкам украў у дзяцей нешта надзвычай дарагое, радаснае, растаптаў іх свята». И дальше И. Науменко свидетельствует: «Менавіта гэтае кароценькае апавяданне прымусіла па-новаму зірнуць на ўсё, напісанае Аляксеем Кулакоўскім. Можа, я памылюся, але галоўным у таленце гэтага надзвычай цікавага, самабытнага пісьменніка мне якраз здаецца ўменне ў будзённым, звычайным убачыць вялікае і значнае, выявіць паэзію ва ўтылітарных фактах жыцця».

Не ошибался И. Науменко, сам тонко чувствующий слово, написавший не только замечательные романы, но и немало рассказов, которые, не задумываясь, можно предлагать в самую строгую «Анталогію беларускага апавядання», давая такую высокую оценку и рассказу «Гарэў агеньчык», да и творчеству А. Кулаковского в целом. А познакомился Иван Яковлевич с этим произведением, скорее всего, в книге «Незабыўнае рэха» (1956), в которую вошли и другие произведения А. Кулаковского малого жанра, заслуживающие внимания: «Кватаранты», «Усюды вада», «Не плач, Настачка», «Грыбы»... Каждый из этих рассказов — своего рода слепок из жизни, которую так хорошо знал писатель, интересные характеры главных героев, желание задуматься над тем, так ли живут некоторые из нас, как нужно. А еще А. Кулаковский пытался разобраться (и это ему удавалось), где же проходит грань, чаще всего невидимая, между тем показным, чем

некоторые прикрываются, стараясь показать себя с лучшей стороны, и самой сущностью человека.

Интересен рассказ, который и дал название книге. Герой его, секретарь райкома комсомола Лупинович, на первый взгляд, — само воплощение человечности, внимательности к людям. Однако, как вскоре выясняется, он совсем не таков, каким выставляет себя. Когда во время слета пионеров, на который Лупинович приехал для выступления, стала тонуть девочка, а с ней и воспитательница, бросившаяся ей на помощь, он, вместо того, чтобы помочь, стал давать указания, как нужно действовать: «махаў рукамі», «клікаў другіх і загадваў ім хутчэй ратаваць» тонущих. Таких лупиновичей А. Кулаковскому приходилось встречать не единожды, и он не мог не браться за перо, поскольку появлялась еще одна возможность изобличить нравственное зло. Вместе с тем, его привлекали и люди высокой честности, излучающие добро. Как героиня повести «Невестка».

Этот образ — вовсе не плод богатой авторской фантазии. Об этом писатель признавался в статье «Жыццёвы матэрыял і мастацкая літаратура» («Маладосць», 1958, № 2): «Мне часта даводзіцца бываць там, дзе я нарадзіўся. Там жыве ў мяне маці, брат. І вось аднаго разу маці кажа: «Міканор учора хваліўся: маладая нявестка вады яму нагрэла, сказала — папар, тата, ногі, кашляць не будзеш.

Я ведаў гэтага Міканора, ведаў яшчэ дзесятак чалавек, якія жылі прыкладна так, як ён. Мне пачаў уяўляцца лёс старога чалавека, які рана аўдавеў і многа год пражыў у адзіноце. Не бачыў гэты чалавек сапраўднага шчасця, не адчуваў і цёплай жаночай спагады. Сам ён і гаспадарыў дома, і гаспадыніў, сам сабе і крупнік варыў, сам сабе лапіў порткі.

І вось нарэшце прыязджае дадому з арміі ці з якой-небудзь работы сын гэтага чалавека, прыводзіць маладую ласкавую нявестку. Нявестка нагрэла старому начоўкі вады — і зарадаваўся чалавек, адчуў сябе шчаслівым, можа, лепшага шчасця для яго на гэты раз і не трэба было...»

Далее А. Кулаковский замечает: «Спачатку мне хацелася напісаць на гэту тэму апавяданне, але вобраз вось такога чалавека стаў у мяне паступова разрастацца, набываць новыя рысы, новыя павароты лёсу... Вызначаліся таксама іншыя персанажы, і такім чынам з’явілася на свет аповесць «Нявестка».

В произведении, правда, привлекает не только образ главной героини Ларисы — нравственно чистой и духовно прекрасной молодой женщины. Своей открытостью, искренностью она способна пробудить добро в человеке. Большую нагрузку несет и образ Данилы Бирука — того самого Никонора, который стал его прототипом. Бирук — из тех людей, которые ради ближних готовы на самопожертвование. Оставшись один, он даже в мыслях не допускает, что в его жизни может появиться другая женщина. Главное для него — сын. К сожалению, Виктор не всегда должным образом отплачивает отцу за добро и самопожертвование.

Повесть «Нявестка» — это и повесть о жизни белорусской деревни в 50-е годы прошлого столетия со всеми ее проблемами. Когда-то они сводились только к достижениям высоких показателей в полеводстве и животноводстве, а человеческий фактор не принимался во внимание. Поэтому и привыкли большие и малые начальники разговаривать «з людзьмі праз плячо». Да и что им подчиненные, если не удосуживались «заглянуть самому себе в душу». Не способным на это оказался и сын Бирука. Односельчане оказали Виктору большое доверие, избрали бригадиром. Только ошиблись в нем. Виктор Бирук оказался не намного лучше, чем его предшественник Шандыбович.

Повесть «Нявестка» имела широкий резонанс. По ее мотивам Андрей Макаенок написал сценарий художественного фильма «Счастье нужно беречь», который в 1958 году был поставлен на киностудии «Беларусьфільм». И повесть, и фильм получили высокую оценку критики, которая «Нявестку» неизменно относила к лучшим достижениям белорусской послевоенной литературы. Вообще, критикой Алексей Николаевич не был обижен. Даже названия статей говорят сами за

себя: «Радасць працы», «Наша шчасце — маё шчасце», «Прага жыцця», «Раскрыццё чалавечых характараў», «Характары, адкрытыя ў жыцці».

Нельзя не прислушаться и к оценке творчества А. Кулаковского, данной позже Иваном Шамякиным: «Аляксей Кулакоўскі — бытапісец. У творчасці ён надзвычай моцна прывязаны да канрэтных, часцей за ўсё, уласна ім перажытых жыццёвых фактаў. Факт для яго — першааснова твора. Прызма творчай фантазіі пісьменніка не надта адмыслова шматгранная, святло фактаў пераламляецца ў ёй не заўсёды так, каб адбіцца спектрам вясёлкі і ў сюжэце, і ў характарах, і ў дэталях, каб драматызавацца, і асобныя факты, прапушчаныя цераз гэтую прызму, у творы захоўваюць тыя ж адценні, што і ў жыцці. Пісьменнік як бы спадзяецца, што само жыццё зрабіла работу па адборы і тыпізацыі з'яў і характараў. Такая асаблівасць таленту Кулакоўскага дае яму пэўную перавагу перад іншым падыходам да асваення жыццёвага матэрыялу...»

Такой оценке соответствовали и лучшие произведения, предшествующие «Нявестцы». Окрыленный успехами, Алексей Николаевич, предлагая свою новую повесть «Дабрасельцы» в пятый номер журнала «Маладосць», главным редактором которого в то время являлся, рассчитывал, что и на этот раз привлечет к себе внимание. Так и произошло, однако это было вовсе не то внимание, которого ему хотелось.

Нужен «мальчик» для битья? Пожалуйста!

При всем прочем в повести «Нявестка» А. Кулаковский правдиво показал пробуждение народа после важного сентябрьского (1953) пленума ЦК КПСС, на котором говорилось о возрождении инициативы трудящихся, чтобы быстрее восстановить разрушенное войной хозяйство. Как автор смелый, активный, он хотел по-новому, по-своему осмыслить и процессы, которые этим изменениям предшествовали, отразив сложность жизни белорусской деревни (и не только белорусской) в 50-е годы. Да и попытаться выяснить истоки нарушений социалистической законности, посмотреть пристальнее на тех, кто, прикрываясь демагогическими лозунгами о великих задачах построения коммунистического общества, забывал о ежедневных нуждах людей. Одновременно у А. Кулаковского не могло не возникнуть желания показать светлые, здоровые силы, способные в самых тяжелых, невыносимых условиях оставаться воплощением крепости традиционных народных начал. Не отсюда ли и название повести? Добросельцы... Доброе село, добрая деревня. И не вина сельчан, а беда их, что не повезло с руководством, которое, кроме очередных галочек в списке запланированных, а потом проведенных мероприятий, ничего перед собой не видит, да и видеть не желает.

«Дабрасельцы», как и некоторые предыдущие произведения А. Кулаковского, рождались на документальной основе, о чем свидетельствует и небольшое вступление «Ад аўтара», в котором он признавался, что с год назад разговаривал «з адной дэпутаткай Вярхоўнага Савета БССР, старшынёй сельсавета, вельмі сціплай і разумнай жанчынай... Нельга было без хвалявання слухаць, як яна гаварыла аб тым вялікім уздыме сельскай гаспадаркі, які распачаўся ў калгасах сельсавета пасля вераснёўскага Пленума ЦК КПСС...» Однако не только об этом говорила собеседница А. Кулаковского: «...ў той жа час яна ўспамінала пра мінулыя гады, калі ў сельсавеце вялася ўпартая барацьба з пасляваеннымі цяжкасцямі і недахопамі ў кіраўніцтве сельскай гаспадаркі».

Отдельные из этих эпизодов писатель и положил в основу повести. Произведение засвидетельствовало о том, в каком тупике оказалась деревня в конце 50-х годов. Всякий, кто получал хотя бы маленькую власть, чувствовал себя большим начальником, эдаким удельным князьком, для которого законов просто не существовало. Это прекрасно понимали люди вроде председателя Красно-

маковского сельсовета Мокрута, председателя добросельского колхоза Шулова и им подобным.

Лявон Мокрут держит людей в постоянном страхе. «Князёк і сабака ў Чырванамакаўскім сельсавеце» — так думает о нем даже инструктор райисполкома Павел Павлович. Однако и он не осмеливается высказать свои мысли вслух, а только заносит их в записную книжку, превращаясь тем самым в постороннего наблюдателя. Это же Мокруту только на руку. Ни в Добросельцах, ни в поселке Красный Мак, по сути, нет людей, готовых открыто выступить против него, вывести его на чистую воду.

Понимая, однако, что в чем-то, возможно, сгустил краски, А. Кулаковский в повести форсировал действие, сделав это в духе «розовой» прозы начала 50-х годов. Схематически все подал, иначе и не скажешь: Шулова освободили от обязанностей председателя колхоза, Мокрута лишили кресла председателя сельсовета. Сразу нашли им и замещение. Председателем колхоза стал агроном, до этого работавший в городе, но там он был «незадаволены сваёй работай у міністэрстве», его все время привлекали «прасторы палёў і сенажацяў». Председателем сельсовета стала его сестра. Как говорится: «Вот и сказочке конец...»

Казалось бы, никаких претензий к автору «Дабрасельцаў» не должно возникнуть. Покритиковать то покритиковал, но все завершил в духе социалистического реализма. Да не тут-то было. Статья Якова Герцовича «Чорнымі фарбамі», помещенная в газете «Літаратура і мастацтва» 21 июня 1958 года, ничего хорошего А. Кулаковскому не обещала. Выводы Я. Герцовича прозвучали суровым и безапелляционным приговором и самому А. Кулаковскому, и его новому произведению.

В заключении статьи критик писал: «Аб аўтарскіх намерах адно скажу: хацеў гэтага пісьменнік ці не хацеў, а твор ён напісаў заганны. Аповесць «Дабрасельцы» ганіць і прыніжае савецкіх людзей, скажае праўду аб нашай рэчаіснасці. Пісьменнік не здолеў убачыць і паказаць той праўды жыцця, якая характэрна для калгаснай вёскі, і таму твор яго аказаўся наскрозь фальшывым, тым крывым люстрам, праз якое нельга ўбачыць падзей у сапраўдным іх праламленні, а толькі ў скажонным, перакручаным».

После этого, как и следовало ожидать, известный писатель А. Кулаковский превратился в «мальчика» для битья. Хотя, по правде говоря, ход этому одна статья Я. Герцовича дать не могла. По всей вероятности там, «где нужно», все было заранее оговорено, потому что буквально назавтра, 22 июня, в «Звязде» появилась статья Ничипора Пашкевича «Галоўную ўвагу — сучаснай тэме». Вывод в ней был по-партийному принципиальный: «Знаёмства з пятым нумарам «Маладосці» прыводзіць да вываду, што павышэнне ідэйна-мастацкага ўзроўню часопіса (имелась в виду «Маладосць». — *А. М.*) з'яўляецца вельмі вострым пытаннем». А уже 26 июня 1958 года к осуждению А. Кулаковского на страницах «Советской Белоруссии» подключился председатель колхоза имени ЦК КПБ Руденского района П. Касков — «У крывым люстэрку». Конечно, все это писал не сам П. Касков, но это было то, что и требовалось тем, кто решил поставить А. Кулаковского на место: «Где автор взял эту «действительность», по каким источникам изучал он жизнь? Неужели, рассказывая о колхозной деревне того периода, Алексей Кулаковский не мог заметить глубинных процессов, происходящих сегодня в жизни белорусского села, не увидел множество образов замечательных советских людей, которые всегда противостояли злу, всегда под руководством партии боролись со всеми мокрутами, шуловыми и им подобными?»

Дальше — того больше. Как сообщил «ЛіМ» в номере за 2 июля 1958 года, «днямі адбылося сумеснае пасяджэнне бюро ЦК ЛКСМБ («Маладосць» являлась его органом. — *А. М.*) і прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Было абмеркавана пытанне аб рабоце рэдакцыі часопіса «Маладосць» па выхаванні літаратурнай моладзі». Кроме того, «была абмеркавана новая аповесць празаіка Аляксея Кулакоўскага «Дабрасельцы». Как и следовало ожидать, «выступаючыя

адзначылі, што аповесць... памылковы, ідэйна-заганны і слабы ў мастацкіх адносінах твор, які ў крывым люстры паказвае жыццё людзей калгаснай вёскі».

Алексей Кулаковский, конечно, «прызнаў сваю памылку, сказаў, што паспяшаўся з надрукаваннем недапрацаванага твора, не прадумаў глыбока ідэі, якая лягла ў аснову аповесці, што ён мае намер яшчэ шмат працаваць над сваёй аповесцю і карэнным чынам перарабіць яе». Однако последствия, конечно, были. Вскоре автор «Дабрасельцаў» был освобожден от должности главного редактора «Маладосці».

Правда, и после этого Алексея Николаевича не оставили в покое. Перепало ему и на IV съезде писателей БССР. В отчетном докладе председателя правления Петруся Бровки, который, конечно, не мог обойти ее вниманием, поэтому вынужден был констатировать: «Добра, што сёння Кулакоўскі зразумеў сваю памылку, і яшчэ лепш, што зразумеў, адкуль чэрпаць сапраўдны матэрыял для сваёй творчасці. Ён піша аповесць пра будаўніцтва Новастаробінскага калійнага камбіната». Такое быстрое исправление было явно по душе и тогдашнему члену Президиума ЦК КПСС, первому секретарю ЦК КПБ Кириллу Мазурову: «Мне вядома, што тав. Кулакоўскі працуе зараз над творам пра будаўнікоў Старобінскага калійнага камбіната. Гэта вельмі добра. Значыць, ён зрабіў вывады з крытыкі, правільна зразумеў сваю памылку і жадае яе выправіць».

За высотой — высота

«Дабрасельцы» снова пришли к читателю только в 1984 году под названием «Апошняя піліпаўка». Однако это была уже не прежняя повесть, а переработанная. Обращение писателя к своему произведению, вызвавшему такое негативное впечатление, более чем через пятнадцать лет, — свидетельство о том, что А. Кулаковскому и этот его «ребенок» был дорог, хотя он вряд ли не читал пожелание, которое ему в свое время высказал Алесь Адамович: «Каб пераадолець заганы «Дабрасельцаў», трэба ісці наперад, да сапраўдных мастацкіх абагульненняў, а не вяртацца да таго, што пісалася да «Нявесткі». Конечно, Алексей Николаевич не собирался совет этот полностью брать на вооружение. У него было немало написанного на должном художественном уровне. Однако «Дабрасельцы», вместе с тем, стали как бы своеобразной разделительной чертой между тем, что уже написано, и тем, что еще напишется.

Замыслов же у Алексея Николаевича было немало и все они успешно осуществлялись. Не в последнюю очередь это касалось произведений о земляках-солигорцах. Им А. Кулаковский посвятил две книги очерков: «Зоркі салігорскія» (1960) і «Салігорцы» (1964), а также несколько художественных произведений, среди которых выделяется роман «Васількі» (1981), в котором показал себя истинным мастером слова А. Кулаковский.

Этот роман о шахтерах Солигорска. Прошло время, многое изменилось. Перед пытливым взором писателя проходят уже не отдельные первооткрыватели подземных богатств, а целая шахтерская династия: глава семейства Петро Орловский, мать Аннета Ивановна, их дети Августин и Мальвина. Эти образы, несомненно, в чем-то собирательные, как бы списанные А. Кулаковским со многих людей. Но, вместе с тем, каждый из персонажей глубоко индивидуален, показан объемно, их видишь словно живых. С их радостями и невзгодами, обретениями и мечтами. Однако есть и то, что объединяет их. Это честность, порядочность, принципиальность, а еще то, чего иногда не хватает нам сегодня, когда утрачиваются нравственные устои: понимание того, что истинное счастье не столько в приобретении всевозможных благ, сколько в потребности трудиться, чувствовать себя частью трудового коллектива.

Алексей Кулаковский, однако, не только остро чувствовал современность, но и по-прежнему обращался к событиям, ставшим уже историей, о чем свиде-

тельствует его роман «Сцежкі зведаныя і нязведаныя» (1972). В развитии показан образ главного героя Богдана Хотяновского, человека от земли, ко всему не лишенного таланта: он был музыкантом-самоучкой. Богдан приветствует новую жизнь, поэтому и вступает в колхоз, но это становится для него внутренним потрясением, особенно жалко ему своего коня, которого отдает на конюшню. Конечно, об этом литература немало писала и до А. Кулаковского. Взять хотя бы широко известную «Поднятую целину» Михаила Шолохова. Правда, А. Кулаковский не повторяет своих предшественников. Он нашел свой подход в передаче того, как человек постепенно «врастал» в колхоз, становясь как бы частью его.

Роман «Сцежкі зведаныя і нязведаныя» примечателен и тем, что А. Кулаковский одним из первых в белорусской литературе взялся за исследование истоков измены Родине. Это убедительно показано на примере сына Богдана Хотяновского. Пантя, сложись его жизнь иначе, возможно, и не стал бы тем, кем стал: не пошел бы на службу к немцам. Однако на его воспитание большое влияние оказала мачеха, у которой не было твердых нравственных принципов. Она считала, что честность — это непозволительная роскошь. Такое отношение к жизни и «вбивала» в голову своему пасынку, а еще научила его красть.

Получилось так, что все старания Богдана, направленные на то, чтобы сын вырос достойным человеком, оказались напрасными. «...Усе тыя гады, пакуль сын гадаваўся і быў дома, аддаваў яму ўсё, што меў у душы і ў сэрцы, жыў толькі надзеяй на сынняе шчасце...», а Пантя стал полицаем. Но все же где-то в глубине его души, пожалуй, осталось то хорошее, что было заложено отцом. Когда Пантя понял, что служба у немцев, — это не только власть над людьми, к чему он так стремился, но и участие в убийствах, он не выдержал, утопился.

Лично пережитое А. Кулаковским положено в основу повестей «Белы сокал» (1981), «Маршрут ад Клічава» (1982), «Хлебарэз» (1983), в которых присутствует и та правда войны, которая долгое время замалчивалась, а если отдельные нелицеприятные моменты и освещались, то вскользь, поскольку считалось, что это может как бы принизить значимость подвига советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Наконец-то пришло время настоящей правды и А. Кулаковский, конечно же, не мог этим не воспользоваться. Хотя и до этого, как не трудно убедиться, если внимательно прочитать его произведения, он не принадлежал к тем, кто слишком уж старался сгладить острые углы, а писал так, как требовала его совесть, оставался принципиальным и честным.

* * *

Пятьдесят лет назад в статье «Слова да таварыша, якое я хацеў бы сказаць на юбілейным вечары» Иван Мележ так говорил об А. Кулаковском: «Думаю, я не памылюся, што і твае ўдачы і няўдачы былі заўсёды на адной дарозе — да праўды. Ты, вядома, разумееў, што з усіх мастацкіх вартасцяў самая першая і самая неабходная — праўда. Імкненне да яе і вяло цябе ў няспынных пошуках, прага яе жыве заўсёды ў тваім сэрцы».

Иван Павлович отметил и чисто человеческие качества своего друга, сказав, что они находят своего рода продолжение в том, что пишет А. Кулаковский, становятся отличительной чертой его прозы: «Я веру табе, бо ведаю, што ты любіш людзей, з якімі жывеш, радуешся і турбуешся; што тваё сэрца поўна самым вялікім клопатам жыць для іх, родных, для іх дабрабыту, для іх радасці, для іх жыцця. Іменна гэтай любоўю да людзей і сагрэты твае кнігі; іменна ў гэтым і самае вялікае іх хараство».

После этого, как известно, Алексеем Николаевичем было написано еще немало книг (умер он 9 апреля 1986 года), но и применительно к ним будет правильным сказать то, что сказал о его творчестве, да и о нем самом И. Мележ, поздравляя А. Кулаковского с 50-летием. По-прежнему определяющими качествами Алексея Николаевича как писателя и как человека оставались

правда и человечность. Иначе и быть не могло, поскольку слова у него никогда не расходились с делом, а то, чего требовал от других, оставалось неизменной жизненной позицией его самого. Написано А. Кулаковским много. Одно обидно: об этом замечательном мастере художественного слова в последнее время говорится мало.

Хотя могло получиться так, что не появилась бы и эта моя статья. Если бы не беседа с Алексеем Николаевичем где-то в 1980 году, когда он был директором Литературного музея Янки Купалы. О многом тогда говорили. Было и то доверительно-личное, что на страницы еженедельника «Літаратура і мастацтва», где я тогда работал, не попало. Не написал я и о том, что А. Кулаковский, вглядываясь, так сказать, в будущее, грустно заметил:

— Когда умру, то, кроме тебя, никто обо мне и не вспомнит.

— Зачем так пессимистично, — возразил я, — о вас же многие пишут.

Алексей Николаевич, словно не слыша моего замечания, продолжил:

— Об этом я и Максиму сказал. И он со мной согласился.

— Евгений Иванович? — изумился я, имея в виду Максима Танка. — Да о нем всегда будут писать.

— При чем Танк? — с прежней грустью продолжил А. Кулаковский. — У меня такой разговор был с Максимом Лужанином.

Мне ничего не оставалось, как заверить Алексея Николаевича, что буду и дальше писать и о нем, и о Максиме Лужанине. Так и появилась эта статья, а о М. Лужанине напишу в следующем году, когда исполнится 105 лет со дня его рождения. К 100-летию как-то не нашел времени. И творчество Алексея Кулаковского, и творчество Максима Лужанина, да и многих других наших писателей, кто уже «встретил» свое 100-летие, или чей возраст около этого, — это история белорусской литературы, а чтобы ее лучше знать, нужно время от времени смахивать пыль с библиотечных полок. Следует приобщаться к тому, что создано нашими мастерами слова, которые шли как в своей жизни, так и в творчестве дорогой правды и человечности, что в наше время, когда утрачиваются нравственные ориентиры, уже само по себе очень важно.



С точки зрения рецензента

Бизнесмен с душою лирика

Как в идеале должен выглядеть поэтический сборник? Кто-то скажет, что у каждой эпохи свои возможности, формирующие свой взгляд на прекрасное, и будет прав. А кто-то скажет, что вообще каждый из нас имеет свое представление об идеале, и где-то тоже будет прав.

Тем не менее, я предлагаю вспомнить удивительную книгу Михася Стрельцова «Мой свеце ясны», изданную в 1986 году «Мастацкай літаратурай». Напечатана на прекрасной бумаге голубого цвета («бумага высокохудожественная», как значилось в выходных данных). В твердой целофанированной обложке. Чудесное оформление художника Александра Шеверева. И цена, в общем-то, смешная: 65 копеек. Или вот еще, к примеру, одна книга: «Свята пчалы» Рыгора Бородулина. Та же «Мастацкая літаратура», но одиннадцатью годами раньше. Бумага, правда, обычная, мелованная, зато сами стихи напечатаны жирным шрифтом зеленого цвета, у книги твердый переплет в 4 краски плюс глянцевая суперобложка.

Если вы вспомнили эти книги, то, надеюсь, согласитесь со мной: держать их в руках — одно удовольствие. И дело не только в бумаге, в красочности, в переплете. Дело еще в том, что по своему внешнему виду они смотрятся очень оригинально. Сегодня, при больших полиграфических возможностях, в глазах просто рябит от красочных изданий, но среди них очень мало действительно необычных, не похожих на другие.

Одну из таких книг мне удалось недавно заполучить.

Представьте себе сборник стихов, обложка которого имеет толщину 2,5 миллиметра. Ну ладно, обложка. Так ведь и сами стихи напечатаны на ламинированном картоне с перламутром толщиной 1,75 миллиметра. Конечно, такие книги можно делать только вручную, и цена их не каждому по карману. Но не будем забывать про удовольствие!

Сборник стихов, о котором идет речь, называется «Рэха». Его автор — Дмитрий Мизгулин. Поскольку белорусскому читателю это имя, вероятно, не очень знакомо (хотя в эпоху интернета так утверждать весьма рискованно), стоит сказать о нем несколько слов. Родился в 1961 году в Мурманске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. Вознесенского и Литературный институт им. А. Горького. Член Союза писателей России. Автор многих книг стихов, а также рассказов и литературных заметок. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе, имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, журнала «Наш современник» и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы. В Ханты-Мансийске Д. Мизгулин, кстати, и живет. Известный банкир, депутат.

Кто-то, прочитав эти строки, подумает: да уж, банкиру нынче проще издаваться, знаем, как это делается. Но вот читаю интервью заместителя главного редактора журнала «Наш современник» Александра Казинцева с Дмитрием Мизгулиным, опубликованное в сентябрьском номере этого издания за 2011 год. А. Казинцев признается, обращаясь к поэту: «Каюсь, я сначала считал, что Вы, так сказать, флиртуете с музой на досуге, как некоторые из Ваших коллег-банкиров. Однако, когда я ознакомился с Вашей поэзией, то мнение мое переменилось, я стал считать Вас поэтом, волею судьбы оказавшемся в кресле директора».

В подтверждение слов известного публициста и критика хочу процитиро-

вать одно из стихотворений, включенных в книгу «Рэха»:

На первый путь
Прибудет поезд,
Который мчался издалека,
Гремел колесами
На стыках
И резал ночь
Ножами фар;
На первый путь
Прибудет поезд
Из самого
Владивостока,
Где осень тоже
Разжигает
Листвы мятущийся пожар.

А поезд ход
Свой замедляет,
И я подумал,
Разве стоит
Семь дней
Трястись
В пустом вагоне,
Бежать неведомо куда,
Чтоб здесь опять
Увидеть осень,
Как дождь асфальт
Усердно моет,
Как листья,
Будто бы за ветви,
Цепляются за провода.

Читатель вправе задать вопрос: но почему «Рэха», ведь это белорусское слово. Разгадка проста. Дело в том, что стихи Дмитрия Мизгулина печатаются не только в оригинале: на белорусский язык их перевел Адам Глобус. К слову, Дмитрий Мизгулин в своем творчестве использует как традиционную рифмованную форму стиха, так и верлибр. И если верлибр чаще всего позволяет переводчику быть достаточно точным по отношению к оригиналу, то рифма нередко требует достойной замены — образа, мысли. Замены, которая не выходила бы за рамки стиля и поэтического мировоззрения автора. Надо сказать, переводчику это удается. Вот, например, одно из стихотворений в оригинале:

В рыбах есть что-то змеиное,
В людях есть что-то звериное,
Что-то расчетливо-точное,
Неуловимо порочное,
Злобное и осторожное,
Неистребимо безбожное.

А вот как эти строки по-белорусски:

У рыбах есць нешта змяінае,
У людзях есць нешта звярынае,
Нешта разважліва-таннае,
Невызначальна заганнае,
Злоснае і асцярожнае,
Невынішчальна бязбожнае.

Любопытно, что в этом сборнике сам Дмитрий Мизгулин выступает и в качестве переводчика стихов Адама Глобуса на русский язык. Если еще лет десять назад факт такого тесного творческого сотрудничества между представителями белорусской и соседней с ней литератур в рамках книгоиздания можно было назвать достаточного редким явлением, то сегодня оно получает все большее распространение. Чего стоит хотя бы один из последних проектов Издательского дома «Звязда»: серия из одиннадцати книг «Созвучие сердец», в которую вошли произведения около 150 писателей близкого зарубежья и произведения более 100 современных белорусских поэтов и прозаиков.

Читая книгу стихов Дмитрия Мизгулина, меньше всего думаешь о том, что ее писал банкир, человек, который ежедневно занимается совершенно другими — финансовыми вопросами. Эта мысль приходит уже потом, а вместе с ней и сожаление, что сегодня бизнесмены редко увлекаются поэзией (даже в качестве обыкновенных читателей), да и вообще литературой. И как тут не разделить тревогу Дмитрия Мизгулина, которой он поделился в том же интервью «Нашему современнику»: «Вот сейчас много говорят о скинхедах — дескать, это подонки! Но почему же подонки? Это наши дети, которых мы воспитывали. У них отняли культуру, у них отняли героев, на которых следует равняться. Отняли историю, которой можно гордиться, отняли музыку, литературу. Что, кто-то из них Чайковского слушает по утрам? Включая радио, что можно услышать? — попсу в лучшем случае. Так что же мы хотим?..

Я всегда говорю: уважайте человека, сделайте его просвещенным, сделайте его образованным, и тогда все будет ему по плечу».

Алесь МАЛИНОВСКИЙ

Жизнь в искусстве

Форум-театр: актером может стать каждый

Неужели уникальная методика форум-театра, в которой соединяются искусство и образование, может помочь человеку изменить реальность, сломать стереотипы и стать другим? Узнаем из беседы с Павлом Махиновым, координатором программы «Мастерская студенческого форум-театра».

— Форум-театр — необычная театральная методика. Что она собой представляет?

— Методика новая, ей всего лишь пятьдесят лет. Отец форум-театра — бразилец Аугусто Боаль, который колесил по стране со своим театром. Бразилия того времени — это диктатура, военные перевороты, социальные проблемы. Большинство населения не умело ни читать, ни писать, не было СМИ. А театр Боаля показывал в своих постановках все то, что происходило в современной зрителям Бразилии. И вот на одном из представлений кто-то из зрителей выкрикнул из зала: «Стоп! Все было не так!» Аугусто Боаль ответил: «Покажите, как было». Актер и зритель поменялись местами — действие продолжилось. В какой-то момент вновь возникла необходимость «переиграть», потому что опять что-то не так по мнению очевидцев. Вот так и родился форум-театр. Боаль разработал его методику. Это интерактивный театр, здесь всегда есть агрессор и угнетенный, есть люди, которые примыкают то к агрессору, то к угнетенному. Боаль вводит момент, когда в постановке начинает участвовать активный зритель. Зритель выходит вместо одного из актеров и пробует разрешить конфликт до его кульминации. Давайте сравним. Обычная постановка — это что? Завязка...

— Развитие действия, кульминация и развязка.

— Так вот форум-театр — это до кульминации. Допустим, мы видим



Павел МАХИНОВ. Родился в Гродно в 1990 году. В 2012 году окончил исторический факультет БГУ по специальности «Этнология. Культурная антропология». Работает учителем истории и обществоведения в Боровлянской средней школе №2. В свободное время проводит экскурсии по Минску и Гродненской области. Кроме того, Павел — волонтер Братства организаторов студенческого самоуправления (БОСС). На базе этой организации он проводит курсы семинаров по форум-театру.



Форум-театр.

сюжет: девушка заносит ногу над перилами балкона. Как ты думаешь, что это значит? Почему она это делает?

— Она хочет покончить жизнь самоубийством.

— Еще.

— Может, что-нибудь упало за перила и девушка хочет это поднять. Или хочет перелезть на балкон к соседу.

— Видишь — варианты. И форум-театр как раз играет с вариантами. Если мы воплощаем сюжет, где девушка хочет покончить жизнь самоубийством, форум-театр всегда должен стремиться к самой острой кульминации. А задача зрителя — войти в спектакль и сделать все возможное, чтобы девушка не занесла ногу над перилами балкона. Зритель ищет решения этой проблемы.

— Почему ты заинтересовался именно форум-театром?

— Я еще школьником познакомился с этой методикой. В университете клубов ЮНЕСКО в Гродно мы использовали ее для работы по профилактике туберкулеза, ВИЧ и СПИДа; решали проблему репродуктивного здоровья молодежи. И тогда эта методика мне просто взорвала мозг! Потом, уже студентом, я использовал форум-театр для поиска решений в конфликтных ситуациях, связанных с правами человека, дискриминацией, расизмом. Театр помогал решить эти проблемы. В двадцать один год я уже начал проводить свои мастер-классы по форум-театру. БОСС делает семинары по студенческому самоуправлению, и мы включили туда наши занятия. В этом году я решил: надо выходить на новый уровень. Моя давняя мечта — делать свои семинары по форум-театру, я ее осуществляю.

— Мне кажется, что зрители у нас чаще пассивные, чем активные. Как можно заставить их не стесняться и участвовать в действии?

— Когда люди идут на форум-театр, им интересно: «Я могу быть актером на сцене!» Они выходят на сцену и пробуют что-то сделать. Если у кого-то не получается и зритель в зале думает: «Я могу сделать лучше» — он может это сделать. Чтобы расшевелить публику в спектакле форум-театра задействован Джокер — своеобразный модератор, координатор (Боаль называет его «Пуринго»), человек, который работает с аудиторией. Во время показа каждый зритель может поднять руку, сказать «стоп!», выйти на сцену, заменить кого-то из актеров и предложить свой вариант развития ситуации.

Мы делаем образовательный форум-театр: используем методику, чтобы выявлять проблемы студентов и помогать им искать решения. Пробуем внедрить модель форум-театра в университеты. Работаем с лидерами, которые могут эту методику применять и развивать.

— Использовался ли форум-театр раньше в студенческой среде?

— Да, например, когда я еще был студентом БГУ, на факультете международных отношений был такой парень Никита Монич. Он работал с методикой форум-театра в школе лидера БГУ, но... ушел человек — и ушло дело. Теперь форум-театр там не так активно развивается. Но его опыт показал, что это очень здорово. Ведь суть постановки максимально приближена к реальности. То есть участники

не могут использовать решения типа: «Мой папа — министр образования, сейчас он тут все решит». Мы ищем реальные пути. У нас нет постоянной труппы. Участники сами выбирают себе роли. Человек примеряет на себя роль декана, агрессора, студента-активиста профсоюза, соцпедки в общежитии, еще кого-то. И он совершенно по-другому начинает думать, а потом говорит: «Знаете, я понял, почему они так поступают. Я вжился в эту роль, я уже понимаю мотив их действий. И потом могу уже что-то с ними решать: я знаю, почему они это делают». Форум-театр позволяет преодолеть состояние зависимости, когда ты ставишь себя в состояние подчиненного, жертвы.

— Как проходят ваши семинары?

— Мы ведем их с экспертом. Один из лучших экспертов в Беларуси — это Паша Виноградов из Могилева. Паша уже на протяжении одиннадцати лет работает со своей командой в Могилеве в Центре дополнительного образования клуба ЮНЕСКО. Суть наших семинаров: мы изучаем историю, используем методику Боаля (у него есть книги «Театр угнетенных», «Игры для актеров неактеров»), развиваем актерские навыки, пластику, пишем тексты постановок, репетируем, входим в образ, демонстрируем спектакль, проводим форум-замену («актер—зритель»), подводим рефлексию.

— Для форум-театра обязательно нужна театральная площадка или его можно проводить везде?

— Можно играть форум-спектакль где угодно. Главное — это желание актеров. Должна быть условная сцена, зрительный зал и помещение для подготовки актеров. Декорации особенно не нужны, конечно, можно что-то придумать, но не обязательно.

— В твоей команде есть профессиональные актеры?

— Нет. Мы работаем с непрофессиональными актерами, с людьми, которым это интересно. У нас нет профессиональной труппы, у нас есть своя команда, которая с этой методикой знакома давно. Но сейчас для нас важнее не постановки, а популяризация методики, чтобы люди учились и сами потом занимались форум-театром.

— А ты тоже принимаешь участие в постановках?

— Я координатор семинаров. В форум-спектаклях участвую по мере



Форум-театр.

необходимости. Могу быть одним из актеров, могу быть Джокером. В этом плане я универсальный человек.

— Ты где-нибудь обучался актерскому мастерству?

— Нет. Я читал Боаля, общался с экспертами. В сентябре к нам приезжал ученик Боаля Яльмар Хорхе Джофре-Эйшорн, боливиец, который живет 6 лет в Афганистане и занимается там форум-театром. Мы с ним общались, учились у него. Вообще, если ты захочешь сыграть в форум-спектакле, то сделаешь это лучше или хуже, но суть в том, что ты в любом случае это сделаешь.

— В будущем ты хочешь продолжать делать театр о студенческом самоуправлении?

— Мы хотим, чтобы эта методика использовалась студенческими организациями. Мы занимаемся этим на некоммерческих основах, как общественная организация. В будущем задача минимум — нас приглашают в качестве экспертов на школы студактивов, и мы играем со студентами, учим. Задача максимум — я бы попробовал это делать на коммерческой основе. Это бизнес-идея, бизнес-проект. Можно найти свою целевую группу: те же бизнес компании, социальные институты, например. Те, кто будут готовы за это платить, использовать эту методику для своей работы.

— А ты не пробовал продвигать форум-театр, например, в школе, где ты преподаешь?

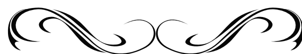
— Да, есть школьный театр. Но чтобы заниматься в школе форум-театром, нужно время. А где его взять, когда ты историк, обществовед и классный руководитель? Я думал использовать форум-театр, когда будет курс «Конфликтология». Там можно будет с ребятами что-то поставить, но пока просто нет возможности.

— И все-таки форум-театр в Беларуси еще недостаточно хорошо известен и развит...

— И да, и нет. В начале 2000-х у Паши Виноградова была большая команда. Потом по этой методике работали Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, «Новые лица». Следующий этап: 2005—2007 гг. И сейчас мы снова пробуем эту волну подхватить, потому что без практики нет людей, готовых этим заниматься. В Швеции, например, форум-театр имеет коммерческую основу. Организации, бизнес-компании приглашают форум-театры, которые показывают постановки о взаимоотношениях нанимателя и работника, ведь компании заинтересованы в том, чтобы найти общий язык в коллективе. У нас я такого не встречал. Есть тренинги, посвященные форум-театру (их проводят на коммерческой основе), и образовательная методика.

Полина ПЛАТОВА

Фото из личного архива Павла МАХИНОВА.



Содержание журнала «Нёман» за 2013 год

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В «НЁМАНЕ»

«СЯБРЫНА»: БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

Мост дружбы

Эпоха

Национальные приоритеты

Литературные встречи

Культурный мир

МИНСКАЯ ТЕТРАДЬ

НАСЛЕДИЕ

ВРЕМЯ. ЖИЗНЬ. ЛИТЕРАТУРА

Юбилей

К 120-летию Максима Горецкого

К 130-летию Янки Мавра

К 80-летию Вячеслава Адамчика

ВОСПОМИНАНИЯ. ДНЕВНИКИ. ДОКУМЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ. ЗАПИСКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЭПОХА

ЭПОХА. СУДЬБЫ. ПАМЯТЬ.

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

ВНЕ ВРЕМЕНИ

ФОРУМ

ЛИЧНОСТЬ

КУЛЬТУРНЫЙ МИР

Юбилей

Записки блогера

НАПОСЛЕДОК

Составила Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ.



Авторы номера

ДЕЙКУН Раиса Васильевна. Родилась в 1954 году на ст. Авраамовская (д. Партизанская) на Гомельщине. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книги-исповеди «Мой ЧарноБыль, або Я боль людскі... кранаў рукамі...», сборника «Картошка — хлебу и... любви присошка» и др. Живет в Гомеле.

БАДАК Алесь Николаевич. Родился в 1966 г. в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Главный редактор журнала «Нёман». Автор сборников поэзии «Будзень», «За ценем самотнага сонца», «Маланкавы посах», книг для детей «Верабей з рагаткай», «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» и др. Живет в Минске.

ДУДЮК Зинаида Иосифовна. Родилась в д. Слободка Браславского района Витебской области. Окончила Брестский инженерно-строительный институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Автор многих книг поэзии, прозы, драматургии. Лауреат различных республиканских литературных конкурсов. Живет в Бресте.

СИМОНОВ Павел Андреевич. Родился в 1966 г. в Минске. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Главный редактор журнала «Вестник Ассоциации белорусских банков». Печатался в республиканских периодических изданиях. Живет в Минске.

БАТАКОВА Ирина Евгеньевна. Родилась в 1970 г. в Бресте. Училась в Белорусской государственной академии искусств, окончила Московский литературный институт им. М. Горького. Публиковалась в журналах «Нёман», «Камертон», «Флорида», «Монолог», «Повести «Белкина», «Артбухта», «HomoLegens». Дипломант Х Международного литературного Волошинского конкурса в номинации «проза». Живет в Минске.

КОТЛЯРОВ Изяслав Григорьевич. Родился в 1938 г. в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии, многочисленных публикаций в изданиях Беларуси и России. Живет в Светлогорске.

ШОФМАН Леонид Исаакович. Родился в 1937 г. в г. Городок Витебской области. Окончил Витебскую ветеринарную академию, Казанский сельскохозяйственный институт. Доктор сельскохозяйственных наук. Автор более 200 научных публикаций, автобиографической повести «Страницы жизни». Живет в деревне Натальевск Червенского района.

ХИТРОВ Александр Константинович. Родился в 1954 г. в г. Барановичи Брестской области. Окончил Брестский инженерно-строительный институт. Печатался в районных, областных, республиканских газетах, коллективном сборнике «Паэзия 2010». Живет в Бресте.

ЛИПСКИЙ Владимир Степанович. Родился в 1940 г. в д. Шелковичи Речицкого района Гомельской области. Окончил Минский техникум пищевой промышленности, факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, главный редактор журнала «Вясёлка», инициатор и организатор Всебелорусских фестивалей народного юмора в д. Автюки Калинковичского района. Автор многих книг, лауреат Государственной премии Беларуси, литературных премий им. Я. Мавра и В. Витки, председатель правления Белорусского детского фонда. Живет в Минске.

МОРОЗОВ Змитрок (Дмитрий Дмитриевич). Родился в 1953 г. в п. Язбы Крупского района Минской области. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Автор более 20 книг поэзии и прозы. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси, премии Федерации профсоюзов Беларуси, республиканской премии «Залаты-Купідон». Живет в Минске.

КРАШЕВСКИЙ Юзеф Игнацы. Родился в 1812 г. в Варшаве (Польша). Учился в Виленском университете. Автор около 600 томов романов и повестей, поэтических и драматических произведений, а также работ по истории, этнографии, фольклористике, путевых очерков, публицистических и литературно-критических статей. Умер в 1887 г. в Женеве (Швейцария).